

Джон Голсуорси

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

*Из вещества того же, как и сон,
Мы сотканы, И жизнь на сон похожа.
И наша жизнь лишь сном окружена.
Шекспир, «Буря».*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ЗАРОЖДЕНИЕ СТОЛОВОЙ

В современном обществе быстрая смена лиц и сенсаций создает своего рода провалы в памяти, и к весне 1926 года стычка между Флер Мон и Марджори Феррар была почти забыта. Флер, впрочем, и не поощряла мнемонических способностей общества, так как после своего кругосветного путешествия она заинтересовалась империей, а это так устарело, что таило в себе аромат и волнение новизны и в какой-то мере гарантировало от подозрений в личной заинтересованности.

В биметаллической гостинной сталкивались теперь жители колоний, американцы, студенты из Индии – люди, в которых никто не усмотрел бы «львов» и которых Флер находила «очень интересными», особенно индийских студентов, таких гибких и загадочных, что она никак не могла разобрать, она ли «использует» их, или они ее.

Поняв, что фоггартизму уготовлен весьма тернистый путь, она уже давно подыскивала Майклу новую тему для выступления в парламенте, и теперь, вооруженная своим знанием Индии, где провела шесть недель, она полагала, что нашла ее. Пусть Майкл ратует за свободный въезд индийцев в Кению. Из разговоров с индийскими студентами она усвоила, что невозможно следовать по какому-либо пути, не зная, куда он ведет. Эти молодые люди были, правда, непонятны и непрактичны, скрытны и склонны к созерцанию, но, во всяком случае, они, очевидно, считали, что отдельные молекулы организма значат меньше, чем весь организм, что они сами значат меньше, чем Индия. Флер, казалось, натолкнулась на истинную веру – переживание для нее новое и увлекательное. Она сообщила об этом Майклу.

– Все это очень хорошо, – ответил он, – но наши индийские друзья во имя своей веры не провели четырех лет в окопах или в постоянном страхе, как бы не попасть туда. Иначе у них не было бы чувства, что все это так уж важно. И захотели бы, может быть, почувствовать, да нервы бы притупились. В этом-то и есть смысл войны для всех нас, европейцев, кто побывал на фронте.

– Вера от этого не менее интересна, – сухо сказала Флер.

– Знаешь ли, дорогая, проповедники громят нас за отсутствие убеждений, но можно ли сохранить веру в высшую силу, если она до того, черт возьми, взбалмошна, что миллионами гонит людей в мясорубку? Поверь мне, времена Виктории породили у огромного количества людей очень дешевую и легкую веру, и сейчас в точно таком же положении находятся наши друзья-индийцы – их Индия с места не сдвинулась со времени восстания, да и тогда возмущение было только на поверхности. Так что не стоит, пожалуй, принимать их всерьез.

– Я и не принимаю. Но мне нравится, как они верят в свое служение Индии.

И на его улыбку Флер нахмурилась, прочтя его мысль, что она только обогащает свою коллекцию.

Ее свекор, в свое время серьезно занимавшийся Востоком, удивленно вскинул брови, узнав об этих новых знакомствах.

– Мой самый старый друг – судья в Индии, – сказал он ей первого мая. – Он провел там сорок лет. Через два года после отъезда он писал мне, что начинает разбираться в

характере индийцев. Через десять лет он писал, что совсем в нем разобрался. Вчера я получил от него письмо – пишет, что после сорока лет он ничего о них не знает. А они столько же знают о нас. Восток и Запад – разное кровообращение.

– И за сорок лет кровообращение вашего друга не изменилось?

– Ни на йоту, – ответил сэр Лоренс, – для этого нужно сорок поколений. Налейте мне, дорогая, еще чашечку вашего восхитительного турецкого кофе. Что говорит Майкл о генеральной стачке?

– Что правительство шагу не ступит, пока Совет тредюнионов не возьмет назад свои требования.

– Вот видите ли! Если б не английское кровообращение, заварилась бы хорошая каша, как сказал бы «Старый Форсайт».

– Майкл держит сторону горняков.

– Я тоже, моя милая. Горняки милейший народ, но, к сожалению, над ними проклятием тяготеют их вожди. То же можно сказать и о шахтовладельцах. Уж эти мне вожди! Чего они только не натворят, пока не сорвутся. С этим углем не оберешься забот: и грязь от него, и копать, и до пожара недолго. Веселого мало. Ну, до свидания! Поцелуйте Кита да передайте Майклу – пусть глядит в оба.

Именно это Майкл и старался делать. Когда вспыхнула «Великая война», он, хотя по возрасту и мог уже пойти в армию, все же был слишком молод, чтобы уяснить себе, какой фатализм овладевает людьми с приближением критического момента. Теперь, перед «Великой стачкой», он осознал это совершенно ясно, так же как и то огромное значение, которое человек придает «спасению лица». Он подметил, что обе стороны выразили готовность всячески пойти друг другу навстречу, но, разумеется, без взаимных уступок; что лозунги: «Удлинить рабочий день, снизить заработную плату» и «Ни минутой дольше, ни на шиллинг меньше» любезно раскланивались и по мере приближения все больше отдалялись друг от друга. И теперь, едва скрывая нетерпение, свойственное его непоседливому характеру, Майкл следил, как осторожно нащупывали почву типичные трезвые британцы, которые одни только и могли уладить надвигающийся конфликт. Когда в тот памятный понедельник вдруг выяснилось, что спасти лицо приходится, не только господам с лозунгами, но и самим типичным британцам, он понял, что все кончено; и, возвратившись в полночь из палаты общин, он взглянул на спящую жену. Разбудить Флер и сказать ей, что правительство «доигрались», или не стоит? К чему тревожить ее сон? И так скоро узнает. Да она и не примет этого всерьез. Он прошел в ванную" постоял у окна, глядя вниз на темную площадь. Генеральная стачка чуть не экспромтом. Неплохое испытание для британского характера. Британский характер? Майкл уже давно подозревал, что внешние проявления его обманчивы; что члены парламента, театральные завсегдатаи, вертлявые дамочки в платьицах, туго обтягивающих вертлявые фигурки, апоплексические генералы, восседающие в креслах, капризные, избалованные поэты, пасторы-проповедники, плакаты и превыше всего печать – не такие уж типичные выразители настроения нации. Если не будут выходить газеты, представится, наконец, возможность увидеть и почувствовать британский характер; в течение всей войны газеты мешали этому, по крайней мере в Англии. В окопах, конечно, было не то: там сентименты и ненависть, реклама и лунный свет были «табу»; и с мрачным юмором британец «держался» – великолепный и без прикрас, в грязи и крови, вони и грохоте и нескончаемом кошмаре бессмысленной бойни. «Теперь, – думалось ему, – вызывающий юмор британца, которому тем веселее, чем печальней окружающая картина, снова найдет себе богатую пищу». И, отвернувшись от окна, он разделся и пошел опять в спальню.

Флер не спала.

– Ну что, Майкл?

– Стачка объявлена.

– Какая тоска!

– Да, придется нам потрудиться.
– К чему же тогда было назначать комиссию и давать такую субсидию, если все равно не смогли этого избежать?
– Да ясно же, девочка, совершенно ни к чему.
– Почему они не могут прийти к соглашению?
– Потому что им нужно спасти лицо. Нет в мире побуждения сильнее.
– То есть как?
– Ну как же – из-за этого началась война; из-за этого теперь начинается стачка. Без этого уж наверно вся жизнь на земле прекратилась бы.
– Не говори глупостей.
Майкл поцеловал ее.
– Придется тебе чем-нибудь заняться, – сказала она сонно. – В палате не о чем будет говорить, пока это не кончится.
– Да, будем сидеть и глядеть друг на друга и время от времени изрекать слово «формула».

– Хорошо бы нам Муссолини.
– Ну нет, За таких потом расплачиваются. Вспомни Диаса и Мексику; или Наполеона и Францию; и даже Кромвеля и Англию.
– А Карл Второй, по-моему, был славный, – пролепетала Флер в подушку.

Майкл не сразу уснул, растревоженный поцелуем, поспал немного, опять проснулся. Спасать лицо! Никто и шагу не ступит ради этого. Почти час он лежал, силясь найти путь всеобщего спасения, потом заснул. Он проснулся в семь часов с таким ощущением, точно потерял массу времени. Под маской тревоги за родину и шумных поисков «формулы» действовало столько личных чувств, мотивов и предрассудков! Как и перед войной, было налицо страстное желание унижить и опозорить противника; каждому хотелось спасти свое лицо за счет чужого.

Сейчас же после завтрака он вышел из дому.

По Вестминстерскому мосту двигался поток машин и пешеходов: ни автобусов, ни трамваев не было, но катили грузовики, пустые и полные. Уже появились полисмены-добровольцы, и у всех был такой вид, точно они едут на пикник, все прятали свои чувства за каким-то вызывающим весельем. Майкл направился к Хайд-парку. За одну ночь успела возникнуть эта поразительная упорядоченная сутолока грузовиков, бидонов, палаток. Среди полной летаргии ума и воображения, которая и привела к национальному бедствию, какое яркое проявление административной энергии! «Говорят, мы плохие организаторы, – подумал Майкл. – Как бы не так! Только вот задним умом крепки».

Он пошел дальше, к одному из больших вокзалов. На площади были выставлены пикеты, но поезда уже ходили обслуживаемые добровольцами. Он потолкался на вокзале, поговорил с ними. «Черт возьми, ведь их нужно будет кормить, – пришло ему в голову, – Столовую что ли устроить?» И он на всех парах пустился к дому. Флер еще не ушла.

– Хочешь помочь мне организовать на вокзале столовую для добровольцев? – Он прочел на ее лице вопрос: «А это выигрышный номер?» – и заторопился:

– Работать придется во-всю, и всех, кого можно, привлечь на помощь. Думаю, для начала можно бы мобилизовать Нору Кэрфью и ее «банду» из Бетнел-Грин. Но главное – твоя сметка и умение обращаться с мужчинами.

Флер улыбнулась.

– Хорошо, – сказала она.

Они сели в автомобиль – подарок Сомса к возвращению из кругосветного путешествия – и пустились в путь; заезжали по дороге за всякими людьми, снова завозили их куда-то. В Бетнел-Грин они завербовали Нору Кэрфью и ее «банду»; и когда Флер впервые встретилась с той, в ком она когда-то готова была заподозрить чуть не соперницу, Майкл заметил, как через пять минут она пришла к заключению, что Нора Кэрфью

слишком «хорошая», а потому не опасна. Он оставил их на Саут-сквер за обсуждением кулинарных вопросов, а сам отправился подавлять неизбежное противодействие бюрократов-чиновников. Это было то же, что перерезать проволочные заграждения в темную ночь перед атакой. Он перерезал их немало и поехал в палату. Она гудела несформулированными «формулами» и являла собой самое невеселое место из всех, где он в тот день побывал. Все толковали о том, что «конституция в опасности», Унылое лицо правительства совсем вытянулось, и говорили, что ничего нельзя предпринять, пока оно не будет спасено, Фразы «свобода печати» и «перед дулом револьвера» повторялись назойливо до тошноты, В кулуарах он налетел на мистера Блайта, погруженного в мрачное раздумье по поводу временной кончины его нежно любимого еженедельника, и потащил его к себе перекусить. Флер оказалась дома, она тоже зашла поесть. По мнению мистера Блайта, чтобы выйти из положения нужно было составить группу правильно мыслящих людей.

– Совершенно верно, Блайт, но кто мыслит правильно «на сегодняшний день»?

– Все упирается в фоггартизм, – сказал мистер Блайт.

– Ах, – сказала Флер, – когда только вы оба о нем забудете! Никому это не интересно. Все равно что навязывать нашим современникам образ жизни Франциска Ассизского!

– ...Дорогая миссис Монт, поверьте, что если бы Франциск Ассизский так относился к своему учению, никто теперь и не знал бы о его существовании.

– Ну, а что, собственно, после него осталось? Все эти проповедники духовного усовершенствования сохранили только музейную ценность. Возьмите Толстого или даже Христа.

– А Флер, пожалуй, права, Блайт.

– Богохульство, – сказал мистер Блайт.

– Я не уверен. Блайт, Я последнее время все смотрю на мостовые и пришел к заключению, что они-то и препятствуют успеху фоггартизма. Понаблюдайте за уличными ребятами, и вы поймете всю привлекательность мостовой. Пока у ребенка есть мостовая, он с нее никуда не уйдет. И не забудьте, мостовая – это великое культурное влияние. У нас больше мостовых, и на них воспитывается больше детей, чем в любой другой стране, и мы самая культурная нация в мире; Стачка докажет это. Будет так мало кровопролития и так много добродушия, как нигде в мире еще не было и не может быть, А все мостовые.

– Ренегат! – сказал мистер Блайт.

– Знаете, – сказал Майкл, – ведь фоггартизм, как и всякая религия, это горькая истина, выраженная с предельной четкостью. Мы были слишком прямолинейны, Блайт. Кого мы обратили в свою веру?

– Никого, – сказал мистер Блайт. – Но если мы не можем убрать детей с мостовой – значит фоггартизму конец.

Майкла передернуло, а Флер поспешно сказала:

– Не может быть конца тому, у чего не было начала. Майкл, поедem со мной посмотреть кухню – она в отчаянном состоянии Как поступают с черными тараканами, когда их много?

– Зовут морильщика – это такой волшебник, он играет на дудочке, а они дохнут.

В дверях помещения, отведенного под столовую, они встретили Рут Лафонтэн из «банды» Норы Кэрфью и вместе спустились с темную, с застоявшимися запахами кухню. Майкл чиркнул спичкой и нашел выключатель. О черт! Застигнутый ярким светом, черно-коричневый копошащийся рой покрывал пол, стены, столы. Охваченный отвращением, Майкл все же успел заметить три лица: гадливую гримаску Флер, раскрытый рот мистера Блайта, нервную улыбку черненькой Рут Ла фонтан. Флер вцепилась ему в рукав.

– Какая гадость!

Потревоженные тараканы скрылись в щелях и затихли; там и сям какой-нибудь

таракан, большой, отставший от других, казалось, наблюдал за ними.

– Подумать только! – воскликнула Флер. – Все эти годы тут готовили пищу! Брр!

– А в общем, – сказала Рут Лафонтэн, дрожа и заикаясь, – к-клопы еще х-хуже.

Мистер Блайт усиленно сосал сигару. Флер прошептала:

– Что же делать, Майкл?

Она побледнела, вздрагивала, дышала часто и неровно; и Майкл уже думал: "Не годится, надо избавить ее от этого!", а она вдруг схватила швабру и ринулась к стене, где сидел большущий таракан. Через минуту работа кипела, они орудовали щетками и тряпками, распахивали настежь окна и двери.

II. У ТЕЛЕФОНА

Уинифрид Дарти не подали «Морнинг Пост». Ей шел шестьдесят восьмой год, и она не слишком внимательно следила за ходом событий, которые привели к генеральной стачке: в газетах столько пишут, никогда не знаешь, чему верить; а теперь еще эти чиновники из тред-юнионов всюду суют свой нос – просто никакого терпения с ними нет. И в конце концов правительство всегда что-нибудь предпринимает. Тем не менее, следуя советам своего брата Сомса, она набила погреб углем, а шкафы – сухими продуктами, и часов в десять утра, на второй день забастовки, спокойно сидела у телефона.

– Это ты, Имоджин? Вы с Джеком заедете за мной вечером?

– Нет, мама, Джек ведь записался в добровольцы. Ему с пяти часов дежурить. Да и театры, говорят, будут закрыты... Пойдем в другой раз. «Такую милашку» еще не скоро снимут.

– Ну хорошо, милая. Но какая канитель – эта стачка! Как мальчишки?

– Совсем молодцом. Оба хотят быть полисменами. Я им сделала нашивки, Как ты думаешь, в детском отделе у Хэрриджа есть игрушечные дубинки?

– Будут, конечно, если так пойдет дальше. Я сегодня туда собираюсь, подам им эту мысль. Вот будет забавно, правда? Тебе хватает угля?

– О да! Джек говорит, не нужно делать запасов. Он так патриотично настроен.

– Ну, до свидания, милая. Поцелуй от меня мальчиков.

Она только что начала обдумывать, с кем бы еще поговорить, как телефон зазвонил.

– Здесь живет мистер Вал Дарти?

– Нет. А кто говорит?

– Моя фамилия Стэйнфорд. Я его старый приятель по университету. Не будете ли настолько любезны дать мне его адрес?

Стэйжрорд? Никаких ассоциаций.

– Говорит его мать. Моего сына нет в городе, но, вероятно, он скоро приедет. Передать ему что-нибудь?

– Да нет, благодарю вас. Мне нужно с ним повидаться. Я еще позвоню или попробую зайти, Благодарю вас.

Уинифрид положила трубку.

Стэйнфорд! Голос аристократический. Надо надеяться, что дело идет не о деньгах. Странно, как часто аристократизм связан с деньгами! Или, вернее, с отсутствием их. В прежние дни, еще на Парк-Лейн, она видела столько прелестных молодых людей, которые потом либо обанкротились, либо развелись. Эмили – ее мать – никогда не могла устоять перед аристократизмом. Так вошел в их дом Монти, у него были такие изумительные жилеты и всегда гардения в петлице, и он столько мог рассказать о светских скандалах, – как же было не поддаться его обаянию? Ну да что там, теперь она об этом не жалеет. Без Монти не было бы у нее Вэла, и сыновей Имоджин, и Бенедикта (без пяти минут полковник!), хоть его она теперь никогда не видит, с тех пор как он поселился на Гернси и разводит огурцы, подальше от подоходного налога, Пусть говорят что угодно, но неверно, что наше время более передовое, чем девяностые годы и начало века, когда подоходный

налог не превышал шиллинга, да и это считалось много! А теперь люди только и знают, что бегают и разговаривают, чтобы никто не заметил, что они не такие светские и передовые, как раньше.

Опять зазвонил телефон. «Не отходите, вызывает Уонсдон».

– Алло! Это ты, мама?

– Ах, Вэл, вот приятно! Правда, нелепая забастовка?

– А, идиоты! Слушай, мы едем в Лондон.

– Да что ты, милый! А зачем? По-моему, вам будет гораздо спокойнее в деревне.

– Холли говорит, надо что-то делать. Знаешь, кто объявился вчера вечером? Ее братишка, Джон Форсайт. Жену и мать оставил в Париже; говорит, что пропустил войну, а это уж никак не может пропустить. Всю зиму путешествовал – Египет, Италия и все такое; по-видимому, с Америкой покончено. Говорит, что хочет на какую-нибудь грязную работу – будет кочегаром на паровозе. Сегодня к вечеру приедем в «Бристоль».

– О, но почему же не ко мне, милый, у меня всего много.

– Да видишь ли, тут Джон – думаю, что...

– Но он, кажется, симпатичный молодой человек?

– Дядя Сомс не у тебя сейчас?

– Нет, милый, он в Мейплдерхеме. Да, кстати, Вэл, тебе только что звонили, какой-то мистер Стэйнфорд.

– Стэйнфорд? Как, Обри Стэйнфорд? Я его с университета не видел.

– Сказал, что еще позвонит или зайдет, попробует застать тебя.

– А я с удовольствием повидаю Стэйнфорда. Так что же, мама, если ты можешь приютить нас... Только тогда уж и Джона. Они с Холли в большой дружбе после шести лет разлуки; я думаю, его почти никогда не будет дома.

– Хорошо, милый, пожалуйста. Как Холли?

– Отлично.

– А лошади?

– Ничего. У меня есть шикарный двухлеток, только мало объезженный; не хочу его пускать до голидвудских скачек, тогда уж он должен взять.

– Вот чудесно-то будет! Ну, так я вас жду, мой мальчик, Но ты не будешь рисковать, с твоей-то ногой?

– Нет, может быть, возьмусь править автобусом. Да это не надолго. Правительство во всеоружии. Дело, конечно, серьезное. Но теперь-то они попались!

– Как я рада! Хорошо будет, когда это кончится. Весь сезон испорчен. И дяде Сомсу новая забота.

Неясный звук, потом опять голое Вэла:

– Это Холли – говорит, что она тоже хочет что-нибудь делать. Ты, может, спросишь Монтю? Он знает столько народу. Ну, до свидания, скоро увидимся!

Не успела Уинифрида положить трубку и встать с высокого стула красного дерева, как снова раздался звонок.

– Миссис Дарти? Уинифрида, ты? Это Сомс. Что я тебе говорил?

– Да, очень неприятно, милый. Но Вэл говорит, что это скоро кончится.

– А он откуда знает?

– Он всегда все знает.

– Все? Гм! Я еду к Флер.

– Но зачем. Сомс? Я бы думала...

– Я должен быть на месте, на случай осложнений.

Да и автомобилю нечего стоять здесь без дела, пусть лучше послужит. И Ригзу не мешает поработать Добровольцем. Еще неизвестно, во что это выльется.

– О, ты думаешь...

– Думаю? Это не шутка. Вот что получается, когда начинают швыряться субсидиями.

– Но прошлым летом ты говорил мне...

– Ничего не могут предусмотреть. Ума, как у кошки! Аннет хочет поехать к матери во Францию. Я ее не удерживаю. Нечего ей здесь делать в такое время. Сегодня отвезу ее в Дувр на автомобиле, а завтра приеду в город.

– Как думаешь. Сомс, стоит продавать что-нибудь?

– Ни в коем случае.

– У всех появилось столько дела. Вэл хочет править автобусом. Ах да. Сомс, знаешь, приехал Джон Форсайт. Мать и жену оставил в Париже, а сам будет кочегаром.

Глухое ворчанье, потом:

– Зачем это ему нужно? Лучше бы не ездил в Англию.

– Д-да. Я думаю. Флер...

– Ты смотри, еще ей чего-нибудь не наговори.

– Да нет же. Сомс. Так я тебя увижу? До свидания.

Милый Сомс так всегда дрожит за Флер! Этот Джон Форсайт и она... да, конечно, но ведь когда это было! Детская любовь! И Уинифрид, улыбаясь, сидела неподвижно. А выходит, что стачка эта очень интересна, если только они не начнут бить стекла, С молоком, конечно, перебоев не будет, об этом правительство всегда заботится; а газеты – ну да ведь это роскошь! Хорошо, что приедет Вэл с Холли, Стачка – есть о чем поговорить. С самой войны не было ничего такого захватывающего. И, повинувшись смутной потребности тоже что-нибудь сделать. Уинифрид опять взялась за трубку.

– Дайте Вестминстер 0000... Это миссис Майкл Монт? Флер? Говорит тетя Уинифрид, Как поживаешь, милая?

Голос, раздавшийся в ответ, выговаривал слова быстро и четко, и это очень забавляло Уинифрид, которая сама в молодости особенно старалась растягивать слова, что помогало ей справляться и с ускоряющимся темпом жизни и с чувствами. Все молодые светские женщины говорили теперь, как Флер, словно считали прежний способ пользоваться английским языком слишком медлительным и скучным и пощипывали его, чтобы оживить.

– Очень хорошо, спасибо. Вы хотели меня о чем-нибудь попросить, тетя Уинифрид?

– Да, милая, Ко мне сегодня приедет Вэл с Холли, в связи с этой забастовкой, И Холли... я-то считаю, что это совершенно лишнее, – но она хочет что-нибудь делать. Она думала, может быть, Майкл знает...

– О, работы, конечно, масса! Мы наладили столовую для железнодорожников; может, она захочет принять участие?

– Ах, милая, вот было бы славно!

– Ну, не слишком, тетя Уинифрид, это дело нелегкое.

– Но ведь это не надолго. Парламент обязательно что-нибудь предпримет. Как тебе должно быть удобно – ты все новости узнаешь из первых рук. Так Холли можно направить к тебе?

– Ну разумеется! Она нам очень пригодится. Ей по возрасту, я думаю, больше подойдет делать закупки, чем бегать и подавать. Мы с ней прекрасно поладим. Главное – подобрать людей, которые могут сработаться и не будут зря суетиться. Вы что-нибудь знаете о папе?

– Да, он завтра приедет к тебе.

– Ой, зачем?

– Говорит, что должен быть на месте на случай...

– Как глупо. Ну, ничего. Будет вторая машина.

– И еще третья – у Холли. Вэл хочет править автобусом и, знаешь, молодой... ну вот и все, милая. Поцелуй Кита. Смизер говорит, в парке молока можно купить сколько угодно. Она сегодня утром была на Парк-Лейн, посмотрела, что делается. А правда ведь все это увлекательно?

– В палате говорят, что подоходный налог повысят еще на шиллинг.

– Да что ты!

В эту минуту какой-то голос сказал: «Вам ответили?» И Уинифрид, положив трубку, опять осталась сидеть неподвижно. Парк-Лейн! Там из окон старого дома – дома ее молодости – все было бы прекрасно видно, прямо штабквартира! Но как это огорчило бы милого старого папу! Джемс! Она так ясно помнила его в, накинутом на плечи пледе, прилипшего носом к стеклу окна в надежде, что его старые серые глаза помогут ему в борьбе с несчастной привычкой окружающих ничего ему не рассказывать. У нее еще сохранилось его вино. А Уормсон, их старый дворецкий, и теперь еще содержит на Темзе у Маулсбриджа гостиницу «Зобастый голубь». К рождеству он неизменно присылал ей головку сыра с напоминанием о точном количестве старого парклеинского портвейна, которое в него следует влить. Его последнее письмо кончалось так:

"Я часто вспоминаю хозяина и как он любил, бывало, сам спускаться в погреб. Что касается вин, мэм, то, боюсь, времена уже не те, что были. Передайте почтение мистеру Сомсу и всем. Эх, и много воды утекло с тех пор, как я поступил к Вам на Парк-Лейн.

Ваш покорный слуга Джордж Уормсон.

P.S. Я выиграл несколько фунтов на том жеребенке, что вырастил мистер Вал. Вы, будьте добры, передайте ему – они мне оченьгодились". Вот они, старые слуги! А теперь у нее Смизер от Тимоти, а кухарка умерла так загадочно, или, по выражению Смизера, «от меланхолии, мэм, не иначе: уж очень мы скучали по мистеру Тимоти». Смизер в роли балласта – так, кажется, это называется на пароходах? Правда, она еще очень подвижная, если принять во внимание, что ей уже стукнуло шестьдесят, и корсет у нее скрипит просто невыносимо. В конце концов бедной старушке такая радость – опять быть в семье, думала Уинифрид, которая хоть и была на восемь лет ее старше, но, как истая представительница рода Форсайтов, смотрела на возраст других людей с пьедестала вечной молодости. А приятно, что есть в доме человек, который помнит Монти, каким он был в свои лучшие дни, Монтегью Дарти, умершего так давно, что теперь его окружает сияние, желтое, как его лицо после бессонной ночи. Бедный, милый Монти! Неужто сорок семь лет, как она вышла за него замуж и переехала на Гринстрит? Как хорошо служат эти стулья красного дерева с зеленой, затканной цветами обивкой. Вот делали мебель, когда и в помине еще не было семичасового рабочего дня и прочей ерунды! В то время люди думали о работе, а не о кино! И Уинифрид, которая никогда в жизни не думала о работе, потому что никогда не работала, вздохнула. Все очень хорошо, и если только удастся поскорее покончить с этой канителью, от предстоящего сезона можно ждать много интересного, У нее уже есть билеты почти на все спектакли. Рука ее соскользнула на сиденье стула. Да, за сорок семь лет жизни на Грин-стрит эти стулья перебивали только два раза, и сейчас у них еще вполне приличный вид. Правда, теперь на них никто никогда не садится, потому что у них прямые спинки и нет ручек; а в наше время все сидят развалившись и так беспокойно, что никакой стул не выдержит. Она встала, чтобы убедиться, насколько прилично то, на чем она сидела, и наклонила стул вперед. Последний раз их обивали в год смерти Монти, 1913-й, перед самой войной. Право же, этот серо-зеленый шелк оказался на редкость прочным!

III. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ощущения Джона Форсайта, когда он после пяти с половиной лет отсутствия высадился в Ньюхэвене, куда прибыл с последним пароходом, были совсем особого порядка. Всю дорогу до Уонсдона, по холмам Сэссекса, он проехал на автомобиле в каком-то восторженном сне. Англия! Какие чудесные меловые холмы, какая чудесная зелень! Как будто и не уезжал отсюда. Деревни, неожиданно возникающие на поворотах, старые мосты, овцы, буковые рощи! И кукушка – в первый раз за шесть лет. В молодом человеке проснулся поэт, который последнее время что-то не подавал признаков жизни. Какая прелесть – родина! Энн влюбится в этот пейзаж! Во всем такая полная

законченность. Когда прекратится генеральная стачка, она сможет приехать, и он ей все покажет. А пока пусть поживет в Париже с его матерью – и ей лучше, и он свободен взять любую работу, какая подвернется. Это место он помнит, и Чанктонбери-Ринг – там, на холме, – и свой путь пешком из Уординга. Очень хорошо помнит. Флер! Его зять, Фрэйсис Уилмот, когда вернулся из Англии, много рассказывал о Флер; она стала очень современна, и очаровательна, и у нее сын. Как глубоко можно любить – и как бесследно это проходит! Если вспомнить, что он пережил в этих краях, даже странно, хоть, и приятно, что ему всего-навсего хочется увидеть Холли и Вэла.

Он сообщил им о своем приезде только телеграммой из Джеппа; но они, наверно, здесь из-за лошадей. Он с удовольствием посмотрит скаковые конюшни Вэла и, может быть, покатается верхом по холмам, прежде чем взяться за работу. Вот если бы с ним была Энн, они могли бы покататься вместе. И Джон вспомнил первую поездку верхом с Энн в лесах Южной Каролины, ту поездку, которая ни ей, ни ему не прошла даром. Вот и приехали. Милый старый дом! А вот в дверях и сама Холли. И при виде сестры, тоненькой и темноволосой, в лиловом платье, Джона как ножом резнуло воспоминание об отце, о том страшном дне, когда он мертвый лежал в старом кресле в Робин-Хилле. Папа – такой хороший, такой неизменно добрый!

– Джон! Как я рада тебя видеть!

Ее поцелуй и раньше всегда приходился ему в бровь, она ничуть не изменилась. В конце концов сводная сестра лучше, чем настоящая, С настоящими сестрами нельзя не воевать, хоть немножко.

– Как жаль, что ты не смог привезти Энн и маму! Впрочем, может быть, оно и лучше, пока здесь все не обойдется. Ты все такой же, Джон, выглядишь совсем как англичанин, и рот у тебя как был – хороший и большой. Почему у американцев и у моряков такие маленькие рты?

– Наверно, из чувства долга. Как Вэл?

– О, Вэл молодцом! И улыбка у тебя не изменилась. Помнишь свою старую комнату?

– Еще бы. А ты как, Холли?

– Да ничего. Я стала писательницей, Джон.

– Это замечательно!

– Совсем нет. Тяжелая работа и никакого удовлетворения.

– Ну!

– Первая книга вообще была мертворожденная. Вроде «Африканской фермы» – помнишь? – но без психологических финтифлюшек.

– Помню! Только я их всегда пропускал.

– Да, Джон, нелюбовь к финтифлюшкам у нас от папы. Он как-то сказал мне: «Мы скоро начнем называть всякую материю духом, или всякий дух материей, – одно из двух».

– Ну, это вряд ли, – сказал Джон, – человек любит все разбивать на категории. О, да я помню всякую мелочь в этой комнате. Как лошади? Можно взглянуть на них сегодня, а завтра покататься?

– Завтра встанем пораньше, посмотрим, как их объезжают. У нас сейчас только три двухлетки, но одна подает большие надежды.

– Отлично! А потом я поеду в город и постараюсь получить какую-нибудь работку погрязнее. Хорошо бы кочегаром на паровоз. Меня всегда интересовало, какие мысли и чувства бывают у кочегаров.

– Поедем все вместе. Мы можем остановиться у матери Вэла. Как же я рада, что вижу тебя, Джон. Обед через полчаса.

Минут пять Джон постоял у окна, Фруктовый сад в полном цвету, насаженный не с такой математической точностью, как его только что проданные персиковые деревья в Северной Каролине, был так же прекрасен, как в тот давно минувший вечер, когда он гонялся по нему за Флер. Вот в чем прелесть Англии – здесь все естественно. Как они

тосковали по родине, он и его мать! Теперь он больше не уедет. Какое дивное море яблоневого цвета! Опять кукушка! Из-за одного этого стоило вернуться на родину, Он подыщет участок и будет разводить фрукты, на Западе – в Вустершире или Сомсрете, а может быть, и здесь где-нибудь, – в Уординге, помнится, разводят много маслин и еще чего-то – Он распаковал чемодан и стал одеваться. Вот тут, где он сидит сейчас, натягивая американские носки, сидел он в тот вечер, когда Флер показывала ему платье с картины Гойи. Кто бы поверил тогда, что через шесть лет ему будет нужна Энн, а не Флер, с ним рядом, на этой постели! Гонг к обеду! Он наскоро пригладил волосы, светлые и непокорные, поправил галстук и побежал вниз.

Взгляды Вэла на стачку, взгляды Вэла на все на свете – скептические и узкие, как его лицо лошаdnика! Теперь-то этим бездельникам-лейбористам достанется; придется им удирать, пока целы. Как понравились Джону янки? Видел он «Броненосец»? Нет? Боже правый! Самый интересный спектакль в Америке! Правда, что в Кентукки трава синяя? Только издали? А! Что они еще собираются там отменить? Правда, что где-то в южных штатах есть город, где сожительство разрешается только на глазах городской охраны? В Англии парламент хочет провести налог на игру на скачках; почему бы не ввести тотализатор и не покончить с этим вопросом? Ему-то, впрочем, все равно, он больше не играет. И он взглянул на Холли. Джон тоже взглянул на ее поднятые брови и полуоткрытые губы – прелестное лицо, такая в нем ирония и терпимость. Она ведет Вэла на шелковом поводу.

Вэл не унимался. Хорошо, что Джон разделался с Америкой; если ему обязательно нужно заниматься сельским хозяйством вне Англии, почему не поселиться в Южной Африке, под бедным старым английским флагом; хотя с голландцами еще не покончено! Ух, и народ! Конечно, они живут там так давно, что стали настоящими поселенцами, не какие-нибудь авантюристы, неудачники, эмигранты на субсидии. Он их, негодяев, не любит, но народ крепкий, ничего не скажешь! Совсем остаться в Англии? И того лучше! Может, вместе будем разводить чистокровных скакунов?

Наступило неловкое молчание, потом Холли сказала лукаво:

– Джон находит, что это не очень-то почтенное занятие, Вэл.

– А почему?

– Излишняя роскошь.

– Чистокровные-то? А что без них станет с лошадьми?

– Очень соблазнительно, – сказал Джон, – я бы с удовольствием вошел в долю. Но в основном мне хочется заняться фруктами.

– Одобряю, сын мой. Можешь разводить яблоки, а мы будем лакомиться ими по воскресеньям.

– Видишь ли, Джон, – сказала Холли, – в Англии никто не верит в сельское хозяйство. Мы говорим о нем все больше, а делаем все меньше. Как по-твоему, Вэл, Джон изменился?

Кузены оглядели друг друга.

– Немножко возмужал; но ничего американского.

Холли проговорила задумчиво:

– Почему всегда сразу узнаешь американца?

– Почему всегда сразу узнаешь англичанина? – сказал Джон.

– В нем есть какая-то настороженность. А впрочем, нет ничего труднее, как определить национальный тип. Но американца ни с кем не спутаешь.

– Вряд ли ты приняла бы Энн за американку.

– Расскажи, какая она, Джон.

– Нет, подожди, сама увидишь.

После обеда, когда Вэл отправился в последний обход конюшен, Джон спросил:

– Ты видала Флер, Холли?

– Не видела года полтора, кажется. Мне очень нравится ее муж – золотой человек.

Ты счастливо отделался, Джон: она не для тебя, хоть и очаровательна; уж очень всегда хочет быть в центре внимания. Да ты это, вероятно, знал.

Джон посмотрел на нее и не ответил.

– Впрочем, – тихо добавила Холли, – когда влюблен, мало что знаешь.

Вечером он сидел у себя в комнате; по дому бродили призраки. Точно собрались в нем все воспоминания: о Флер, о Робин-Хилле – любимые в детстве деревья, сигары отца, цветы и игра матери; детская с игрушками, где до него росла Холли, где позднее он мучился над рифмами; вид из окна на конюшни и башенку с часами.

В открытое окно его комнаты тянуло сладкими запахами – такими родными – с холмов, мерцающих в лунном полусвете. Первая ночь на родине за две с лишним тысячи ночей. С продажей Робин-Хилла у него не осталось в Англии дома, кроме этого. Но они с Энн устроят себе собственное гнездо. Родина! На английском пароходе он готов был расцеловать стюардов и горничных только за то, что они говорили с английским акцентом. Он слушал его, как музыку. Для Энн теперь легче будет усвоить этот акцент, она очень восприимчива. Сам он американцев полюбил, но был рад, что Вэл не нашел в нем ничего американского. Прокричала сова. Какая тень падает от сарая, как знакомы ее мягкие очертания! Он лег в постель. Надо спать, если он намерен встать вовремя, чтобы посмотреть, как объезжают лошадей. Однажды ему уже случилось встать здесь очень рано – но с другой целью! Он скоро уснул; и чей-то образ – не то Энн, не то Флер – проносился в его сновидениях.

IV. СОМС ЕДЕТ В ЛОНДОН

В среду, посадив жену на пароход в Дувре, Сомс Форсайт поехал на автомобиле в Лондон. По дороге он решил сделать порядочный крюк и въехать в город по Хэммерсмитскому мосту, самому западному из всех более или менее подходящих. Он всегда чувствовал, что в периоды рабочих волнений есть тесная связь между Ист-Эндом и всякими неприятностями. И зная заранее, что, встретиться ему грозная толпа пролетариев, никакие силы не заставят его отступить, он послушался другой стороны форсайтской натуры решил предотвратить эту возможность. Такимто образом случилось, что его автомобиль застрял на переезде у Хэммерсмитского вокзала – единственном месте, где в тот день произошли сколько-нибудь серьезные беспорядки. Собралось много людей, и они остановили движение, которого, по-видимому, не одобряли. Сомс наклонился вперед, чтобы сказать шоферу: «Лучше объехать, Ригз», потом откинулся на сиденье и стал ждать. День был погожий, машина ландолет открыта, он не мог не видеть, что «объехать» совершенно невозможно. И всегда этот Ригз где-нибудь застрянет! Сотни машин, набитых людьми, пытающимися выбраться из города; несколько почти пустых машин с людьми, пытающимися, как и он сам, пробраться мимо них в город; автобус, не то чтобы опрокинутый, но с выбитыми стеклами, загородивший половину дороги; и толпа людей с ничего не выражающими лицами, снующих взад и вперед перед горстью полисменов! Таковы были явления, с которыми, по мнению Сомса, власти могли бы справиться и получше.

До слуха его донеслись слова: «Вот буржуй проклятый!» И, оглянувшись, чтобы увидеть буржуя, о котором шла речь, он убедился, что это он сам. Несправедливые эпитеты! На нем скромное коричневое пальто и мягкая фетровая шляпа. У этого Ригза внешность как нельзя более пролетарская, а машина – самого обыкновенного синего цвета. Правда, он занимает ее один, а все другие полны народу; но как выйти из такого положения – неизвестно; разве что повезти с собой в Лондон людей, стремящихся уехать в обратном направлении. Поднять верх автомобиля было бы, конечно, слишком демонстративно, так что ничего не остается, как сидеть смирно и не обращать внимания. Сомс, от рождения усвоивший гримасу легкого презрения ко всей вселенной, был как нельзя более приспособлен для такого занятия. Он сидел, глядя на кончик собственного

носа, а солнце светило ему в затылок, и толпа колыхалась взад-вперед вокруг полисменов. Насильственные действия, результатом которых явились выбитые окна автобуса, уже прекратились, и теперь люди вели себя вполне мирно, словно вышли поглазеть на принца Уэльского.

Всеми силами стараясь не раздражать толпу слишком явным вниманием, Сомс наблюдал. И пришел к заключению, что вид у людей равнодушный; ни в глазах, ни в жестах он не видел той напряженной деловитости, которая одна только и придает революционным выступлениям грозный характер. Почти все молодежь, чуть не у каждого к нижней губе приклеилась папираса, так смотрит толпа на упавшую лошадь.

Люди теперь так и родятся, зеваками, И это неплохо. Кино, дешевые папиросы и футбольные матчи – пока они существуют, настоящей революции не будет. А всего этого, по-видимому, с каждым годом прибавляется. И он только было решил, что будущее не так уж мрачно, когда к нему в автомобиль просунулась голова какой-то молодой женщины.

– Не могли бы вы подвезти меня в город?

Сомс, по привычке, посмотрел на часы. Стрелки, показывавшие семь часов, мало чем помогли ему. Довольно нарядно одетая женщина, с чуть вульгарной манерой говорить и напудренным носом. И долго этот Ригз будет скалить зубы? А между тем, в «Бритиш Газет» он читал, что все так делают. Он ответил грубовато:

– Могу. Куда вам нужно попасть?

– О, хотя бы до Лестер-сквер добраться.

Этого еще недоставало!

Молодая женщина, казалось, почуяла его опасения.

– Видите ли, – сказала она, – мне надо еще поесть до спектакля.

Да она уже лезет в машину! Сомс чуть не вылез вон. Он сдержался, искоса оглядел ее; наверно, какая-нибудь актриса – молодая, лицо круглое, и, конечно, покрашено, – чуть курносая, глаза серые, слегка навывкате; рот... гм, красивый рот, немножко вульгарный. И, разумеется, стриженная.

– Вот спасибо вам!

– Не стоит, – сказал Сомс; и машина тронулась.

– Вы думаете, это надолго – забастовка?

Сомс наклонился вперед.

– Поезжайте, Ригз, – сказал он, – этой даме нужно на, у э-э... Ковентри-стрит, там остановиться.

– Такая глупость вся эта история, – сказала дама. – Я бы ни за что не поспела вовремя. Вы видели наше обозрение «Такая милашка»?

– Нет.

– Очень, знаете ли, неплохо.

– Да?

– Впрочем, если это не кончится, придется закрывать лавочку.

– А.

Молодая женщина замолчала, сообразив, что поклонник не отличается разговорчивостью.

Сомс переменил позу. Он так давно не разговаривал с посторонней молодой женщиной, что почти совсем забыл, как это делается. Поддерживать разговор ему не хотелось, а между тем, он понимал, что она его гостя.

– Вам удобно? – неожиданно спросил он.

Она улыбнулась.

– Неужели нет? Машина чудесная!

– Мне она не нравится, – сказал Соке.

Она раскрыла рот.

– Почему?

Сомс пожал плечами; он говорил, только чтобы сказать что-нибудь.

– По-моему, это даже интересно, правда? – сказала она. – «Держаться» вот так, как мы все сейчас.

Машина теперь шла полным ходом, и Сомс начал вы – считать, через сколько минут можно будет покончить с такими сопоставлениями.

Памятник Альберту, уже! Он почувствовал к, нему своего рода нежность – такое счастливое неведение всего происходящего!

– Обязательно приходите посмотреть наше обозрение, – сказала дамочка.

Сомс собрался с духом и взглянул ей в лицо.

– Что вы там делаете? – спросил он.

– Пою и танцую.

– Вот как.

– У меня хорошая сцена в третьем акте, где мы все в ночных рубашонках.

Сомс чуть заметно улыбнулся.

– Таких, как Кэт Воген, теперь не увидишь, – сказал он.

– Кэт Воген? Кто она была?

– Кто была Кэт Воген? – повторил Сомс. – Самая блестящая балерина легкого жанра. В то время в танцах было изящество; это теперь вы только и знаете, что ногами дрыгать. Вы думаете, чем быстрее вы можете передвигать ноги, тем лучше танцуете. – И, сам смутившись своего выпада, который неминуемо должен был к чему-то привести, он отвел глаза.

– Вы не любите джаз? – осведомилась дамочка.

– Не люблю, – сказал Сомс.

– А знаете, я, пожалуй, тоже; кроме того, он выходит из моды.

Угол Хайд-парка, уже! И скорость добрых двадцать миль!

– Ой-ой-ой! Посмотрите на грузовики; замечательно, правда?

Сомс проворчал что-то утвердительное. Дамочка стала без всякого стеснения пудрить нос и подмазывать губы. «Что, если меня кто-нибудь увидит?» – подумал Сомс. А может, кто и видит, он этого никогда не узнает. Поднимая высокий воротник пальто, он сказал:

– Сквозит в этих автомобилях! Подвезти вас к ресторану Скотта?

– Ой, нет, если можно – к Лайонсу; я еле-еле успею перекусить. В восемь надо быть на сцене. Большое вам спасибо. Теперь если бы кто еще отвез меня домой! – Она вдруг повела глазами и добавила: – Не поймите превратно!

– Ну, что вы, – сказал Сомс не без тонкости, вы и приехали. Стойте, Ригз!

Машина остановилась, и дамочка протянула Сомсу руку.

– Прощайте, и большое спасибо!

– Прощайте, – сказал Сомс.

Улыбаясь и кивая, она сошла на тротуар.

– Поезжайте, Ригз, да поживее. Саут-сквер.

Машина тронулась. Сомс не оглядывался; в сознании его, как пузырь на поверхности воды, возникла мысль: «В прежнее время всякая женщина, которая выглядит и говорит, как эта, дала бы мне свой адрес». А она не дала! Он не мог решить, знаменует это прогресс или нет.

Не застав дома ни Флер, ни Майкла, он не стал переодеваться к обеду, а прошел в детскую. Его внук, которому шел теперь третий год, еще не спал и сказал:

– Алло!

– Алло!

Сомс извлек игрушечную трещотку. Последовало пять минут сосредоточенного и упоенного молчания, по временам нарушаемого гортанным звуком трещотки. Потом внук улегся поудобнее, уставился синими глазами на Сомса и сказал:

– Алло!

– Алло! – ответил Сомс.

– Спать! – сказал внук.

– Спать! – сказал Сомс, пятась к двери, и чуть ну споткнулся о серебристую собачку.

На том разговор закончился, и Сомс пошел вниз. Флер предупредила по телефону, чтобы он не ждал их к обеду.

Он сел перед картиной Гойи. Трудно было бы утверждать, что Сомс помнил чартистское движение 1848 года, потому что он родился в 5-м; но он знал, что в то время его дядя Суизин состоял в добровольческой полиции. С тех пор не было более серьезных внутренних беспорядков, чем эта генеральная стачка; и за супом Сомс все глубже и глубже вдумывался в ее возможные последствия. Большевизм на пороге, вот в чем беда! И еще – недостаток гибкости английского мышления. Если уголь был когда-то прибыльной статьей – воображают, что он навсегда останется прибыльным. Политические лидеры, руководство тред-юнионов, печать не видят на два дюйма дальше своего носа! Им еще в августе надо было начать что-то делать, а что они сделал? Составили доклад, на который никто и смотреть не хочет.

– Белого вина, сэр, или бордо?

– Все равно, что есть начатого.

В восьмидесятых, даже в девяностых годах с его отцом от таких слов случился бы удар: пить бордо из начатой бутылки в его глазах почти равнялось безбожию. Очередной симптом вырождения идеалов!

– А вы. Кокер, что скажете о забастовке?

Лысый слуга наклонил бутылку сотерна.

– Неосновательно задумано, сэр, если уж вы меня спрашиваете.

– Почему вы так думаете?

– А было бы основательно, сэр, Хайд-парк был бы закрыт для публики.

Вилка Сомса с куском камбалы повисла в воздухе.

– Очень возможно, что вы правы, – сказал он одобрительно.

– Суетсяя они много, но так – все впустую. Пособие – вот это умно придумали, сэр. Хлеба и цирков, как говорит мистер Монт.

– Ха! Вы видели эту столовую, которую они устроили?

– Нет, сэр. Кажется, нынче вечером туда придет морильщик. Говорят, тараканов там видимо-невидимо.

– Брр!

– Да, сэр, насекомое отвратительное.

Пообедав, Сомс закурил вторую из двух полагавшихся ему в день сигар и надел наушники радио. Он, пока мог, противился этому изобретению – в такое время! «Говорит Лондон!» Да, а слушает вся Великобритания. Беспорядки в Глазго? Иначе и быть не может – там столько ирландцев! Требуются еще добровольцы в чрезвычайную полицию? Ну, их-то скоро будет достаточно. Нужно сказать этому Ригзу, чтобы записался. Вот и здесь без лакея вполне можно обойтись. Поезда! Поездов, по-видимому, пустили уже порядочно. Прослушав довольно внимательно речь министра внутренних дел. Сомс снял наушники и взял «Бритиш Газет». Впервые за всю жизнь он уделил некоторое время чтению этого малопочтенного листка и надеялся, что первый раз будет и последним. Бумага и печать из рук вон плохи. Все же надо считать достижением, что ее вообще удалось выпустить. Подбираются к свободе печати! Не так-то это легко, как казалось этим людишкам. Попробовали – и вот результат: печать, куда более решительно направленная против них, чем та, которую они прикрыли. Обожглись на этом деле! И без всякого толку, ведь влияние печати – устарелое понятие. Его убила война. Без доверия нет влияния. Что политические вожди, что печать – если им нельзя верить, они вообще не идут в счет! Может быть, эту истину когда-нибудь откроют заново. А пока что газеты – те же коктейли, только возбуждают аппетит и нервы. Как хочется спать. Хоть бы Флер не слишком поздно вернулась домой. Безумная затея – эта стачка! Из-за нее все взялись за совершенно непривычные дела, да еще в такой момент, когда промышленность

только-только начинает – или делает вид, что начинает, – оживать. Но что поделаешь! В наше время становится год от года труднее придерживаться плана. Всегда что-нибудь помешает. Весь мир как будто живет со дня на день, и притом такими темпами! Сомс откинулся на спинку испанского стула, заслониł глаза от света, и сон волной подступил к его сознанию. Стачка стачкой, а волны перекатывались через него мягко, неотвратно.

Защекотало, и над его рукой, сухощавой и темной, закачалась бахрама шали. Что такое? Он с усилием выбрался из чащи снов. Около него стояла Флер. Красивая, яркая, глаза сияют, говорит быстро, как будто возбужденно.

– Так ты приехал, папа!

Губы ее горячо и мягко коснулись его лба, а глаза – что с ней? Она точно помолодела, точно... как бы это выразить?

– Ты дома? – сказал он. – Кит становится разговорчив. Поела чего-нибудь?

– Да, да!

– Эта столовая...

Флер сбросила шаль.

– Мне там ужасно нравится.

Сомс с удивлением заметил, как часто дышит ее грудь, словно она только что бежала. И щеки у нее были очень розовые.

– Ты, надеюсь, ничего там не подцепила? Флер засмеялась – очаровательный звук, и совершенно необоснованный.

– Какой ты смешной, папа! Я молю бога, чтобы забастовка тянулась подольше.

– Не говори глупостей, – сказал Сомс. – Где Майкл?

– Пошел спать. Он заезжал за мной из палаты. Говорит, ничего у них там не выходит.

– Который час?

– Первый час, милый. Ты, наверное, хорошо соснул.

– Просто дремал.

– Мы видели танк на набережной – шел на восток, Ужасно чудно они выглядят. Ты не слышал?

– Нет, – сказал Сомс.

– Ну, если услышишь – не тревожься. Майкл говорит, их направляют в порт.

– Очень рад. Значит, правительство серьезно взялось за дело. Но тебе пора спать. Ты переутомилась.

Она задумчиво смотрела на него, накинув на руку испанскую шаль, насвистывая какую-то мелодию.

– Спокойной ночи, – сказал он, – я тоже скоро пойду спать.

Она послала ему воздушный поцелуй, повернулась на каблучках и исчезла.

– Не нравится мне это, – пробормотал Сомс. – Сам не знаю почему, только не нравится.

Слишком молодо она выглядела. Или это стачка ударила ей в голову? Он встал, чтобы нацедить в стакан содовой, – после сна остался неприятный вкус во рту.

Ум-дум-бом-ум-дум-бом-ум-дум-бом! И скрежет! Еще танк? Хотел бы он взглянуть на эту махину. При мысли, что они идут в порт, он чуть ли не возликовал. Раз они налицо, страна вне опасности. Он надел дорожное пальто и шляпу, вышел из дому, пересек пустую площадь и остановился на улице, с которой видна была набережная. Вот он идет! Как огромное допотопное чудовище, в освещенной фонарями темноте рычит и хрюкает большущая сказочная черепаха, воплощение неотвратимой мощи. «Хороший им готовится сюрприз!» – подумал Сомс, когда танк прополз, скрежеща, и скрылся из виду; Он уже слышал, что идет следующий, но, вдруг решив, что хорошенького понемножку, повернул к дому. Роскошь, может быть, и излишняя, если вспомнить равнодушную толпу, окружавшую утром его автомобиль, – ни оружия, ни даже революционного задора в глазах!

«Неосновательно задумано!» А эти ползучие чудища! Может быть, правительству хочется сделать вид, что это не верно? Демонстрация мощи! Что-то возмутилось в душе Сомса. Это же Англия, черт возьми! Может, они и правы, но что-то не похоже. Чересчур... чересчур по-военному! Он отпер входную дверь. Ум-дум-дум-ум-дум-дум! Что же, мало кто их увидит или услышит в такое позднее время. Вероятно, они попали сюда откуда-нибудь из деревни – не хотел бы он повстречаться с ними в лесу или на полях. Танки – папа, мама и деточка, как... как семья мастодонтов, а? Никакого чувства пропорции в таких вещах. И никакого чувства юмора. Он постоял на лестнице, послушал. Хоть бы они только не разбудили малыша!

V. ОПАСНОСТЬ

Когда Флер, оглядывая лица сидящих за ужином, увидела Джона Форсайта, в ее сердце что-то произошло, славно она зимой набрела на цветущий куст жимолости. Оправившись от легкого опьянения, она отошла, подальше и вгляделась в Джона. Он сидел, словно не обращая внимания на еду, и на его потном лице, измазанном угольной пылью, была улыбка, свойственная человеку, поднявшемуся на гору или пробежавшему большое расстояние, усталая, милая и такая, будто он много и с толком поработал. Ресницам его – длинные и темные, какими она их помнила, – скрывали глаза и спорили с более светлыми волосами, взлохмаченными, несмотря на короткую стрижку.

Продолжая давать распоряжения Рут Аафонтэн, Флер лихорадочно думала. Джон! Как с кеба свалился в ее столовую – окрепший, более подобранный; подбородок решительнее, глаза сидят глубже, но страшно похож на Джиша! Что же теперь делать? Если б только можно было выключить свет, подкрасться к нему сзади, наклониться и поцеловать в пятно над левым глазом! Ну, а дальше что? Глупо! А что, если он сейчас, очнется от своей мечтательной улыбки и увидит ее? Скорей всего, он никогда больше не придет к ней в столовую. Она помнила, какая у него совесть. И она приняла мгновенное решение. Не сегодня! Холли будет знать, где он остановился. Время и место по ее выбору, если она, по зрелом размышлении, захочет играть с огнем. И, снабдив Рут Лафонтэн инструкцией относительно булочек, она оглянулась через плечо на лицо Джона, рассеянно чему-то улыбающееся, и пошла в свою маленькую контору.

И начались зрелые размышления. Майкл, Кит, отец; устоявшийся порядок добродетельной и богатой жизни; душевное равновесие, которого она в последнее время достигла! Все в опасности из-за одной улыбки и запаха жимолости! Нет! Этот счет закрыт. Открыть его – значило бы снова искушать судьбу. И если искушать судьбу вполне современное занятие – она, может быть, и не современная женщина. Впрочем, неизвестно еще, в ее ли силах открыть этот счет? И ею овладело любопытство – захотелось увидеть его жену, которая заменила ее. Флер. В Англии она? Брюнетка, как ее брат Франсис? Флер взяла список покупок, намеченных на завтра. Такая гибель дел! Идиот думать о таких вещах! Телефон! Он звонил целый день; с девяти часов утра она плясала под его дудку.

– Да?.. Говорит миссис Монт. Что? Но я ведь их заказала... О! Но должна же я давать им утром яичницу с ветчиной! Не могут он перед работой получать одно какао... Что? У Компакта нет средств?.. Ну, затея! Хотите вы, чтобы дороги работали прилично, или нет? Зайти поговорить? Мне, – права же, некогда". Да, да, пожалуйста, сделайте мне одолжение, скажите директору, что их просто необходимо кормить посытнее. У них такой усталый вид. Он поймет... Да... Спасибо большое! – она повесила трубку. Черт!

Кто-то засмеялся.

– Ой, это вы, Холли! Как всегда, экономят и тянут! Сегодня это уже четвертый раз. Ну, мне все равно – я держу свою линию. Вот взгляните: это – завтрашний список для Хэрриджа. Колоссальны, во что поделаешь. Купите все; риск беру на себя" хоть бы мне пришлось ехать туда и рыдать у его ног.

И за сочувственной иронией на лице Холли ей виделась улыбка Джона. Надо

кормить его посытнее – да ив его одного! Не глядя на кузину, он" сказала:

– Я видела здесь Джона. Откуда о" взялся?

– Из Парижа, Пока живет с нам" на Грин-стрит.

Флер с легким смешком выставила вперед подбородок.

– Забавно опять увидеть его, да еще такого чумазого! Его жена тоже здесь?

– Нет еще, – сказала Холли, – она осталась в Париже с его матерью.

– О, хорошо бы с ним как-нибудь повидаться!

– Он работает кочегаром на пригородных поездах – уходит в шесть, приходит после одиннадцати.

– Понятие! Я и думала – потом, если стачка когданибудь кончится.

Холли кивнула.

– Его жена хочет приехать помогать; что вы скажете, не взять ли ее в столовую?

– Если она подойдет.

– Джон говорит, что очень.

– Не вижу, собственно, к чему американке утруждать себя. Они хотят совсем поселиться в Англии?

– Да.

– О! Впрочем, мы оба переболели корью.

– Если заболеть вторично, взрослой. Флер, – корь опасна.

Флер засмеялась.

– Никакого риска! – и глаза ее, карие, ясные, веселые, встретились с глазами кузины, глубокими, серьезными, серыми.

– Майкл ждет вас в машине, – сказала Холли.

– Отлично. Вы можете побыть здесь, пока они кончат есть? Завтра с пяти утра дежурит Нора Кэрфью. Я буду здесь в девять, до того, как вы уедете к Хэрриджу. Если надумаете еще что-нибудь, прибавьте к списку, я уж какнибудь заставлю их натянуть. Спокойной ночи, Холли!

– Спокойной ночи, родная.

Не жалость ли мелькнула в этих серых глазах? Жалость, скажите на милость!

– Привет Джону. Интересно, как ему нравится быть кочегаром. Нужно достать еще тазов для умывания.

Сидя рядом с Майклом, который вел машину, она снова будто видела в стекле улыбку Джона, и в темноте ее губы тянулись вперед, словно хотели достать эту улыбку. Корь – от нее бывает сыпь и поднимается температура... Как пусты улицы, ведь шоферы такси тоже бастуют. Майкл оглянулся на нее.

– Ну, как дела?

– Какое страшилище этот морильщик, Майкл. У него рябое лицо клином, и волнистые черные волосы, и глаза падшего ангела; но дело свое он знает.

– Посмотри-ка, вон танк; мне о них говорили. Они идут в порт. Похоже на провокацию. Хорошо еще, что нет газет, негде о них писать.

Флер рассмеялась.

– Папа, наверное, уже дома. Он приехал в город охранять меня. Если бы и вправду началась стрельба, интересно, что бы он сделал, – стал махать зонтиком?

– Инстинкт. Все равно что у тебя по отношению к Киту.

Флер не ответила. Позже, повидав отца, она поднялась наверх и остановилась у двери детской. Мелодия, так изумившая Сомса, прозвучала легкомысленно в пустом коридоре. «L'amour est enfant de Boheme; il n'a jamais, jamais connu de loi: si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde a toi!» . Испания, и тоска ее свадебной поездки! «Голос, в ночи звенящий!» Закрывать ставни, заткнуть уши – не впускать его, Она вошла в спальню и зажгла все лампы. Никогда еще никогда ей так не нравилась – много зеркал, зеленые и лиловые тона, поблескивающее серебро. Она стояла и смотрела на свое лицо, на щеках появилось по красному пятну. Зачем она не Нора Кэрфью – добросовестная,

несложная, самоотверженная, которая завтра в половине шестого утра будет кормить Джона яичницей с ветчиной! Джон с умытым лицом! Она быстро разделась. Может ли сравниться с ней эта его жена? Кому из них присудил бы он золотое яблоко, если бы они с Эни вот так стояли рядом? И красные пятна на ее щеках гуще заалели. Переутомление – это ей знакомо! Заснуть не удастся! Но простыни были прохладные. Да, прежнее гладкое ирландское полотно куда приятнее, чем этот новый шершавый французский материал. А, вот и Майкл входит, идет к ней. Что ж! Зачем быть с ним суровой – бедный Майкл! И когда он обнимал ее, она видела улыбку Джона.

Этот первый день работы на паровозе мог хоть кого заставить улыбаться.

Машинист, почти столь же юный, как и он, но в нормальное время – совладелец машиностроительного завода, просветил Джона по сложному вопросу: как добиться равномерного сгорания. «Хитрая работа и очень утомительная!» Их пассажиры вели себя хорошо. Один даже подошел поблагодарить их. Машинист подмигнул Джону. Было и несколько тревожных моментов. Поедая за ужином гороховый суп, Джон думал о них с удовольствием. Было замечательно, но плечи и руки у него разломило. «Вы их смажьте на ночь», посоветовал машинист.

Какая-то молоденькая женщина предложила ему печеной картошки. У нее были необычайно ясные, темно-карие глаза, немножко похожие на глаза Энн, только у Энн они русалочьи. Он взял картофелину, поблагодарил и опять погрузился в мечты кочегара. Удивительно приятно преодолевать трудности, быть снопа в Англии, что-то делать для Англии! Нужно пожить вдали от родины, чтобы понять это. Энн телеграфировала, что хочет приехать и быть с ним. Если он ответит «нет», она все равно приедет. В этом он успел убедиться за два года совместной жизни. Что же, она увидит Англию в самом лучшем свете. В Америке не знают по-настоящему, что такое Англия. Ее брат побывал только в Лондоне; в его рассказах проскальзывала горечь верно, женщина, хотя ни слова о ней не было сказано. В изложении Фрэнсиса Уилмота пропуски в истории Англии объясняли все остальное. Но все порочат Англию, потому что она не выставляет своих чувств напоказ и не трубит о себе на каждом перекрестке.

– Масла?

– Спасибо большущее. Удивительно вкусная картошка.

– Как приятно слышать.

– Кто устроил эту столовую?

– Главным образом мистер и миссис Майкл Монт; он член парламента.

Джон уронил картофелину.

– Миссис Монт? Не может быть! Она моя троюродная сестра. Она здесь?

– Была здесь. Кажется, только что ушла.

Дальнозоркие глаза Джона обежали большую темноватую комнату. Флер! Невероятно!

– Пудинга с патокой?

– Нет, спасибо. Я сыт.

– Завтра в пять сорок пять будет кофе, чай или какао и яичница с ветчиной.

– Великолепно! По-моему, это замечательно.

– Да, пожалуй, в такое-то время.

– Большое спасибо. До свидания.

Джон отыскал свое пальто. В машине его ждали Вэл и Холли.

– Алло, юноша! Ну и вид у тебя!

– А вам какая работа досталась, Вэл?

– Грузовик – завтра начинаю.

– Чудно.

– Скачкам пока что крышка.

– Но не Англии.

– Англии? Ну нет! С чего это ты?

– Так говорят за границей.
– За границей! – проворчал Вэл. – Они скажут!
И воцарилось молчание на третьей скорости.
С порога своей комнаты Джон сказал сестре:
– Я слышал, столовую устроила Флер. Неужели она так постарела?
– У Флер очень умная головка, милый. Она тебя видела. Смотри, Джон, не заболей корью во второй раз!

Джон засмеялся.

– Тетя Уинифрид ждет Энн в пятницу, просила передать тебе.
– Чудесно. Очень мило с ее стороны.
– Ну, спокойной ночи, отдыхай. В ванной еще есть горячая вода.

Джон с упоением растянулся в ванне. Пробыв шестьдесят часов вдали от молодой жены, он уже с нетерпением ждал ее приезда. Так столовую устроила Флер! Светская молодая женщина с умной и уж наверное стриженной головкой – ему было очень любопытно увидеться с ней, но ничего больше. Корь во второй раз? Как бы не так! Он слишком много выстрадал и в первый. Кроме того, он очень уж поглощен радостью возвращения – результат долгой, заглушенной тоски по родине. Мать его тосковала по Европе; но он не почувствовал облегчения в Италии и во Франции. Ему нужна была Англия. Что-то в говоре и походке людей, в запахе и внешнем виде всего окружающего; что-то добродушное, медлительное, насмешливое в самом воздухе после напряжения Америки, кричащей яркости Италии, прозрачности Парижа. Впервые за пять лет он не чувствовал, что нервы его обнажены. Даже то в его отечестве, что оскорбляло в нем эстета, действовало умиротворяюще. Пригороды Лондона, великое множество ужасающих домишек из кирпича и шифера, в постройке которых, как рассказывал ему отец, принимал участие его прадед, «Гордый Досеет» Форсайт; сотни новых домиков, правда, получше тех, но все же весьма далеких от совершенства; полное отсутствие симметрии и плана, уродливые здания вокзалов; вульгарные голоса, недостаток яркости, вкуса и достоинства в одежде людей – все, казалось, успокаивало, было порукой, что Англия всегда останется Англией.

Так эту столовую устроила Флер! Он ее увидит! А хочется ее увидеть! Очень!

VI. ТАБАКЕРКА

В соседней комнате Вэл говорил Холли:

– Ко мне сегодня заходил один человек, мы с ним в университете учились. Просил денег взаймы. Я как-то давал ему, когда и сам был небогат, но так и не получил обратно. Он страшно импонировал мне тогда – этаким красивым, томным субъект. Я считал его идеалом аристократа. А посмотрела бы ты на него теперь!

– Я видела – встретила с ним, когда он выходил отсюда; еще подумала, кто бы это мог быть. В жизни не видала такого горько-презрительного выражения лица. Ты дал ему денег?

– Только пять фунтов.

– Ну, больше не давай.

– Будь покойна. Знаешь, что он сделал? Захватил с собой мамину табакерку, а она стоит сотни две. Больше в комнате никого не было.

– Боже милостивый!

– Да, смело. В университете он у нас считался самым распутным, водил компанию с картежниками. Я о нем не слышал с тех пор, как уехал на бурскую войну.

– Мама, верно, очень огорчена, Вэл?

– Хочет подавать в суд – табакерка принадлежала ее отцу. Но как можно – университетский товарищ! Да и все равно ведь не вернешь.

Холли перестала расчесывать волосы.

– А это, пожалуй, утешительно, – сказала она.

– Что именно?

– Да как же, все говорят, что уровень честности падает. Приятно обнаружить, что в нашем поколении есть люди, у которых ее и того меньше.

– Слабое утешение!

– Человеческая природа не меняется, Вэл. Я верю в молодое поколение. Мы их не понимаем, мы росли в такую спокойную пору.

– Возможно. Мой-то папаша был не слишком разборчив. Но что же мне теперь делать?

– Ты знаешь его адрес?

– Он сказал, что его можно найти через «БрюмельКлуб», насколько мне помнится – учреждение не из почтенных. Дойти до такого откровенного воровства! Я не на шутку расстроен.

Он лежал на спине в постели, Холли смотрела на него. Поймав ее взгляд, он сказал:

– Если б не ты, старушка, я и сам бы, может, свихнулся.

– О нет, Вэл! Ты слишком любишь воздух и движение. Плохо кончают те, кто всю жизнь сидит в комнатах.

Вэл усмехнулся.

– А это не глупо. Если я и видел этого человека в движении, так только за карточным столом. На скачках играл, а сам лошади от ежа отличить не мог. Ну что же, придется маме с этим примириться, я ничего не могу сделать.

Холли подошла к его постели.

– Повернись, я тебя укурю получше.

Потом она легла сама; не спала – думала о человеке, который свихнулся, вспоминала презрение, написанное на его лице, изможденном, темном, правильном; преждевременно седеющие волосы, преждевременно поблекшие глаза и его костюм, словно чудом уцелевший, и – изношенный, тщательно завязанный галстук бабочкой. Она чувствовала, что знает его: никаких нравственных устоев и глубоко внедрившееся презрение к тем, у кого они есть. Бедный Вэл! Его-то нравственные устои не так крепки, чтобы его можно было за них презирать. Хотя!.. При всех своих опасных мужских инстинктах Вэл был верным товарищем все эти годы. Если он не отличается философским складом ума и эстетическими вкусами, если в лошадах он смыслит больше, чем в поэзии, – что ж, хуже он от этого? Временами ей казалось, что даже лучше. Лошадь не меняет каждые пять лет своего вида и масти и не порочит своих предшественников. Лошадь – постоянная величина, держит вас на умеренных темпах, любит, чтобы ее гладили по носу, – о каком поэте можно сказать то же самое? Их роднит только одно – любовь к сахару. После выхода в свет своего романа Холли стала членом «Клуба 1930 года», Провела ее туда Флер; и теперь, наезжая в Лондон, она изучала в своем клубе современность. Современность – это быстрота и больше ничего. Те, кто ругает ее, пусть бы лучше ругали телефон, радио, аэропланы и закусовые на каждом углу. Под этой внешней оболочкой скорости современность стара. Женщины не так много надевали на себя, когда выходили первые романы Джейн Остин. Панталоны – так утверждают историки – изобретены только в XIX веке. А современная манера говорить! После Южной Африки просто дух захватывает, до того она стремительна; но мысли примерно те же, какие бывали у нее самой в юности, только разрезанные на кусочки автомобилями и телефонными звонками. А современные увлечения! Ведут к тому же, к чему вели и при Георге Втором, только тянутся дольше из-за мотоцикла и завтрака стоя. А современная философия! Люди мыслят не менее философски, чем Мартин Талпер или Айзах Уолтон; только, в отличие от этих прославленных старцев, им некогда сформулировать свои мысли. Что же касается будущей жизни – современность живет надеждой, и притом не слишком твердой, как жилию человечество с незапамятных времен. И, как подобает писательнице, Холли поспешила сделать вывод. «Вот, – подумала она, – только поскреби лучших

представителей современной молодежи – и найдешь Чарльза Джемса Фокса и Пердиту в костюмах для гольфа». Ровный звук вернул ее мысли в обычное русло. Вал спит! Какие у него и теперь еще длинные, темные ресницы, но рот открыт!

– Вэл, – сказала она еле слышно, – Вэл, не храпи, милый!..

В табакерке можно ценить не столько эмаль, бриллиантики или эпоху, на к то, что она принадлежала вашему отцу Уинифриду, хотя и достаточно показала себя собственницей в течение стольких лет сохраняя Монтегью Дарти со всеми присущими ему качествами, не обладала, как ее брат Сомс, ни инстинктом коллекционера, ни тем вкусом к вещам, в котором Джордж Форсайт первый усмотрел «смесь ханжества и добродетели». Но чем больше время отдаляло ее отца Джемса – ас его смерти протекло уже четверть века, тем глубже она чтит его память.

Как древний полководец или мыслитель, огражденный временем от соперников, год от году стяжает все большую славу, так и Джемс! Его нелюбовь к переменам, его предельная семейственность, его умение сберечь деньги для детей и вечная боязнь, что ему чего-нибудь не скажут, – с каждым годом, который он проводил под землей, сияли в глазах Уинифрида все более ярким ореолом. По мере того как она полнела и ее светские стремления угасали, прошлое разгоралось в целое созвездие сияющих воспоминаний. Исчезновение табакерки, столь ощутимо напоминавшей Джемса и Эмили, поколебало ее завидное душевное равновесие больше, чем любое другое событие за много лет. От мысли, что она поддалась голосу, аристократически звучащему по телефону, ей делалось положительно не по себе. А ей ли, казалось бы, не знать, с ее богатым опытом общения с аристократией! Однако она была из тех женщин, которые, установив неприятный факт, делают все, чтобы как можно скорее его устранить; и, ничего не добившись от Вэла, который только сказал: «Ужасно жаль, мама, но что же поделаешь – не повезло!» – она призвала на помощь Сомса.

Сомса новость сразила. Он помнил, как Джемс на его глазах купил эту табакерку у Джобсона, заплатив десятую долю той суммы, которую можно бы получить за нее теперь. Все теряло свой смысл, если возможно было вот так вдруг лишиться вещи, стоимость которой без всяких усилий с их стороны неуклонно возрастала в течение сорока лет. И взявший ее был из очень хорошей семьи – так по крайней мере утверждал племянник! Была ли честность старых Форсайтов, в атмосфере которой Сомс был воспитан и вступил в жизнь, врожденной или благоприобретенной – впитанной с молоком матери или с доходами от банков – об этом он никогда не задумывался. Ока составляла часть их системы, так же как поговорка «Честность – лучшая политика» входила в систему частных банкирских контор, которые тогда процветали. Праздные мысли на тему о банках были вполне естественны для человека, помнившего отклики на крах конторы «Эндерстарт и Дарнет» и постепенное исчезновение маленьких банков с легендарными именами. Эти громадные теперешние объединения хороши для кредита и плохи для романистов: разъяренные вкладчики – интереснее не было чтения в его время! Такие большущие концерны не могут «лопнуть», как бы ни вели себя их клиенты; но способствуют ли они честности отдельных лиц – в этом Сомс не был уверен. Как бы то ни было, табакерка пропала, и если Уинифрида не примет мер, ее не вернуть. Какие именно меры сна может принять, было ему еще не ясно; но он советует ей сейчас же поручить это дело кому-нибудь.

– Но кому. Сомс?

– На то есть Скотленд-Ярд, – ответил Сомс мрачно. – Толку от них вряд ли добьешься – суется, а больше ничего. Есть еще этот тип, которого я приглашал, когда мы судились с Феррар. Он очень дорого берет.

– Мне бы не так было жаль, – сказала Уинифрида, – если б она не принадлежала дорогому папе.

– Таких бандитов надо сажать в тюрьму, – проговорил Сомс.

– И подумать только, – сказала Уинифрида, – что Вэл и остановился-то у меня

главным образом для того, чтобы увидаться с ним.

– Ах так? – сказал Сомс мрачно. – Ты вполне уверена, что табакерку взял этот субъект?

– Безусловно. Я достала ее всего за четверть часа до этого, хотела почистить. Когда он ушел, я сейчас же вернулась в комнату, чтобы убрать ее, а ее уже не было. Вэл выходил из комнаты.

Сомс на минуту задумался, потом отбросил подозрение насчет племянника, потому что Вэл, хоть и кровно связанный со своим папашей Монтегью Дарти да еще впридачу лошадаик, все же был наполовину Форсайт.

– Ну, – сказал он, – так прислать к тебе этого человека? Зовут его Бекрофт; вид у него всегда такой, точно он слишком много бредет, но он не лишен здравого смысла. По-моему, ему надо связаться с клубом, в котором этот тип состоит членом.

– А вдруг он уже продал табакерку? – сказала Уинифрид.

– Вчера к концу дня? Сомневаюсь; но времени терять нельзя. Я сейчас же пройду к Бекрофту. Флер перестарается с этой своей столовой.

– Говорят, она отлично ее наладила. Такие молодцы осе эти молоденькие женщины.

– Да уж быстры, что и говорить, – пробурчал Сомс, – но тише едешь дальше будешь.

Услышав эту истину, которую в дни ее молодости готовы были без конца повторять старые Форсайты, Уинифрид заморгала своими очень уж светлыми ресницами.

– Это, знаешь ли. Сомс, всегда было скучновато. А теперь, если не действовать быстро, все так и ускользает.

Сомс взялся за шляпу.

– Вот табакерка твоя наверняка ускользнет, если мы будем зевать.

– Ну, спасибо, милый мальчик. Я все-таки надеюсь, что мы ее найдем. Милый папа так ею гордился, а когда он умер, она не стоила и половины против теперешней цены.

– И четверти не стекла, – сказал Сомс, и эта мысль продолжала сверлить его, когда он вышел на улицу. Что толку в благоразумии, когда первый встречный может явиться и прикарманить его плоды? Теперь над собственностью издеваются; но ведь собственность – доказательство благоразумия, в половине случаев – вопрос собственного достоинства. И он подумал о чувстве собственного достоинства, которое украл у него Боснии в те далекие горестные дни. Ведь даже в браке проявляешь благоразумие, противопоставляешь себя другим. У человека есть «нюх на победителя», как тогда говорили; правда, он иногда подводит. Ирэн не была «победителем», о нет! Ах, он забыл спросить Уинифрид об этом Джоне Форсайте, который неожиданно опять появился на горизонте. Но сейчас важнее табакерка. Он слышал, что «Брюмель-Клуб» – это своего рода притон; там, верно, полно игроков и комиссионеров. Вот зло сегодняшнего дня – это да еще пособие по безработице. Работать? Нет, этого они не желают. Лучше продавать все, что придется, предпочтительно автомобили, и получать комиссионные. «Брюмель-Клуб»! Да, вот он, Сомс помнил эти окна. Во всяком, случае, делу не повредит, если он узнает, действительно ли этот субъект здесь числится. Он вошел и справился:

– Мистер Стэйнфорд член этого клуба?

– Да. Не знаю, здесь ли он. Эй, Боб, мистер Стэйяфорд не приходил?

– Только что пришел.

– О, – сказал Сомс слегка испуганно.

– К нему джентльмен. Боб.

Сомс почувствовал легкую тошноту.

– Пройдите сюда, сэр.

Сомс глубоко вздохнул, и ноги его двинулись вперед. В грязноватой и тесной нише у самого входа он увидел человека, который развалился в старом кресле и курил папиросу, вставленную в мундштук. В одной руке он держал маленькую красную книжку, в другой – карандашик, и держал он их так спокойно, словно собирался записать мнение, которое у него еще не сложилось. На нем был темный костюм в узкую полоску; он сидел,

положив ногу на ногу, и Сомс заметил, что одна нога в старом, сношенном коричневом башмаке, начищенном наперекор всеразрушающему времени до умильного блеска, медленно описывает круги.

– К вам джентльмен, сэр.

Теперь Сомс увидел лицо. Брови подняты, как стрелки, глаза почти совсем закрыты веками. Как и вся фигура, лицо это производило впечатление просто поразительной томности. Худое до предела, длинное, бледное, оно, казалось, все состояло из теней и легких горбинок. Нога застыла в воздухе, вся фигура застыла. У Сомса явилось курьезное ощущение, точно сидящий перед ним человек дразнит его своей безжизненностью. Не успев подумать, он начал:

– Мистер Стэйнфорд, не так ли? Не беспокойтесь, пожалуйста. Моя фамилия Форсайт. Вы вчера После обеда находили в дом моей сестры на Грин-стрит.

Морщины вокруг маленького рта слегка дрогнули, затем послышались слова:

– Прошу садиться.

Теперь глаза открылись – когда-то, по-видимому, они были прекрасны. Они снова сузились, и Сомс невольно подумал, что их обладатель пережил все, кроме самого себя. Он поборол минутное сомнение и продолжал:

– Я хотел задать вам один вопрос. Во время вашего визита не заметили ли вы случайно на столе табакерку? Она... э-э... пропала, и мы хотели бы установить время ее исчезновения.

Человек в кресле улыбнулся, как мог бы улыбнуться бесплотный дух.

– Что-то не помню.

С мыслью: «Она у него» – Сомс продолжал:

– Очень жаль, вещь ценили как память. Ее, без сомнения, украли. Я хотел выяснить это дело. Если б вы ее заметили, мы могли бы точно установить время пропажи... на столике, как раз где вы сидели, синяя эмаль.

Худые плечи слегка поежились, словно им не нравилась попытка возложить на них ответственность.

– К сожалению, не могу вам помочь. Я ничего не заметил, кроме очень хорошего инкрустированного столика.

«В жизни не видел такого хладнокровия, – подумал Сомс. – Интересно, сейчас она у него в кармане?»

– Вещь эта – уникам, – произнес он медленно. – Для полиции трудностей не представится. Ну что ж, большое спасибо. Простите за беспокойство. Вы, кажется, учились с моим племянником? Всего хорошего.

– Всего хорошего.

С порога Сомс незаметно оглянулся. Фигура была совершенно неподвижна, ноги все так же скрещены, бледный лоб под гладкими сидящими волосами склонился над красной книжечкой. По виду ничего не скажешь! Но вещь у него, сомнений быть не может.

Он вышел на улицу и направился к Грин-парку, испытывая очень странное чувство. Тащить, что плохо лежит! Чтобы аристократ дошел до такого! История с Элдерсоном была не из приятных, но не так печальна, как эта. Побелевшие швы прекрасного костюма, поперечные трещины на когда-то превосходных штиблетах, выцветший, идеально завязанный галстук – все это свидетельствовало о том, что внешний вид поддерживается со дня на день, впроголодь. Это угнетало Сомса. До чего же томная фигура! А что в самом деле предпринять человеку, когда у него нет денег, а работать он не может, даже если это вопрос жизни? Устыдиться своего поступка он не способен, это ясно. Нужно еще раз поговорить с Уинифридом. И, повернувшись на месте. Сомс пошел обратно в направлении Грин-стрит. При выходе из парка, на другой стороне Пикадилли, он увидел ту же томную фигуру. Она тоже направлялась в сторону Грин-стрит. Ого! Сомс пересек улицу и пошел следом. Ну и вид у этого, человека! Шествует так, словно явился в этот мир из другой

эпохи, из эпохи, когда выше всего ценился внешний вид. Он чувствовал, что «этот тип» скорее расстанется с жизнью, чем выкажет интерес к чему бы то ни было. Внешний вид! Возможно ли довести презрение к чувству до такого совершенства, чтобы забыть, что такое чувство? Возможно ли, что приподнятая бровь приобретает больше значения, чем все движения ума и сердца? Шагают поношенные павлиньи перья, а павлина-то внутри и нет. Показать свои чувства – вот, может быть, единственное, чего этот человек устыдился бы. И сам немного дивясь своему таланту диагноста, Сомс не отставал от него, пока не очутился на Грин-стрит. О черт! Тот и правда шел к дому Уинифрида! «Преподнесу же я ему сюрприз», – подумал Сомс. И, прибавив шагу, он сказал, слегка задышавшись, на самом пороге дома:

– А, мистер Стэйнфорд! Пришли вернуть табакерку?

Со вздохом, чуть-чуть опершись тростью на тротуар, фигура обернулась. Сомсу вдруг стало стыдно, точно он в темноте испугал ребенка. Неподвижное лицо с поднятыми бровями и опущенными веками было бледно до зелени, как у человека с больным сердцем; на губах пробивалась слабая улыбка. Добрых полминуты длилось молчание, потом бледные губы заговорили:

– А это смотря по тому, сколько?

Теперь Сомс окончательно задохнулся. Какая наглость!

А губы опять зашевелились:

– Можете получить за десять фунтов.

– Могу получить даром, – сказал Сомс, – стоит только позвать полисмена.

Опять улыбка.

– Этого вы не сделаете.

– Почему бы нет?

– Не принято.

– Не принято, – повторил Сомс. – Это еще почему?

В жизни не встречал ничего более бессовестного.

– Десять фунтов, – сказали губы. – Они мне очень нужны.

Сомс стоял, раскрыв глаза. Бесподобно! Человек смущен не больше, чем если бы он просил прикурить; ни один мускул не дрогнул в лице, которое, кажется, вот-вот перестанет жить. Большое искусство! Он понимал, что произносить тирады о нравственности нет никакого смысла. Оставалось либо дать десять фунтов, либо позвать полисмена. Он посмотрел в оба конца улицы.

– Нет. Ни одного не видно. Табакерка при мне. Десять фунтов.

Сомс попытался что-то сказать. Этот человек точно гипнотизировал его. И вдруг ему стало весело. Ведь нарочно не придумаешь такого положения!

– Ну, знаете ли, – сказал он, доставая две пятифунтовые бумажки, такой наглости...

Тонкая рука достала пакетик, чуть оттопыривавший боковой карман.

– Премного благодарен. Получите. Всего лучшего!

Он пошел прочь. В движениях его была все та же неподражаемая томность; он не оглядывался. Сомс стоял, зажав в руке табакерку, смотрел ему вслед.

– Да, – сказал он вслух, – теперь таких не делают. – И нажал кнопку звонка.

VII. МАЙКЛ ТЕРЗАЕТСЯ

За те восемь дней, что длилась генеральная стачка, в несколько горячем существовании Майкла отдыхом были только часы, проведенные в палате общин, столь поглощенной измышлениями, что бы такое предпринять, что она не предпринимала ничего. У него сложилось свое мнение, как уладить конфликт; но поскольку оно сложилось только у него, результат этого никак не ощущался. Все же Майкл отмечал с глубоким удовлетворением, что день ото дня акции британского характера котируются все выше как в Англии, так и за границей, и с некоторой тревогой – что акции британских

умственных способностей упали почти до нуля. Постоянная фраза мистера Блайта: «И о чем только эти... думают?» – неизменно встречала отклик у него в душе. О чем они в самом деле думают? Со своим тестем он имел на эту тему только один разговор.

Сомс взял яйцо и сказал:

– Ну, государственный бюджет провалился.

Майкл взял варенья и ответил:

– А когда вы были молоды, сэр, тогда тоже происходили такие вещи?

– Нет, – сказал Сомс, – тогда профсоюзного движения, собственно говоря, и не было.

– Многие говорят, что теперь ему конец. Что вы скажете о стачке как о средстве борьбы, сэр?

– Для самоубийства – идеально. Поразительно, как они раньше не додумались.

– Я, пожалуй, согласен, но что же тогда делать?

– Ну как же, – сказал Сомс, – ведь у них есть право голоса.

– Да, так всегда говорят. Но роль парламента, помоему, все уменьшается: в стране сейчас есть какое-то направляющее чувство, которое и решает все вопросы раньше, чем мы успеваем добраться до них в парламенте. Возьмите хоть эту забастовку: мы здесь бессильны.

– Без правительства нельзя, – сказал Сомс.

– Без управления – безусловно. Но в парламенте мы только и делаем, что обсуждаем меры управления задним числом и без видимых результатов. Дело в том, что в наше время все слишком быстро меняется – не уследишь.

– Ну, вам виднее, – сказал Сомс. – Парламент всегда был говорильней.

И в полном неведении, что процитировал Карлейля – слишком экспансивный писатель, который в его представлении почему-то всегда ассоциировался с революцией, – он взглянул на картину Гойи и добавил:

– Мне все-таки не хотелось бы увидеть Англию без парламента. Слышали вы что-нибудь об этой рыжей молодой женщине?

– Марджори Феррар? Очень странно, как раз вчера я встретил ее на Уайтхолл. Сказала мне, что водит правительственную машину.

– Она с вами говорила?

– О да. Мы друзья.

– Гм, – сказал Сомс, – не понимаю нынешнего поколения. Она замужем?

– Нет.

– Этот Мак-Гаун дешево отделался, хоть и зря – не заслужил. Флер не скушает без своих приемов?

Майкл не ответил. Он не знал. Они с Флер были в таких прекрасных отношениях, что мало были осведомлены о мыслях друг друга. И чувствуя, как его сверлят серые глаза тестя, он поспешил сказать:

– Флер молодцом, сэр.

Сомс кивнул.

– Не давайте ей переутомляться с этой столовой.

– Она работает с большим удовольствием – есть случай приложить свои способности.

– Да, – сказал Сомс, – голова у нее хорошая, когда она ее не теряет. – Он словно опять посоветовался с картиной Гойи, потом добавил:

– Между прочим, этот молодой Джон Форсайт опять здесь, мне говорили живет пока на Грин-стрит, работает кочегаром или что-то в этом роде. Детское увлечение... но я думал, вам не мешает знать.

– О, – сказал Майкл, – спасибо. Я не знал.

– Она, вероятно, тоже не знает, – осторожно сказал Сомс, – я просил не говорить ей. Вы помните, в Америке, в Маунт-Вернон, когда мне стало плохо?

– Да, сэр. Отлично помню.

– Ну, так я не был болен. Просто я увидел, что этот молодой человек и его жена беседуют с вами на лестнице. Решил, что Флер лучше с ними не встречаться. Все это очень глупо, но никогда нельзя знать...

– Да, – сказал Майкл сухо, – никогда нельзя знать.

Я помню, он мне очень понравился.

– Гм, – пробормотал Сомс, – сын своего отца, я полагаю.

И по выражению его лица Майкл решил, что преимущество это сомнительное.

Больше ничего не было сказано, так как Сомс всю жизнь считал, что говорить нужно только самое необходимое, а Майкл предпочитал не разбирать поведения Флер всерьез даже с ее отцом. Последнее время она казалась ему вполне довольной. После пяти с половиной лет брака он был уверен, что как человек он нравится Флер, что как мужчина он ей не неприятен и что неразумен тот, кто надеется на большее. Правда, она упорно отказывалась от второго издания Кита, но только потому, что не хотела еще раз выйти из строя на несколько месяцев. Чем больше у нее дела, тем она довольнее – столовая, например, дала ей повод развернуться вовсю. Знай он, правда, что там кормится Джон Форсайт, Майкл встревожился бы; а так известие о приезде молодого человека в Англию не произвело на него большого впечатления. В те напряженные дни его внимание целиком поглощала Англия. Его бесконечно радовали все проявления патриотизма – студенты, работающие в порту, девушки за рулем автомобилей, продавцы и продавщицы, бодро шагающие пешком к месту работы, великое множество добровольческой полиции, общее стремление «продержаться». Даже бастующие были добродушны. Его заветные взгляды относительно Англии изо дня в день подтверждались в пику всем пессимистам. И он чувствовал, что нет сейчас столь неанглийского места, как палата общин, где людям ничего не оставалось, как строить грустные физиономии да обсуждать «создавшееся положение».

Известие о провале генеральной стачки застигло его, когда он только что отвез Флер в столовую и ехал домой. Шум и толкотня на улицах и слова «Стачка окончена», наскоро нацарапанные на всех углах, появились еще раньше, чем газетчики стали торопливо выкрикивать: «Конец стачки – официальные сообщения!» Майкл затормозил у тротуара и купил газету. Вот оно! С минуту он сидел не двигаясь, горло у него сдавило, как в тот день, когда узнали о перемирии. Исчез меч, занесенный над головой Англии! Иссая источник радости для ее врагов! Люди шли и шли мимо него, у каждого была в руках газета, глаза глядели необычно. К этой новости относились почти так же трезво, как отнеслись к самой стачке. «Добрая старая Англия! Мы великий народ, когда есть с чем бороться», – думал он, медленно направляя машину к Трафальгар-сквер. Прислонившись к казенной ограде, стояла группа мужчин, без сомнения участвовавших в стачке. Он попытался прочесть что-нибудь у них на лицах. Радость, сожаление, стыд, обида, облегчение? Хоть убей, не разобрать. Они балагурили, перебрасывались шутками.

«Не удивительно, что мы – загадка для иностранцев, – подумал Майкл. Самый непонятый народ в мире».

Держась края площади, он медленно проехал на Уайтхолл. Здесь можно было уловить легкие признаки волнения. Вокруг памятника неизвестному солдату и у поворота на Даунинг-стрит густо толпился народ; там и сям покрикивали «ура». Доброволец-полисмен переводил через улицу хромого; когда он повернул обратно, Майкл увидел его лицо. Ба, да это дядя Хилери! Младший брат его матери, Хилери Черрел, викарий прихода св. Августина в «Лугах».

– Алло, Майкл!

– Вы в полиции, дядя Хилери? А ваш сан?

– Голубчик, разве ты из тех, которые считают, что для служителей церкви не существует мирских радостей? Ты не становишься ли консервативен, Майкл?

Майкл широко улыбнулся. Его непритворная любовь к дяде Хилери складывалась из восхищения перед его худощавым и длинным лицом, морщинистым и насмешливым; из

детских воспоминаний о весельчаке-дядюшке; из догадки, что в Хилери Черреле пропадал полярный исследователь или еще какой-нибудь интереснейший искатель приключений.

– Кстати, Майкл, когда ты заглянешь к нам? У меня есть превосходный план, как прочистить «Луга».

– А, – сказал Майкл, – все упирается в перенаселение, даже стачка.

– Правильно, сын мой. Так вот, заходи поскорее. Вам, парламентским господам, нужно узнавать жизнь из первых рук. Вы там, в палате, страдаете от самоотравления. А теперь проезжайте, молодой человек, не задерживайте движение.

Майкл проехал, не переставая улыбаться. Милый дядя Хилери! Очеловечивание религии и жизнь, полная опасностей, – лазил на самые трудные горные вершины Европы – никакого самомнения и неподдельное чувство юмора. Лучший тип англичанина! Ему предлагали высокие посты, но он сумел от них отвертеться. Он был, что называется, непоседа и часто грешил отчаянной бестактностью; но все любили его, даже собственная жена. На минуту Майкл задумался о своей тете Мэй. Лет сорок, трое ребят и тысяча дел на каждый день; стриженная, и веселая как птица. Приятная женщина тетя Мэй!

Поставив машину в гараж, он вспомнил, что не завтракал. Было три часа. Он выпил стакан хереса, закусывая печеньем, и пошел в палату общин. Палата гудела в ожидании официального заявления. Он откинулся на спинку скамьи, вытянул вперед ноги и стал терзаться праздными мыслями. Какие тут вершились когда-то дела! Запрещение работоторговли и детского труда, закон о собственности замужней женщины, отмена хлебных законов? Но возможно ли такое и теперь? А если нет, то что это за жизнь? Он сказал как-то Флер, что нельзя два раза переменить призвание и остаться в живых. Но хочется ли ему остаться в живых? Если отпадает фоггартизм – а фоггартизм отпал не только потому, что никогда не начинался, – чем он по существу интересуется?

Уходя, оставить мир лучшим, чем ты застал его? Сидя здесь, он без труда усматривал в этом замысле некоторый недостаток четкости, даже если ограничить его Англией. Это была мечта палаты общин; но" захлебываясь в смене партий, она что-то медленно приближалась к ее осуществлению. Лучше наметить себе какой-то участок административной работы, крепко держаться его и чего-то добиться. Флер хочет, чтобы он занялся Кенией и индийцами. Опять что-то отвлеченное и не связанное непосредственно с Англией. Какой определенный вид работы всего нужнее Англии? Просвещение? Опять неясность! Как знать, в какое русло лучше всего направить просвещение? Вот, например, когда было введено всеобщее обучение за счет государства – казалось, что вопрос решен. Теперь говорят, что оно оказалось губительным для самого государства. Эмиграция? Заманчиво, но не созидательно. Возрождение сельского хозяйства? Но сочетание того и другого сводилось к фоггартизму, а он успел усвоить, что только крайняя нужда убедит людей в закономерности его; можно говорить до хрипоты и все-таки не убедить никого, кроме самого себя.

Так что же?

"У меня есть превосходный план, как прочистить «Луга», – «Луга» были одним из самых скверных трущобных приходов Лондона. «Заняться трущобами, – подумал Майкл, – это хоть конкретно». Трущобы кричат о себе даже запахами. От них идет вонь, и дикость, и разложение. А между тем, живущие там привязаны к ним; или, во всяком случае, предпочитают их другим, еще неизвестным трущобам. А трущобные жители такой славный народ! Жаль ими швыряться. Надо поговорить с дядей Хилери. В Англии еще столько энергии, такая уйма рыжих ребятишек! Но, подрастая, энергия покрывается копотью, как растения на заднем дворе. Перестройка трущоб, устранение дыма, мир в промышленности, эмиграция, сельское хозяйство и безопасность в воздухе. «Вот моя вера, – подумал Майкл. – И черт меня побери, если такая программа хоть для кого не достаточно обширна!»

Он повернулся к министерской скамье и вспомнил слова Хилери об этой палате. Неужели все они действительно в состоянии самоотравления – медленного и

непрерывного проникновения яда в ткани? Все эти окружающие его господа воображают, что заняты делом. И он оглядел «господ». С большинством из них он был знаком и к многим относился с большим уважением, но все скопом – что и говорить, они выглядели несколько растерянно. У его соседа справа передние зубы обнажились в улыбке утопленника. «Право же, – подумал Майкл, – прямо геройство, как это мы все день за днем сидим здесь и не засыпаем!»

VIII. ТАЙНА

У Флер не было оснований ликовать по поводу провала генеральной стачки. Не в ее характере было рассматривать такой вопрос с общенациональной точки зрения. Столовая вернула ей то общественное доверие, которое так жестоко поколебала история с Марджори Феррар; и быть по горло занятой вполне ей подходило. Нора Кэрфью, она сама, Майкл и его тетка – леди Элксон Черрел – завербовали первоклассный штат помощников всех возрастов, и по большей части из высшего общества. Они работали, выражаясь общепринятым языком, как негры. Их ничто не смущало, даже тараканы. Они вставали и ложились спать в любое время. Никогда не сердились и были неизменно веселы. Одним словом, трудились вдохновенно. Компания железной дороги не могла надивиться, как они преобразили внешний вид столовой и кухни. Сама Флер не покидала капитанского мостика. Она взяла на себя смазку учрежденческих колес, бесчисленные телефонные схватки с бюрократизмом и открытые бои с представителями правления. Она даже забралась в карман к отцу, чтобы пополнять возникающие нехватки. Добровольцев кормили до отвала, и – по вдохновенному совету Майкла – она подрывала стойкость пикетчиков, потихоньку угощая их кофе с ромом в самые разнообразные часы их утомительных бдений. Ее снабженческий автомобиль, вверенный Холли, пробирался взад и вперед через блокаду, словно у него и в мыслях не было магазина Хэрриджа, где закупались продукты.

– Надо все сделать, чтобы бастующие вздремнули на оба глаза, – говорил Майкл.

Сомневаться в успехе столовой не приходилось. Флер больше не видела Джона, но жила в том своеобразном смещении страха и надежды, которое знаменует собою истинный интерес к жизни. В пятницу Холли сообщила ей, что приехала жена Джона: нельзя ли привести ее завтра утром?

– Конечно! – сказала Флер. – Какая она?

– Очень мила, глаза, как у русалки; по крайней мере Джон так полагает. Но если русалка, то из самых симпатичных.

– М-м, – сказала Флер.

На следующий день она сверяла по телефону какой-то список, когда Холли привела Энн. Почти одного роста с Флер, прямая и тоненькая, волосы потемнее, цвет лица посмуглее и темные глаза (Флер стало ясно, что понимала Холли под словом «русалочьи»), носик чуть-чуть слишком смелый, острый подбородок и очень белые зубы – вот она, та, что заменила ее. Знает ли она, что они с Джоном...

И, протягивая ей свободную руку. Флер сказала:

– По-моему, вы как американка поступили очень благородно. Как поживает ваш брат Фрэнсис?

Рука, которую она пожала, была сухая, теплая, смуглая; в голосе, когда та заговорила, лишь чуточку слышалась Америка, словно Джон потрудились над ним.

– Вы были так добры к Фрэнсису. Он постоянно вас вспоминает. Если бы не вы...

– Это пустяки. Простите... Да-да?.. Нет! Если принцесса приедет, передайте ей, не будет ли она так добра заехать, когда они обедают. Да, да, спасибо!.. Завтра? Конечно... Как доехали? Качало?

– Ужас! Хорошо, что Джона со мной не было. Отвратительно, когда мутит, правда?

– Меня никогда не мутит, – сказала Флер.

У этой девчонки есть Джон, и он заботится о ней, когда ее мутит! Красивая? Да. Загорелое лицо очень подвижно, похожа, пожалуй, на брата, но глаза такие манящие, куда более выразительные. Что-то есть в этих глазах, почему они такие странные и интересные? Ну да, самую малость косят! И держаться она умеет, какой-то особенный поворот шеи, прекрасная посадка головы. Одета, конечно, очаровательно. Взгляд Флер скользнул вниз, к икрам и щиколоткам. Не толстые, не кривые! Вот несчастье!

– Я так вам благодарна, что вы разрешили мне помочь.

– Ну что вы! Холли вас просветит. Вы возьмете ее в магазины, Холли?

Когда она ушла, опекаемая Холли, Флер прикусила губу. По бесхитростному взгляду жены Джона она догадалась, что Джон ей не сказал. До чего молода! Флер вдруг показалось, словно у нее самой и не было молодости. Ах, если бы у нее не отняли Джона! Прикушенная губа задрожала, и она поспешно склонилась над телефоном.

При всех новых встречах с Энн – три или четыре раза до того, как столовая закрылась, – Флер заставляла себя быть приветливой. Она инстинктом чувствовала, что сейчас не время отгораживаться от кого бы то ни было. Чем явилось для нее возвращение Джона, она еще не знала; но на этот раз, что бы она ни надумала, никто не посмеет вмешаться. Своим лицом и движениями она владеет теперь получше, чем когда они с Джоном были, невинными младенцами. Ее охватила злая радость, когда Холли сказала: «Энн от вас в восторге, Флер!» Нет, Джон ничего не рассказал жене. Это на него и – похоже, ведь тайна была не только его! Но долго ли эта девочка останется в неведении? В день закрытия столовой она сказала Холли:

– Жене Джона, вероятно, никто не говорил, что мы с ним были когда-то влюблены друг в друга?

Холли покачала головой.

– Тогда лучше и не нужно.

– Конечно, милая. Я позабочусь об этом. Славная, помоему, девочка.

– Славная, – сказала Флер, – но неинтересная.

– Не забывайте, что она здесь в непривычной, чужой обстановке. В общем, американцы рано или поздно оказываются интересными.

– В собственных глазах, – сказала Флер и увидела, что Холли улыбнулась. Поняв, что немного выдала себя, она тоже улыбнулась.

– Что же, лишь бы они ладили. Так и есть, наверное?

– Голубчик, я почти не видела Джона, но, судя по всему, они в прекрасных отношениях. Теперь они собираются к нам в Уонсдон погостить.

– Чудно! Ну, вот и конец нашей столовой. Попудрим носики и поедем домой; папа ждет меня в автомобиле. Может быть, подвезти вас?

– Нет, спасибо; пойду пешком.

– Как? По-прежнему избегаете? Забавно, как живучи такие антипатии!

– Да, у Форсайтов, – проговорила Холли. – Мы, знаете, скрываем свои чувства. Чувства гибнут, когда швыряешься ими на ветер.

– А, – сказала Флер. – Ну, да хранит вас бог, как говорится, и привет Джону. Я пригласила бы их к завтраку, но ведь вы уезжаете в Уонсдон?

– Послезавтра.

В круглом зеркальце Флер увидела, что маска на ее лицо стала совсем непроницаемой, и повернулась к двери.

– Возможно, что я забегу к тете Уинифрид, если улучу минутку. До свидания.

Спускаясь по лестнице, она думала: «Так это ветер убивает чувства!»

В машине Сомс разглядывал спину Ригза. Шофер был худ как жердь.

– Ну, кончила? – спросил он ее.

– Да, дорогой.

– Давно пора. На кого стала похожа!

– Разве ты находишь, что я похудела, папа?

– Нет, – сказал Сомс, – нет. Ты пошла в мать. Но нельзя так переутомляться. Хочешь подышать воздухом? В парк, Ригз!

По дороге в это тихое пристанище он задумчиво сказал:

– Я помню время, когда твоя бабушка каталась здесь каждый день, с точностью часового механизма. Тогда знали, что такое привычка. Хочешь остановиться посмотреть на этот памятник, о котором столько кричат?

– Я его видела, папа.

– Я тоже, – сказал Сомс. – Бьет на дешевый эффект. Вот статуя Сент-Годенса в Вашингтоне – это другое дело!

И он искоса посмотрел на дочь. Хорошо еще, что она не знает, как он уберег ее там от этого Джона Форсайта! Теперь-то она уж наверно узнала, что он в Лондоне, у ее тетки. А стачка кончилась, на железных дорогах восстанавливается нормальное движение, и он окажется без дела. Но, может быть, он уедет в Париж? Его мать, по-видимому, все еще там. У Сомса чуть не вырвался вопрос, но удержал инстинкт – всеильный, только когда дело касалось Флер. Если она и видела молодого человека, то не скажет ему об этом. Вид у нее немного таинственный, или это ему только чудится?

Нет! Он не мог разгадать ее мысли. Это, может, и лучше. Кто решится открыть свои мысли людям? Тайники, изгибы, излишества мыслей. Только в просеянном, профильтрованном виде можно выставить мысль напоказ. И Сомс опять искоса поглядел на дочь.

А она и правда была погружена в мысли, которые его сильно встревожили бы. Как повидать Джона с глазу на глаз до его отъезда в Уонсдон? Можно, конечно, просто зайти на Грин-стрит – и, вероятно, не увидеть его. Можно пригласить его и себе позавтракать, но тогда не обойтись без его жены и своего мужа. Увидеть его одного можно только случайно. И Флер стала строить планы. Когда она совсем было сообразила, что случайность в том и состоит, что ее невозможно спланировать, клан вдруг возник. Она пойдет на Грин-стрит в девять часов утра – поговорить с Холли относительно счетов по столовой. После таких утомительных дней Холли и Энн, наверное, будут пить кофе в постели. Вал уехал в Уонсдон. Тетя Уинифрид всегда встает поздно! Есть шанс застать Джона одного. И она повернулась к Сомсу.

– Какой ты милый, папа, что повез меня проветриться; ужасно приятно.

– Хочешь, выйдем посмотреть на уток? У лебедей в Мейплдерхеме в этом году опять птенцы.

Лебеди! Как ясно она помнит шесть маленьких «миноносцев», плывших за старыми лебедями по зеленоватой воде, в лето ее любви шесть лет назад! Спускаясь по траве к Серпентайну, она ощутила сладостное волнение. Но никто, никто не узнает о том, что в ней творится. Что бы ни случилось а скорее всего вообще ничего не случится" – теперь-то она спасет свое лицо. Нет в мире сильней побуждения, как говорит Майкл.

– Твой дедушка водил меня сюда, когда я был мальчишкой, – прозвучал около нее голос отца. Он не добавил; «А я водил сюда ту мою жену в первое время после свадьбы». Ирэн! Она любила деревья и воду. Она любила все красивое. И она не любила его.

– Итонские курточки! Шестьдесят лет прошло, больше. Кто бы тогда подумал?

– Кто бы что подумал, папа? Что итонские кусочки все еще будут искать?

– Этот, как его... Теннисон, кажется: «Старый порядок меняется, новому место дает». Не могу себе представить тебя в стоячих воротничках и юбках до полу, не говоря о турнюрах. В то время не жалели материи на платья, но знали мы о женщинах ровно столько же, сколько и теперь, – то есть почти ничего.

– Ну, не знаю. По-твоему, человеческие страсти те что были, папа?

Сомс задумчиво потер подбородок. Почему она это спросила? Когда-то он сказал ей, что настоящая страсть бывала только в прошлом, а она ответила, что сама ее переживает. И в памяти у него мгновенно возникла картина, как в теплице Мейплдерхема, во влажной жары, отдающей землей и геранью, он толкнул ногой трубу водяного отопления. Может,

Флер и была права тогда: от человеческой природы не уйдешь.

– Страсти! – сказал он. – Что ж, и сейчас иногда читаешь, что люди травятся газом. В прежнее время они обычно топились. Пойдем выпьем чаю, вон там есть какойто павильон.

Когда они уселись и голуби весело принялись клевать его пирожное, он окинул дочь долгим взглядом. Она сидела, положив ногу на ногу – красивые ноги! И фигурой – от талии и выше – как-то отличалась от всех других молодых женщин, которых ему приходилось видеть. Она сидела не согнувшись, а чуть выгнув спину, отчего появлялась решительность в посадке головы. Она опять коротко остриглась – эта мода оказалась, против ожидания, живучей; но, надо признать, шея у нес на редкость белая и круглая. Лицо широкое, с твердым округлым подбородком; очень мало пудры, и губы не подкрашены, белые веки с темными ресницами, ясные светло-карие глаза, небольшой прямой нос, и широкий низкий лоб, и каштановые завитки над ушами; и рот, напрашивающийся на поцелуй, – право же, ему есть чем гордиться!

– Я полагаю, – сказал он, – ты рада, что опять можешь уделять больше времени Киту? Он плутишка! Подумай, что он попросил у меня вчера, – молоток!

– Да, он постоянно все крушит. Я стараюсь шлепать его как можно реже, но иногда без этого не обойтись – кроме меня, никому не разрешается. Мама приучила его к этому, пока нас не было, так что теперь он считает, что это в порядке вещей.

– Дети – чудные создания, – сказал Сомс. – В моем детстве с нами так не носились.

– Прости меня, папа, но, по-моему, больше всех с ним носишься ты.

– Что? – сказал Сомс. – Я?

– Ты исполняешь все его прихоти. Ты дал ему молоток?

– У меня его не было – к чему мне носить с собой молотки?

Флер рассмеялась.

– Нет, но ты относишься к нему совершенно серьезно. Майкл относится к нему иронически.

– Малыш не лишен чувства юмора.

– К счастью. А меня ты не баловал, папа?

Сомс уставился на голубя.

– Трудно сказать, – ответил он. – Ты чувствуешь себя избалованной?

– Когда я чего-нибудь хочу – кончено.

Это он знал; но если она не хочет невозможного...

– И если я этого не получаю, со мной не шути.

– Это кто говорит?

– Никто это не говорит, я сама знаю...

Хм! Чего же она сейчас хочет? Спросить? И, делая вид, что смахивает с пиджака крошки, он взглянул на нее исподлобья. Лицо ее, глаза, которые на мгновение остались незащищенными, заволокла какая-то глубокая... как бы это сказать? Тайна! Вот оно что!

IX. СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Зажав в руке счета по столовой. Флер на мгновение задержалась у подъезда, между двумя лавровыми деревьями в кадках. Большой Бэн показывает без четверти девять. Пешком через Грин-парк она пройдет минут двадцать. Кофе она выпила в постели, чтобы избежать вопросов, – а папа, конечно, тут как тут – приклеился носом к окну столовой. Флер помахала счетами, и он отшатнулся от окна, как будто она его стегнула. Папа бесконечно добр, но напрасно он все время стирает с нее пыль – она не фарфоровая безделушка!

Она шла быстрым шагом. Никаких ощущений, связанных с жимолостью, у нее сегодня не было, ум работал четко и живо. Если Джон вернулся в Англию окончательно, нужно добиться его. Чем скорее, тем лучше, без канители! На куртинах перед

Букингемским дворцом только что расцвела герань, ярко-пунцовая; Флер стало жарко. Не нужно спешить, а то придешь вся потная. Деревья одевались по-летнему; в Грин-парке тянуло ветерком, и на солнце пахло травой и листьями. Много лет так хорошо не пахло весной. Флер неудержимо потянуло за город. Трава, и вода, и деревья – среди них протекли ее встречи с Джоном, один час в этом самом парке, перед тем как он повез ее в Робин-Хилл! Робин-Хилл продали какому-то пэру. Ну и пусть наслаждается; она-то знает историю этого злосчастного дома – он точно корабль, над которым тяготеет проклятие! Дом сгубил ее отца, и отца Джона, и еще, кажется, его деда, не говоря уже о ней самой. Второй раз ее так легко не сломаешь! И, выйдя на Пикадилли, Флер мысленно посмеялась над своей детской наивностью. В окнах клуба, обязанного своим названием – «Айсиум» – Джорджу Форсайту, не было видно ни одного из его соратников, обычно созерцавших изменчивые настроения улицы, потягивая из стакана или чашки и обволакивая свои мнения клубами дыма. Флер очень смутно помнила его, своего старого родственника Джорджа Форсайта, который часто сиживал здесь, мясистый и язвительный, за выпуклыми стеклами окна. Джордж, бывший владелец «Белой обезьяны», что висит теперь наверху, у Майкла в кабинете. И дядя Монтегью Дарти, которого она видела всего один раз и хорошо запомнила, потому что он ущипнул ее за мягкое место и сказал: «Ну-ка, из чего делают маленьких девочек?» Узнав вскоре после этого, что он сломал себе шею, она захлопала в ладоши – препротивный был человек, толстолицый, темноусый, пахнувший духами и сигарами. На последнем повороте она запыхалась. На окнах дома тетки в ящиках цвела герань, фуксии еще не распустились. Не в ее ли бывшей комнате теперь поселили их? И, отняв руку от сердца, она позвонила.

– А, Смизер! Встал уже кто-нибудь?

– Пока только мистер Джон встал, мисс Флер.

И зачем так колотится сердце? Идиотство – когда не чувствуешь никакого волнения.

– Хватит и его, Смизер. Где он?

– Пьет кофе, мисс Флер.

– Хорошо, доложите. Я и сама не откажусь от второй чашки.

Она стала еле слышно склонять скрипящую фамилию, которая плыла впереди нее в столовую: «Смизер, Смизера, Смизеру, Смизером». Глупо!

– Миссис Майкл Монт, мистер Джон. Заварить вам свежего кофе, мисс Флер?

– Нет, спасибо, Смизер. – Скрипнул корсет, дверь закрылась.

Джон встал.

– Флер!

– Ну, Джон?

Ей удалось пожать ему руку и не покраснеть, хотя его щеки, теперь уже не измазанные, залил густой румянец.

– Хорошо я тебя кормила?

– Замечательно. Как поживаешь. Флер? Не слишком устала?

– Ничуть. Как тебе понравилось быть кочегаром?

– Хорошо! Машинист у меня был молодчина. Энн будет жалеть – она еще отлеживается.

– Она очень помогла нам. Почти шесть лет прошло, Джон; ты мало изменился.

– Ты тоже.

– О, я-то? До ужаса.

– Ну, мне это не видно. Ты завтракала?

– Да. Садись и продолжай есть. Я зашла к Холли, надо поговорить о счетах. Она тоже не вставала?

– Кажется.

– Сейчас пройду к ней. Как тебе живется в Англии, Джон?

– Чудесно. Больше не уеду. Энн согласна.

– Где думаешь поселиться?

– Где-нибудь поближе к Валу и Холли, если найдем участок; буду заниматься хозяйством.

– Все увлекаешься хозяйством?

– Больше чем когда-либо.

– Как поэзия?

– Что-то заглохла.

Флер напомнила:

– «Голос, в ночи звенящий, в сонном и старом испанском городе, потемневшем в свете бледнеющих звезд».

– Боже мой! Ты это помнишь?

– Да.

Взгляд у него был такой же прямой, как прежде, ресницы такие же темные.

– Хочешь познакомиться с Майклом, Джон, и посмотреть моего младенца?

– Очень.

– Когда вы уезжаете в Уонсдон?

– Завтра или послезавтра.

– Так, может быть, завтра вы оба придете к завтраку?

– С удовольствием.

– В половине второго. И Холли, и тетя Уинифрид. Твоя мама еще в Париже?

– Да. Она думает там и остаться.

– Видишь. Джон, все улаживается, правда?

– Правда.

– Налить тебе еще кофе? Тетя Уинифрид гордится своим кофе.

– Флер, у тебя прекрасный вид.

– Благодарю. Ты в Робин-Хилле побывал?

– Нет еще. Там теперь обосновался какой-то вельможа.

– Как твоей, как Энн, здесь интересно показалось?

– Впечатление колоссальное. Говорят, мы благородная нация. Ты когда-нибудь это находила?

– Абсолютно – нет; относительно – может быть.

– Тут так хорошо пахнет.

– Нюх поэта. Помнишь нашу прогулку в Уонсдоне?

– Я все помню, Флер.

– Вот это честно. Я тоже. Мне не так-то скоро удалось запомнить, что я забыла. Ты сколько времени помнил?

– Наверно, еще дольше.

– Ну, Майкл – лучший из всех мужчин.

– Энн – лучшая из женщин.

– Как удачно, правда? Сколько ей лет?

– Двадцать один.

– Как раз тебе подходит. Даже если б нас не разлучили, я всегда была слишком стара для тебя. Ой, какие мы были глупые, правда?

– Не нахожу. Это было так естественно, так красиво.

– Ты по-прежнему идеалист. Хочешь варенья? Оксфордское.

– Да. Только в Оксфорде и умеют варить варенье.

– Джон, у тебя волосы лежат совсем как раньше. Ты мои заметил?

– Все старался.

– Тебе не нравится?

– Раньше, пожалуй, было лучше; хотя...

– Ты хочешь сказать, что мне не к лицу отставать от моды. Очень тонко! Что она стриженная, ты, по-видимому, одобряешь.

– Энн стрижка к лицу.

– Ее брат много тебе рассказывал обо мне?
– Он говорил, что у тебя прелестный дом, что ты ухаживала за ним, как ангел.
– Не как ангел, а как светская молодая женщина. Это пока еще не одно и то же.
– Энн была так благодарна. Она тебе говорила?
– Да. Но по секрету скажу тебе, что мы, кажется, отправили Фрэнсиса домой циником. Цинизм у нас в моде. Ты заметил его во мне?

– По-моему, ты его напускаешь на себя.
– Ну, что ты? Я его отбрасываю, когда говорю с тобой. Ты всегда был невинным младенцем. Не улыбайся – был! Поэтому тебе и удалось от меня отделаться. Ну, не думала я, что мы еще увидимся.

– И я не думал. Жаль, что Энн еще не встала.
– Ты не говорил ей обо мне.
– Почему ты знаешь?
– По тому, как она смотрит на меня.
– К чему было говорить ей?
– Совершенно не к чему. Что прошло... А забавно все-таки с тобой встретиться. Ну, руку. Пойду к Колли.

Их руки встретились над его тарелкой с вареньем.

– Теперь мы не дети, Джон. Так до завтра. Мой дом тебе понравится. A rivederci!

Поднимаясь по лестнице, она упорно ни о чем не думала.

– Можно войти, Холли?

– Флер! Милая!

На фоне подушки смуглело тонкое лицо, такое милое и умное. Флер подумалось, что нет человека, от которого труднее скрыть свои мысли, чем от Холли.

– Вот счета, – сказала она. – В десять мне предстоит разговор с этим ослом-чиновником. Это вы заказали столько окороков?

Тонкая смуглая рука взяла счета, и на лбу между большими серыми глазами появилась морщинка.

– Девять? Нет... да. Правильно. Вы видели Джона?

– Да. Единственная ранняя птица. Приходите все к нам завтра к завтраку.

– А вы думаете, что это будет разумно. Флер?

– Я думаю, что это будет приятно.

Она встретила пытливый взгляд серых глаз твердо и с тайной злостью. Никто не посмеет прочесть у нее в мыслях, никто не посмеет вмешаться!

– Ну отлично, значит, ждем вас всех в час тридцать. А теперь мне надо бежать.

И она побежала, но так как ни с каким «ослом-чиновником» ей встретиться не предстояло, она вернулась в Гринпарк и села на скамейку.

Так вот какой Джон теперь! Ужасно похож на Джона – тогда! Глаза глубже, подбородок упрямей – вот, собственно, и вся разница. Он все еще сияет, он все еще верит во что-то. Он все еще восхищается ею. Д-да!

В листьях над ее головой зашумел ветерок. День выдался на редкость теплый – первый по-настоящему теплый день с самой пасхи! Что им дать на завтрак? Как поступить с папой? Он не должен здесь оставаться! Одно дело в совершенстве владеть собой; в совершенстве владеть собственным отцом куда труднее. На ее короткую юбку лег узор из листьев, солнце грело ей колени; она положила ногу на ногу и откинулась на спинку скамьи. Первый наряд Евы – узор из листьев... «Разумно?» – сказала Холли. Как знать?... Омары? Нет, что-нибудь английское. Блинчики непременно. Чтобы отделаться от папы, нужно напроситься к нему в Мейплдерхем, вместе с Китом, на послезавтра; тогда он уедет, чтобы все для них приготовить. Мама еще не вернулась из Франции. Эти уедут в Уондсон. Делать в городе нечего. Солнце пригревает затылок – хорошо! Пахнет травой... жимолостью! Ой-ой-ой!

Х. ПОСЛЕ ЗАВТРАКА

Что из всех человеческих отправлений самое многозначительное – это принятие пищи, подтвердит всякий, кто участвует в этих регулярных пытках. Невозможность выйти из-за стола превращает еду в самый страшный вид человеческой деятельности в обществе, члены которого настолько культурны, что способны проглатывать не только пищу, но и собственные чувства.

Такое представление, во всяком случае, сложилось у Флер во время этого завтрака. Испанский стиль ее комнаты напоминал ей, что не с Джоном она провела в Испании свой медовый месяц. Один курьез произошел еще до завтрака. Увидев Майкла, Джон воскликнул:

– Алло! Вот это интересно! Флер тоже была в тот день в Маунт-Вернон?

Это что такое? От нее что-то скрыли?

Тогда Майкл сказал:

– Помнишь, Флер? Молодой англичанин, которого я встретил в Маунт-Вернон?

– «Корабли, проходящие ночью», – сказала Флер.

Маунт-Вернон! Так это они там встретились! А она нет!

– Маунт-Вернон – прелестное место, Но вам нужно показать Ричмонд, Энн. Можно бы поехать после завтрака. Тетя Уинифрида, вы, наверно, целый век не были в Ричмонде. На обратном пути можно заглянуть в Робин-Хилл, Джон.

– Твой старый дом, Джон? О, поедemте!

В эту минуту она ненавидела оживленное лицо Энн, на которое смотрел Джон.

– А вельможа? – сказал он.

– О, – быстро вставила Флер, – он в Монте-Карло. Я только вчера прочла. А ты, Майкл, поедешь?

– Боюсь, что не смогу. У меня заседание комитета. Да и в автомобиле места только на пять человек.

– Ах, как было бы замечательно! Уж эта американская восторженность!

Утешением прозвучал невозмутимый голос Уинифриды, изрекший, что это будет приятная поездка, – в парке, вероятно, расцвели каштаны.

Правда, что у Майкла заседание? Флер часто знала, где он бывает, обычно знала более или менее, что он думает, но сейчас она была как-то не уверена. Накануне вечером, сообщая ему об этом приглашении к завтраку, она позаботилась сгладить впечатление более страстным, чем обычно, поцелуем – нечего ему забивать себе голову всякими глупостями относительно Джона. И еще, когда она сказала отцу: «Можно нам с Китом приехать к тебе послезавтра? Но ты, пожалуй, захочешь попасть туда днем раньше, раз мамы нет дома», как внимательно она вслушивалась в тон его ответа.

– Хм! Х-хорошо! Я поеду завтра утром.

Он что-нибудь почувал? Майкл что-нибудь почувал? Она повернулась к Джону.

– Ну, Джон, что ты скажешь про мой дом?

– Он очень похож на тебя.

– Это комплимент?

– Дому? Конечно.

– Значит, Фрэнсис не преувеличил?

– Нисколько.

– Ты еще не видел Ккта. Сейчас позовем его. Кокер, попросите, пожалуйста, няню привести Кита, если он не спит... Ему в июле будет три года; уже ходит на большие прогулки. До чего мы постарели!

Появление Кита и его серебристой собаки вызвало звук вроде воркования, спешно, впрочем, заглушенного, так как три из женщин были Форсайты, а Форсайты не воркуют. Он стоял в синем костюмчике, чем-то напоминая маленького голландца, и, слегка хмурясь из-под светлых волос, оглядывал всю компанию.

– Подойди сюда, сын мой. Вот это – Джон, твой троюродный дядя.

Кит шагнул вперед.

– А лошадку привести?

– Лошадку, Кит. Нет, не надо. Дай ручку.

Ручонка потянулась кверху. Рука Джона потянулась вниз.

– У тебя ногти грязные.

Она увидела, что Джон вспыхнул, услышала слова Энн: «Ну не прелесть ли!» – и сказала:

– Кит, не дерзи. У тебя были бы такие же, если бы ты поработал кочегаром.

– Да, дружок, я их мою, мою, никак не отмою дочиста.

– Почему?

– Въелось в кожу.

– Покажи.

– Кит, поздоровайся с бабушкой Уинифрид.

– Нет.

– Милый мальчик! – сказала Уинифрид. – Ужасно скучно здороваться. Правда, Кит?

– Ну, теперь уходи; станешь вежливым мальчиком – тогда возвращайся.

– Хорошо.

Когда он скрылся, сопровождаемый серебристой собакой, все рассмеялись; Флер сказала тихонько:

– Вот дрянцо – бедный Джон! – и сквозь ресницы поймала на себе благодарный взгляд Джона.

В этот погожий день середины мая с Ричмонд-Хилла во всей красе открывался широкий вид на море зелени, привлекавший сюда с незапамятных времен, или, вернее, с времен Георга IV, столько Форсайтов в ландо и фаэтонах, в наемных каретах и автомобилях. Далеко внизу поблескивали излучины реки; только листва дубов отливала весенним золотом, остальная зелень уже потемнела, хоть и не было еще в ней июльской тяжести и синевы. До странности мало построек было видно среди полей и деревьев; в двенадцати милях от Лондона – и такие скудные признаки присутствия человека. Дух старой Англии, казалось, отгонял нетерпеливых застройщиков от этого места, освященного восторженными восклицаниями четырех поколений.

Из пяти человек, стоящих на высокой террасе, Уинифрид лучше других сумела выразить словами этот охраняющий дух. Она сказала:

– Какой красивый вид!

Вид, вид! А все-таки вид теперь понимали иначе, чем раньше, когда старый Джолион лазил по Альпам с квадратным ранцем коричневой кожи, который до сих пор служил его внуку; или когда Суизин, правя парой серых и важно поворачивая шею к сидящей рядом с ним даме, указывал хлыстом на реку и цедил: «Недурной видик!» Или когда Джемс, подобрав под подбородок длинные колени в какой-нибудь гондоле, недоверчиво поглядывал на каналы в Венеции и бормотал: «Никогда мне не говорили, что вода такого цвета». Или когда Николае, прогуливаясь для моциона в Мэтлоке, заявлял, что нет в Англии более красивого ущелья. Да, вид стал не тем, чем был. Все началось с Джорджа Форсайта и Монтегью Дарти, которые, поворачиваясь к виду спиной, с веселым любопытством разглядывали привезенных на пикник молоденьких хористок; а теперь молодежь и вовсе обходится без этого слова и просто восклицает: «Черт!» – или что-нибудь в том же роде.

Но Энн, как истая американка, конечно, всплеснула руками и стала ахать:

– Ну какая прелесть, Джон! Как романтично!

Потом был парк, где Уинифрид, как заведенная, нараспев восторгалась каштанами и где каждая тропинка, и поляна с папоротником, и упавшее дерево наводили Джона или Холли на воспоминания о какой-нибудь поездке верхом.

– Посмотри, Энн, вот тут я мальчишкой соскочил на полном ходу с лошади, когда

потерял стремя и разозлился, что меня подкидывает.

Или:

– Посмотри, Джок! По этой просеке мы с Вэлом скакали наперегонки. О! А вот упавшее дерево, мы через него прыгали. Все на старом месте.

И Энн добросовестно восхищалась при виде оленей и травы, столь не похожих на их американские разновидности.

Сердцу Флер парк не говорил ничего.

– Джон, – сказала она вдруг, – как ты думаешь попасть в Робин-Хилл?

– Скажу дворецкому, что хочу показать моей жене, где я провел детство; и дам ему парочку веских оснований. В дом идти мне не хочется, мебель вся новая, все не то.

– Нельзя ли пройти снизу, через рощу? – и глаза ее добавили: «Как тогда».

– Рисуем встретить кого-нибудь, и нас выставят.

«Парочка веских оснований» дала им доступ в имение с верхнего шоссе; владельцы находились в отъезде.

Шедевр Босини купался в своих самых теплых тонах. Шторы были спущены, так как солнце ударяло с фасада, где качелей у старого дуба теперь не было. В розарии Ирэн, который сменил папоротники старого Джолиона, завязывались бутоны, но распустилась только одна роза.

– «О роза, испанская гостья!»

У Флер сжалось сердце. Что подумал Джон, что вспомнил, говоря эти слова, нахмутив лоб? Вот здесь она сидела, между его отцом и его матерью, и думала, что когданибудь они с Джоном будут здесь жить; вместе будут смотреть, как цветут розы, как осыпаются листья старого дуба, вместе говорить своим гостям: «Посмотрите! Вон Эпсомский ипподром. Видите, за теми вон тополями!»

А теперь ей нельзя даже идти с ним рядом, он, как гид, все показывает этой девчонке, своей жене! Вместо этого она шла рядом с теткой. Уинифрид была чрезвычайно заинтригована. Она еще никогда не видела этого дома, который Сомс выстроил трудами Босини, который Ирэн разорила «этой своей несчастной историей», дом, где умерли старый дядя Джолион и кузен Джолион и где, точно в насмешку, жила Ирэн и родила этого молодого человека Джона, очень, кстати сказать, симпатичного! Дом, занимающий такие большое место в форсайтских анналах. Он очень аристократичен и теперь принадлежит пэру Англии; и раз уж он ушел из владения семьи – это, пожалуй, не плохо. В фруктовом саду она сказала Флер:

– Твой дедушка однажды приезжал сюда посмотреть, как идет постройка. Я помню, он тогда сказал: «Недешево станет содержать такой дом». И он, наверно, был прав. Но все-таки жаль, что его продали. Все Ирэн, конечно. Она никогда не ценила семью. Вот если бы... – но она удержалась и не сказала: «Вы с Джоном поженились».

– Ну к чему Джону такое имение, тетя, и так близко от Лондона? Он поэт.

– Да, – проговорила Уинифрид не очень быстро, потому что в ее молодости быстрота была не в моде, – стекла, пожалуй, слишком много.

И они пошли вниз по лугу.

Роща! Вот и она, на том конце поля, И Флер задержалась, постояла около упавшего дерева, подождала, пока смогла сказать:

– Слышишь, Джон? Кукушка!

Крик кукушки и синие колокольчики под лиственницами! Рядом с ней неподвижно замер Джон. Да, и весна замерла. Опять кукушка, еще, еще!

– Вот тут мы набрали на твою маму, Джон, и кончилось наше счастье. О Джон!

Неужели такой короткий звук мог так много значить, столько сказать, так поразить? Его лицо! Она сейчас же вскочила на упавшее дерево.

– Не верь в привидения, милый!

И Джон вздрогнул и посмотрел на нее.

Она положила руки ему на плечи и соскочила на землю. Они пошли дальше по

колокольчикам. И вслед им закуковала кукушка.

– Повторяется эта птица, – сказала Флер.

XI. БЛУЖДЕНИЯ

Инстинкт в отношении к дочери, ставший уже привычной защитной окраской, под которой Сомс укрывался от козней судьбы, еще накануне, когда Флер ушла из дому, пока он пил кофе, подсказал ему, что она что-то замышляет. Когда она с улицы помахала ему в окно бумагами, вид у нее был неестественный или, во всяком случае, такой, точно она что-то от него скрыла. Как не вполне искренний оттенок голоса дает собаке почуять, что от нее сейчас уйдут, так Сомс почуял неладное в слишком показном жесте этой руки с бумагами. Поэтому он допил кофе быстрее, чем полагалось бы человеку, с детства привязанному к варенью, и отправился на Грин-стрит. Поскольку там остановился этот молодой человек Джон, именно в этом фешенебельном квартале следовало искать причин всякого беспокойства. А кроме того, если было еще в мире место, где Сомс мог отвести душу, то это была гостиная его сестры Уинифрид, комната, в которую он сам в 1879 году так прочно внедрил личность Людовика XV, что, несмотря на джаз и на стремление Уинифрид идти в ногу с более строгой модой, неисправимое легкомыслие этого монарха все еще давало себя чувствовать.

Сомс сделал порядочный крюк, заглянул по пути в «Клуб знатоков» и пришел на Грин-стрит, когда Флер уже ушла. Первое же замечание Смизер усилило тревогу, которая выгнала его из дому.

– Мистер Сомс! Ах, какая жалость! Мисс Флер только что ушла. И никто еще не вставал, только мистер Джон.

– О, – сказал Сомс, – она его видела?

– Да, сэр. Он в столовой; может, пройдете?

Сомс покачал головой.

– Сколько времени они еще здесь пробудут, Смизер?

– Я как раз слышала, как миссис Вэл говорила, что они все уезжают в Уонсдон послезавтра. Мы останемся опять совсем одни; может, надумаете погостить у нас, мистер Сомс?

Сомс опять покачал головой.

– Я очень занят, – сказал он.

– И красавица же стала мисс Флер; такая она была сегодня румяная!

Сомс издал какой-то нечленораздельный звук. Новость пришлась ему не по душе, но он не мог сказать это вслух, когда перед ним был не человек, а целое учреждение. Трудно было установить, что известно Смизер. В свое время она проскрипела себе дорогу почти ко всем домашним тайнам, начиная с той поры, когда его собственные семейные дела снабжали дом Тимоти более чем достаточным материалом для сплетен. Да, а теперь не его ли семейные дела, да еще в двух изданиях, продолжают поставлять сырье? В эту минуту для него было что-то зловещее в том, что сын узурпатора Джолиона находится здесь, в этом доме, наиболее близко напоминающем прежнее средоточие Форсайтов, дом Тимоти на Бэйсуотер-Род. Какая превратность во всем! И вторично издав тот же нечленораздельный звук, он сказал:

– Кстати, этот мистер Стэйнфорд, вероятно, не заходил сюда больше?

– Как же, мистер Сомс, вчера заходил к мистеру Бэлу, но мистер Вэл уже уехал.

– Ах вот как? – Сомс сделал круглые глаза. – Что он на этот раз утащил?

– О, я была не так глупа, чтобы впустить его.

– Вы не дали ему загородный адрес мистера Вэла?

– О нет, сэр, он знал его.

– Ого!

– Доложить, что вы здесь, мистер Сомс? Миссис теперь уж, верно, почти оделась.

– Нет, не беспокойте ее.

– Вот обидно, сэр; она всегда так радуется вашему приходу.

Старуха Смизер фамильярничаёт! Добрая душа! Теперь таких слуг не осталось. И, притронувшись рукой к шляпе, Сомс проговорил:

– Ну, до свидания, Смизер, передайте ей привет! – и ушел.

«Так, – подумал он, – Флер с ним виделась!» Все начнется сначала. Он так и знал. И очень медленно, слегка надвинув шляпу на глаза, он направился к углу Хайдпарка. Это был для него сугубо критический момент: предстояло укрепиться в одном из двух одинаково опасных решений. С обычной склонностью забегать вперед во всех вопросах, угрожающих основным устоям жизни, – склонностью, унаследованной от его отца Джемса, – Сомс уже видел в мыслях исковерканное будущее дочери, с которым было неразрывно связано и его собственное.

«Такая она была сегодня румяная!» Когда она махала ему этими бумагами, она была бледна, слишком бледна! Дурацкий случай! И еще во время утреннего завтрака! Самое худшее время дня – самое интимное! Как прирожденный реалист, он уже опасался всего, что кроется в идее первого завтрака. Те, кто завтракают вместе, обычно и спят вместе. Начнет теперь выдумывать. И притом они уже не дети! Ну, все зависит от того, каковы их чувства, если они у них еще сохранились. А кто это знает? Кто, скажите на милость, может это знать? Он машинально зашагал вокруг памятника артиллерии – Этот большой белый монумент он еще ни разу не рассмотрел как следует, да и не испытывал к тому особого желания. Сейчас он показался ему очень жизненным и подходил к его настроению – не увиливал от правды; ничего напыщенного в этом орудии – короткая твякающая игрушка; и эти темные мужские фигуры в стальных шлемах, исхудалые и стойкие! Ни признака красоты в этом памятнике, никаких ангелов с крыльями, ни Георгиев-победоносцев, ни драконов, ни вздыбленных коней, ни лат, ни султанов. Вот он громоздится, как большая белая жаба, на жизни народа. Гром, обращенный в бетон. Никаких иллюзий! Невредно посматривать на него эдак раз в день, чтобы не забыть, чего не надо делать. "Вот бы ткнуть в него носом всех этих кронпринцев и храбрых вояк, – подумал он, – с их – как это? – «славными, веселыми войнами». И, перейдя на солнечную сторону улицы, он вошел в парк и направился к Найтсбриджу.

Но как же Флер? Что ему делать – взять быка за рога или молчать и ждать? Одно из двух. Теперь он шел быстро, в лице и походке появилась сосредоточенность, словно он прислушивался к собственным мыслям, чтобы принять окончательное решение. Он вышел из парка и, окинув невидящим взором две-три лавки, где в свое время сделал не одну покупку, выгодную когда для него, а когда, и для торговца, стал пробираться мимо Тэттерсола. Долговечное учреждение: здесь, кажется, и сейчас торгуют лошадьми. Сам он никогда лошадьми не увлекался, но нельзя было прожить несколько лет на Монпелье-сквер и не знать в лицо завсегдатаев Тэттерсола. Здание, вероятно, скоро снесут, как сносят все, что несовременно, и воздвигнут на его месте гараж или кино!

Что, если поговорить с Майклом? Нет! Более чем бесполезно. Впрочем, о Флере и этом мальчике он ни с кем не мог говорить – за этим тянулась слишком длинная повесть, и эта повесть была о нем самом. Монпелье-сквер! Он добрал до него – умышленно или нет, он сам не знал. Все было по-старому, только сильно приглажено с тех пор, как он был здесь последний раз, вскоре после войны. На постройках и отделке зданий немало заработали в последнее время, ни о чем другом нельзя этого сказать. Он пошел по правой стороне узкого сквера, где изведаль когда-то столько трагических тревог. Вот и дом, почти такой же, как был, чуть менее опрятный, чуть более разукрашенный. Зачем он женился на этой женщине? Почему так добивался этого? Что и говорить – она всячески старалась его отдалить. Но боже, как он хотел ее! Он до сих пор это помнит. И вначале... вначале он думал, и, может быть, она думала... но кто знает, он никогда не знал. А потом медленно – или скоро? – конец! Страшная история! Он стоял у решетки сквера и смотрел на дверь, в которую когда-то входил, словно из ее зеленой краски и медной дощечки с

номером надеялся почерпнуть вдохновение, узнать, как задушить в своей дочери любовь к сыну своей жены, – да, задушить, прежде чем любовь разрастется и сама ее задушит.

И как в те далекие дни и ночи, возвращаясь домой, он тщетно искал вдохновенного способа пробудить любовь, так теперь вдохновение не подсказывало ему, как убить любовь. И он сердито повернул к выходу из сквера.

Собственно говоря, беспокоиться решительно не о чем: Майкл, как-никак, хороший человек: и ее брак, насколько он понимает, далеко не из несчастных. Что до юного Джона, он, надо полагать, женился по любви других оснований для женитьбы не было; по имеющимся у него сведениям, эта девушка и ее брат – музейные редкости: двое американцев почти без средств. А между тем, оставалось недостижимое, и он не мог забыть, как Флер всегда его добивалась. Желание иметь то, чего у нее еще не было, всегда было самой характерной ее чертой. И как забыть тот час, шесть лет назад, забыть ее фигурку, скомканную и вдавившуюся в диван в темной комнате в тот вечер, когда он вернулся из Робин-Хилла и привез ей ответ. Мысленно проглядывая всю ее последующую жизнь, Сомс остро и тревожно ощутил, что она будто топталась все время на месте, что все ее разнообразные интересы, вплоть до Кита, были для нее не более чем суррогатом. Как вся ее эпоха, она передвигала ноги, но никуда не могла прийти, потому что не знала, куда ей хочется прийти. И все-таки за последнее время, после путешествия вокруг света, он как будто улавливал в ее поведении что-то более спокойное и устойчивое, словно она нашла какую-то линию и налаживает отношения хотя бы с собственной, раз заведенной жизнью. Взять, например, эту столовую – как хорошо она с ней справилась. И, обратив лицо к дому, Сомс вспомнил поляну недалеко от Мейплдерхема, где какой-то болван развел костер и сжег заросли дрока и где теперь, сквозь обугленные их остатки, нахально пробивалась свежая, зеленая трава. Как подумаешь – и во всем такая же картина! Война выжгла все и всех, но вот растения и люди понемногу пускают новые ростки, точно опять почувствовали, что, может быть, и стоит еще пожить. Ну конечно, даже к нему вернулось прежнее желание знатока приобретать хорошие вещи! Все зависит от того, что видишь впереди, и от того, можно ли есть и пить и не ждать, что завтра умрешь. Этот план Дауэса, и локарнская затея, и провал генеральной стачки – может быть, теперь и наступит опять долгая полоса мира, как при Виктории, и откроются какие-то возможности. Ему семьдесят один год, но всегда можно сослаться на Тимоти, который дожил до ста – неподвижная звезда на меняющемся небосводе. А Флер – ей только двадцать пять, она может пережить наш век, если она, то есть, вернее, век, вовремя усмирит свои незаконные страсти, свои беспорядочные стремления, все эти глупые, ни к чему не ведущие метания. Если все устроится, еще возможно, что это будет золотой век или хотя бы платиновый. Даже он, чего доброго, доживет до подоходного налога в полкроны. «Нет, – думал он, путая дочь с веком, – нельзя ей ставить на карту свою репутацию. Это недальновидно». И, разогревшись от ходьбы, он решил, что не будет говорить с ней и подождет – положится на здравый смысл, в котором у нее, слава богу, нет недостатка. «Держать ухо остро и ни с кем не говорить, – подумал он, словами только напортишь».

Он опять дошел до памятника артиллерии и еще раз обошел вокруг него. Нет! Неудачная вещь, думалось ему теперь, – слишком натуральная и тяжеловесная. Может эта белая махина способствовать повышению акций? В конце концов лучше было дать что-нибудь с крыльями. Что-нибудь такое, от чего людям хотелось бы покупать акции или поступать в услужение; что помогло бы принять жизнь, а не напоминало бы все время, что один раз их уже взорвали на воздух и, наверно, опять взорвут. Он где-то читал, что эти молодчики из артиллерии любят свои орудия и хотят, чтобы им о них напоминали. Но кто, кроме них, любит их орудия и жаждет напоминания? Не молодчики из артиллерии будут каждый день смотреть на эту штуку перед больницей Сент-Джордж, а самые обыкновенные Том, Дик, Гарри, Питер, Глэдис, Джон и Марджори. «Ошибка, – думал Сомс, – и грубейшая. Что-нибудь успокаивающее, статуя Вулкана или воин на коне – вот что здесь требуется». И, вспомнив Георга III на коне, он мрачно усмехнулся. Думай не

думай – памятник стоит и будет стоять. Но скульпторам давно пора вернуться к нимфам и дельфинам и прочим атрибутам налаженной жизни.

Когда за завтраком Флер высказала предположение, что ему потребуется день в Мейплдерхеме до того, как приедет она с Китом, он опять почувствовал, что за этим что-то кроется; но, радуясь ее приезду, промолчал и не упомянул про свой визит на Грин-стрит.

– Погода как будто установилась, – сказал он. – Тебе нужно на солнце после этой столовой. Все толкуют об ультрафиолетовых лучах. Прежде удовлетворялись просто солнцем. Скоро доктора откапают что-нибудь экстраарозовое. Уж сидели бы спокойно!

– Милый, это их развлекает.

– Заново открывают то, что прекрасно знали наши бабушки, и называют по-новому! Вот, например, теперь нельзя ничего назвать питательным, потому что выдумали слово «витамин». Да твой дед всю жизнь ел по апельсину в день, потому что в начале прошлого века ему предписал это его старый доктор. Витамины! Ты смотри, как бы Кит не стал привередлив в еде. Хорошо еще, что ему не скоро в школу. Уж это школьное питание!

– Тебя так плохо кормили, папа?

– Плохо! Я вообще не знаю, как мы выросли. Основная еда у нас занимала двадцать минут, а через десять минут мы уже играли в футбол. Но в те времена никто не думал о пищеварении.

– Может быть, поэтому и стоит подумать о нем теперь?

– В хорошем пищеварении весь секрет жизни, – сказал Сомс.

Он посмотрел на дочь. Слава богу, она-то не тощая, Насколько ему известно, пищеварение у нее превосходное, Пусть воображает, что влюблена или не влюблена, но пока ее пищеварение не напоминает о себе, ничего не страшно.

– Главное – побольше ходить в наш век автомобилей, – сказал он.

– Да, – сказала Флер, – я сегодня хорошо прошла.

Не вызов ли она ему бросает поверх яблочной шарлотки? Если и так, он не поддается.

– Я тоже, – сказал он, – где только не был. Вот теперь поиграем в гольф.

Она поглядела на него, а потом сказала странную вещь:

– Да, вероятно, я уж достаточно стара для гольфа.

Ну что она хотела этим сказать?

XII. ЛИЧНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

В день званого завтрака и поездки в Робин-Хилл у Майкла действительно было заседание комитета, но, кроме того, у него были личные переживания, в которых он хотел разобраться. Есть люди, которые, раз обнаружив, что счастье их под угрозой, уже не могут судить без предубеждения о том, кто нарушил их покой. Майкл был не таков. Молодой англичанин, встреченный им в доме старого американца Георга Вашингтона, понравился ему не только потому, что он был англичанин; и теперь, когда он сидел за столом рядом с Флер – ее троюродный брат и первая любовь, – Майкл не мог переменить свое мнение. У молодого человека было симпатичное лицо – красивее, чем у него самого, – хорошие волосы, энергичный подбородок, прямой взгляд и скромные манеры; не было смысла закрывать глаза на все это. Свобода торговли в вопросах любви, принятая среди порядочных людей, исключала возможность даже мысленного применения более жестких норм протекционизма. К счастью, молодой человек женат на этой милой тоненькой девочке с глазами – по выражению миссис Вэл, – как у самой невинной русалки. Поэтому личные переживания Майкла касались больше Флер, чем Джона. Но нелегко было прочесть выражение ее лица, проследить извилины ее мыслей, добраться до ее сердца; и может быть, причиной всему этому Джон Форсайт? Он вспомнил, как сводная сестра этого мальчика, Джун Форсайт, стареющая, но вечно подвижная маленькая женщина, выпалила ему в лицо на Корк-стрит, что Флер должна была выйти замуж за ее

маленького братца – он тогда впервые услышал об этом. Как болезненно поразило его открытие, что он играет всего только вторую скрипку в жизни любимой! Он вспомнил также кое-какие осторожные и предостерегающие намеки «Старого Форсайта». В устах этого образца скрытности и подавленных чувств они произвели на Майкла глубокое и прочное впечатление, еще усиленное неудачами его собственных попыток добраться до тайников сердца Флер. Он шел в комитет, но ум его был не целиком занят общественными вопросами. Какой причине, расстроившей этот юный роман, был он обязан своим счастьем? Это не было внезапное отвращение, или болезнь, или денежные затруднения; и не родство – ведь миссис Вэл Дарти, по-видимому, вышла за троюродного брата со всеобщего согласия. Нужно помнить, что Майкл остался в полном неведении относительно семейной тайны Сомса. Те из Форсайтов, с которыми он был знаком, не любили говорить о семейных делах и ни словом о ней не обмолвились. А Флер никогда не говорила о своей первой любви, а о том, почему из нее ничего не вышло, – и подавно. И все же какая-то причина есть; и, не зная ее, нечего пытаться понять теперешние чувства Флер.

Его комитет заседал в связи с деятельностью министерства здравоохранения по регулированию рождаемости; и пока кругом доказывали, почему для других предосудительно то, что он сам постоянно делает, его осенила мысль: что, если пойти к Джун Форсайт и спросить ее? Найти ее можно по телефонной книге – имя редкое, не спутаешь.

– А вы что скажете, Монт?

– Что же, сэр, если нельзя вывозить детей в колонии или так или иначе форсировать эмиграцию, ничего не остается, как регулировать рождаемость. Мы, представители высших и средних классов, это и делаем и закрываем глаза на моральную сторону вопроса, если она существует; и я, право, не вижу, как мы можем делать упор на моральной стороне в отношении тех, у кого нет и четвертой части наших оснований обзаводиться целой кучей детей.

– Мой милый Монт, – ухмыляясь, сказал председатель, – не кажется ли вам, что вы расшатываете основу всех привилегий?

– Очень возможно, – сказал Майкл, ухмыляясь в ответ. – Я, конечно, считаю, что эмиграция детей куда лучше; но в этом, кажется, никто со мной не согласен.

Все хорошо знали, что эмиграция детей – конек «юного Монта», и без особого восторга ожидали минуты, когда он его оседлает. И так как никто лучше Майкла не отдавал себе отчета в том, что он чужак, поскольку считает невозможным в политике положение, когда и волки сыты и овцы целы, он больше не стал говорить. Предчувствуя, что они еще долго будут ходить вокруг да около и все-таки ни к чему не придут, он вскоре извинился и вышел.

Он нашел нужный адрес: «Мисс Джун Форсайт, Тополевый Дом, Чизик», и сел в хэммерсмитский автобус.

Как быстро все возвращается к нормальному состоянию! Невероятно трудно расшатать такой огромный, сложный и эластичный механизм, как жизнь нации. Автобус катил, покачиваясь, среди других бесчисленных машин и сонмищ пешеходов, и Майклу стал, о ясно, как крепки два основных устоя современного общества – всеобщая потребность есть, пить и двигаться и то обстоятельство, что столько народу умеет управлять автомобилем. «Революция? – подумал он. – Никогда еще она не имела так мало шансов. Машин ей не одолеть».

Разыскать «Тополевый Дом» оказалось нелегко, а найдя его, Майкл увидел небольшой особняк с большим ателье окнами на север. Он стоял за двумя тополями, высокий, узкий, белый, как привидение. Дверь открыла какая-то иностранка. Да, мисс Форсайт в ателье, с мистером Блэйдом. Майкл послал свою карточку и остался ждать на сквозняке, чувствуя себя до крайности неловко, так как, добравшись наконец до места, он ломал себе голову, зачем он здесь. Как узнать то, что ему нужно, не показав вида, что он

за этим и явился, было выше его понимания; ведь такого рода сведений можно добиться, только задавая вопросы в упор.

Его пригласили пройти наверх, и по дороге он стал репетировать свою первую ложь. Он вошел в ателье – большая комната с обтянутыми зеленым полотном стенами, висящие и составленные на полу холсты, обычное возвышение для натуры, затемненный верхний свет и полдюжины кошек – и услышал легкое движение. Воздушная маленькая женщина в свободном зеленом одеянии, с короткими седыми волосами встала с низкой скамеечки и шла к нему навстречу.

– Здравствуйте. Вы, конечно, знаете Харолда Блэйда?

Молодой человек, у ног которого она только что сидела, встал перед Майклом – квадратный, хмурый, смуглолицый, с тяжелым взглядом.

– Вы, наверное, знаете его прекрасные рафаэлитские работы.

– О да! – сказал Майкл, думая в то же время: «О нет!»

Молодой человек свирепо изрек:

– Он в жизни обо мне не слышал.

– Нет, в самом деле, – промямлил Майкл. – Но скажите мне, почему рафаэлитские? Меня всегда это интересовало.

– Почему! – воскликнула Джун. – Потому что он единственный человек, вернувший нам ценности прошлого; он заново открыл их.

– Простите, я мало что смыслю в вопросах искусства – мне казалось, на то у нас есть академики!

– Академики! – воскликнула Джун так страстно, что Майкл вздрогнул. Ну, если вы еще верите в них...

– Да нет же, – сказал Майкл.

– Харолд – единственный рафаэлит; конечно, ему подражают, но он будет и последним. Так всегда бывает. Великие художники создают школы, но их школы очень немногие стоят.

Майкл с новым интересом взглянул на «первого и последнего рафаэлита». Лицо ему не понравилось, но в нем, как в лице припадочного, была какая-то сила.

– Разрешите посмотреть? Интересно, мой тесть знаком с вашими работами? Он большой коллекционер и вечно в поисках картин.

– Сомс! – сказала Джун, и Майкл опять вздрогнул. – Он начнет коллекционировать Харолда, когда нас никого в живых не будет. Вот, посмотрите!

Майкл отвернулся от рафаэлита, пожимавшего плотными плечами. Перед ним был, несомненно, портрет Джун. Большое сходство, гладкая манера письма, зеленые и серебристые тона, и вокруг головы – намек на сияние.

– Предельная чистота линий и красок! И вы думаете, это повесили бы в Академии?

«По-моему, как раз это и повесили бы», – подумал Майкл, стараясь выражением лица не выдать своего мнения.

– Мне нравится этот намек на сияние, – проговорил он.

Рафаэлит разразился резким, коротким смешком.

– Я пойду погуляю, – сказал он. – К ужину вернусь. До свидания.

– До свидания, – сказал Майкл не без облегчения.

– Конечно, – сказала Джун, когда они остались одни, – он единственный, кто мог бы написать портрет Флер. Он прекрасно уловил бы ее современный стиль. Может быть, она захочет. Вы знаете, все против него, ему так трудно бороться.

– Я спрошу ее. Но скажите, почему все против него?

– Потому что он прошел через все эти пустые новаторские увлечения и вернулся к чистой форме и цвету. Его считают ренегатом и обзывают академиком. Так бывает со всеми, у кого хватает мужества восстать против моды и творить, как подсказывает собственный гений. Я уже в точности знаю, что он сделает из Флер. Для него это была бы большая удача, потому что он очень горд, а ведь заказ исходил бы от Сомса. И для нее,

конечно, прекрасно. Ей бы надо ухватиться за это, через десять лет он будет знаменит.

Майкл сомневался, что Флер за это «ухватится» или что Сомс даст заказ, и ответил осторожно:

– Я позондирую ее. Кстати, у нас сегодня завтракала ваша сестра Холли и ваш младший брат с женой.

– О! – сказала Джун. – Я еще не видела Джона, – и прибавила, глядя на Майкла честными синими глазами: – Зачем вы пришли ко мне?

Перед этим вызывающим взглядом вся дипломатия Майкла пошла насмарку.

– Откровенно говоря, – сказал он, – я хотел узнать у вас, почему Флер разошлась с вашим братом.

– Садитесь, – сказал Джун и, подперев рукой острый подбородок, посмотрела на него, переводя взгляд из стороны в сторону, как кошка.

– Я рада, что вы прямо спросили. Терпеть не могу, когда говорят обиняком. Разве вы не слышали про его мать? Ведь она была первой женой Сомса.

– О! – сказал Майкл.

– Ирэн, – и Майкл почувствовал, как при звуке этого имени в Джун шевельнулось что-то глубокое и первобытное. – Очень красивая. Они не ладили. Она ушла от него, а через много лет вышла за моего отца, а Сомс с ней развелся. То есть Сомс развелся с ней, а потом она вышла за моего отца. У них родился Джон. А потом, когда Джон и Флер влюбились друг в друга, Ирэн и мой отец были страшно огорчены, и Сомс тоже – по крайней мере я так полагаю.

– А потом? – спросил Майкл, когда она замолчала.

– Детям все рассказали; и тут как раз умер мой отец, Джон пожертвовал собой и увез мать в Америку, а Флер вышла замуж за вас.

Так вот оно что! Несмотря на краткость и отрывочность ее рассказа, он чувствовал, как много здесь кроется трагических переживаний. Бедные ребятки!

– Я всегда об этом жалела, – неожиданно сказала Джун. – Ирэн должна была бы пойти на это. Только... только они не были бы счастливы. Флер большая эгоистка. Вероятно, Ирэн поняла это.

Майкл попробовал возмутиться.

– Да, – сказала Джун, – вы хороший человек, я знаю, вы слишком хороши для нее.

– Неправда, – резко сказал Майкл.

– Нет, правда. Она не плохая, но очень эгоистична.

– Не забывайте, пожалуйста...

– Сядьте! Не обижайтесь на мои слова. Я просто, знаете ли, говорю правду. Конечно, все это было очень тяжело. Сомс и мой отец были двоюродные братья. А дети были отчаянно влюблены.

И снова от ее фигурки на Майкла повеяло глубоким и первобытным чувством, и в нем самом проснулось что-то глубокое и первобытное.

– Грустно! – сказал он.

– Не знаю, – быстро подхватила Джун, – не знаю; может быть, все вышло к лучшему. Ведь вы счастливы?

Как под дулом револьвера, он встал навытяжку и отпрапортовал:

– Я-то да, но она?

Серебристо-зеленая фигурка выпрямилась. Джун схватила его за руку и сжала ее. В этом движении была ужасающая искренность, и Майкла это тронуло. Ведь он видел ее до сих пор всего два раза!

– Как бы там ни было, Джон женат. Какая у него жена?

– Внешность прелестная, кажется – очень милая.

– Американка, – глубокомысленно изрекла Джун. – А Флер наполовину француженка. Я рада, что у вас есть сын.

Майкл в жизни не встречал человека, чьи слова, сказанные без всякого умысла,

вселяли бы в него такую тревогу. Почему она рада, что у него сын? Потому что это страховка... от чего?

– Ну, – пробормотал он, – очень рад, что я наконец узнал, в чем дело.

– Напрасно вам раньше не сказали; впрочем, вы и сейчас ничего не знаете. Нельзя понять, что такое семейные распри и чувства, если сам их не пережил. Я-то понимаю, хоть и сердилась из-за этих детей. Видите ли, в давние времена я сама держала сторону Ирэн против Сомса. Я хотела, чтобы она еще в самом начале ушла от него. Ей прескверно жилось, он был такой... такой слизняк, когда дело шло о его драгоценных правах; и гордости настоящей в нем не было. Подумать только, навязываться женщине, которая вас не хочет!

– Да, – повторил Майкл, – подумать только!

– В восьмидесятых и девяностых годах люди не понимали, до чего это противно.

Хорошо, хоть теперь поняли.

– Поняли? – протянул Майкл. – Ну, не знаю!

– Конечно, поняли.

Майкл не решился возражать.

– Теперь в этом отношении куда лучше, чем было, нет того глупого мешанства.

Странно, что Флер вам всего этого не рассказала.

– Никогда ни словом не упомянула.

– О!

Это прозвучало удручающе, так же как и все ее более пространственные реплики. Она явно думала то же, что думал он сам: Флер была задета слишком глубоко, чтобы говорить об этом. Он даже не был уверен, знает ли Флер, что до него дошла ее история с Джоном.

И, вдруг почувствовав, что с него довольно удручающих реплик, он поднялся.

– Большое спасибо, что сказали мне. А теперь простите, мне пора.

– Я зайду поговорить с Флер относительно портрета. Нельзя упускать такой случай для Харолда. Нужно же ему получать заказы.

– Разумеется! – сказал Майкл. Он надеялся, что Флер лучше его сумеет отказаться.

– Ну, до свидания!

Дойдя до двери, он оглянулся, и у него сжалось сердце: одна в этой громадной комнате, она казалась такой воздушной, такой маленькой! Серебристые волосы, напряженное личико, которому выражение восторженности, хоть и направленной не по адресу, все еще придавало молодой вид. Он что-то получил от нее, а ей ничего не оставил; и разбередил в ней какое-то давнишнее личное переживание, какое-то чувство, не менее, может быть, более сильное, чем его собственное.

До чего она, верно, одинока! Он помахал ей рукой.

Флер была уже дома, когда он пришел. И Майкл вдруг сообразил, что единственное объяснение его визита к Джун Форсайт – это она и Джон!

«Нужно написать этой маленькой женщине, попросить, чтобы не рассказывала», – подумал он. Не годится, чтобы Флер узнала, что он рылся в ее прошлом.

– Хорошо покатались? – спросил он.

– Очень. Энн напоминает мне Фрэнсиса, только глаза другие.

– Да, они оба мне поправились тогда в Маунт-Вернон. Странная была встреча, правда?

– Когда папа захворал?

Он почувствовал, что она знает, что встречу от нее скрыли. Если б можно было поговорить с ней по душам, если б она доверилась ему!

Но она сказала только:

– Скучно мне без столовой, Майкл.

XIII. В ОЖИДАНИИ ФЛЕР

Сказать, что Сомс больше любил свой дом у реки, когда его жены там не было, значило бы слишком примитивно сформулировать далеко не простое уравнение. Он был доволен, что женат на красивой женщине и отличной хозяйке, право же, неповинной в том, что она француженка и на двадцать пять лет моложе его. Но верно и то, что он гораздо лучше видел ее хорошие стороны, когда ее с ним не было. Он знал, что, не переставая подсмеиваться над ним на свой французский лад, она все же научилась до известной степени уважать его привычки и то положение, которое сама занимала как его жена. Привязанность? Нет, привязанности к нему у нее, вероятно, не было, но она дорожила своим домом, своей партией в бридж, своим положением в округе и хлопотами по дому и саду. Она была как кошка. А с деньгами обращалась великолепно – тратила их меньше и с большим толком, чем кто бы то ни было. Кроме того, она не становилась моложе, так что он перестал серьезно опасаться, что ее дружеские отношения с кем-нибудь зайдут слишком далеко и он об этом узнает. Шесть лет назад эта история с Проспером Профоном, чуть было не кончившаяся скандалом, научила ее осмотрительности.

Ему, собственно, было совершенно незачем уезжать из Лондона за день до приезда Флер; все колесики его хозяйства были раз навсегда смазаны и вертелись безотказно. Он завел за рекой коров и молочное хозяйство и теперь со своих пятнадцати акров получал все, кроме муки, рыбы и мяса, которое вообще потреблял умеренно. Пятнадцать акров представляли собой если не «земельную собственность», то, во всяком случае, изобилие всяких продуктов. Владение его было типичным образцом многих и многих резиденций безземельных богачей.

У Сомса был хороший вкус, у Аннет, пожалуй, того лучше, особенно в отношении еды; так что трудно было найти дом, где кормили бы вкуснее.

В этот ясный, теплый день, когда цвел боярышник, листья еще только распускались и река вновь училась улыбаться по-летнему, кругом было не на шутку красиво. И Сомс прогуливался по зеленому газону и размышлял: почему это садовники вечно бродят с места на место? Все английские садовники, которых он мог припомнить, только и делали, что вот-вот собирались работать. Поэтому, очевидно, так часто и нанимают садовников-шотландцев. К нему подошла собака Флер; она порядком постарела и целыми днями охотилась на воображаемых блох. Относительно настоящих блох Сомс был очень щепетилен, и животное мыли так часто, что кожа у него стала совсем тонкая. Это был золотисто-рыжий пойнтер, такой редкой масти, что его постоянно принимали за помесь.

Прошел старший садовник с мотыгой в руке.

– Здравствуйте, сэр!

– Здравствуйте, – ответил Сомс. – Ну, стачка кончилась!

– Да, сэр. Давно пора. Занимались бы лучше своим делом.

– Правильно. Как спаржа?

– Вот хочу вскопать третью грядку, да рабочих рук не найдешь.

Сомс взгляделся в лицо садовника, узкое, немного скошенное набок.

– Что? – сказал он. – Это когда у нас чуть не полтора миллиона безработных?

– И что они все делают – в толк не возьму, – сказал садовник.

– По большей части ходят по улицам и играют на разных инструментах.

– Совершенно верно, сэр, у меня сестра в Лондоне, она то же говорила. Я мог бы взять мальчишку, да как ему доверишь работу?

– А почему бы вам самому не заняться?

– Да тем, верно, и кончится; только, знаете ли, сад запускать не хотелось бы. – И он смущенно повертел в руках мотыгу.

– К чему вам эта штука? Тут сорной травы днем с огнем не сыщешь.

Садовник улыбнулся.

– Не поверите, сэр, – сказал он, – чуть отвернулся, а она уж тут как тут.

– Завтра приезжает миссис Монт, – сказал Сомс. – Надо в комнаты цветов получше.

- Очень мало их цветет сейчас, сэр.
- У вас когда ни спросишь, всегда мало. Не поленитесь, так что-нибудь найдете.
- Слушаю, сэр, – сказал садовник и пошел прочь.

«Куда он пошел? – подумал Сомс. – В жизни не видел такого человека. Впрочем, все они одинаковы». Когда-нибудь, по-видимому, они все же работают; может быть, рано утром? Разве что уж очень рано. Как бы там ни было, платить им приходится немало! И, заметив, что собака наклонила голову набок, он сказал:

– Гулять?

Они вместе пошли через калитку, прочь от реки. Птицы пели на разные голоса, не умолкали кукушки.

Они дошли до поляны, где на пасхе, в исключительно ясный день, кто-то устроил пожар. Отсюда была видна река, извивавшаяся среди тополей и ветел. Картина напоминала речной пейзаж Добиньи, который Сомс видел в частной галерее одного американца, – прекрасный пейзаж, лучшее из того, что он знал в этом жанре. Он заметил, как из трубы его кухни поднимается к небу дым, и порадовался ему больше, чем радовался бы дыму из любой другой трубы. Он сильно скучал о нем в прошлом году – в эти месяцы почти непрерывной жары, когда он колесил по всему свету с Флер, переезжая из одного чужого города в другой. Помешался этот Майкл на эмиграции! Как сторонник империи. Сомс в теории признавал ее преимущества; но на практике всякое место за пределами Англии казалось ему либо слишком глухим, либо слишком шумным. Англичанин имеет право на дым из своей собственной кухонной трубы. Вот, например, Ганг – какой несуразно громадный по сравнению с этой серебристой извилистой лентой! Ему понравилась и река св. Лаврентия, и Гудзон, и Потомак, как он упорно продолжал его называть, но если сравнить – все они вспоминаются как беспорядочные водные пространства. И народ там беспорядочный. Иначе и быть не может в таких больших государствах. Сомс двинулся с поляны вниз, через узкую полосу леса, где раздавался возбужденный гомон грачей. Он мало что знал о птичьих повадках: был неспособен отвлечься от самого себя настолько, чтобы серьезно заняться существами, не имеющими к нему прямого отношения. Но он решил, что скорей всего тема их шумной сходимки – еда: падает курс червяков или наблюдается инфляция, они и суетятся, как французы вокруг своего несчастного франка. Выйдя из леса, он очутился неподалеку от шлюза, у домика сторожа. И тут, среди запаха дыма, ниткой вьющегося из низкой скромной трубы, и плеска воды в заводи, и переклички дроздов и кукушек, собственнический инстинкт Сомса на время замолк. Он раскрыл складную трость, сел на нее и стал смотреть на зеленую тину, затянувшую стеньг пустого шлюза. Хитрая штука – шлюзы! Почему нельзя заключить в шлюзы человеческие чувства – запрудить их до поры до времени, а потом пустить, строго контролируя, по главному руслу жизни, не давая растекаться по заводям и даром пропадать на порогах? Эти несколько абстрактные размышления были прерваны собакой Флер, лизнувшей его повисшую в воздухе руку. До чего животные стали нынче похожи на людей – вечно хотят, чтобы на них обращали внимание; не далее как сегодня он заметил, как черная кошка Аннет смотрела в гипсовое лицо неапольской Психеи и тихо мяукала – наверно, просилась на колени.

Из домика вышла дочка сторожа и стала снимать с веревки белье. Женщины в деревне только и делают, кажется, что вешают на веревки белье, а потом опять снимают! Сомс глядел на нее – ловкие руки, ловкие движения, ловко сидит на ней платье из голубого ситца; лицо как с картины Боттичелли – сколько в Англии таких лиц! У нее, конечно, есть поклонник, а может быть, и два, и они гуляют в этом лесу и сидят на сырой траве и все такое прочее и, чего доброго, воображают, что счастливы; или она влезает на велосипед позади него и носится по дорогам, задрав юбки до колен. И зовут ее, наверное, Глэдис, или Дорис, или как-нибудь в этом роде. Она увидела его и улыбнулась. Губы у нее были полные, улыбка ее красила. Сомс приподнял шляпу.

– Хороший вечер, – сказал он.

– Да, сэр.

Очень почтительна!

– Вода еще не сошла.

– Да, сэр.

А хорошенькая девушка! Что если б он был сторожем при шлюзе, а Флер дочкой сторожа, вешала бы белье на веревку и говорила бы: «Да, сэр»? Что ж, а быть сторожем при шлюзе, пожалуй, еще лучшее из занятий, доступных бедным, – следить, как поднимается и спадает вода, жить в этом живописном домике и не знать никаких забот, кроме... кроме заботы о дочери! И он чуть не спросил у девушки: «Вы хорошая дочь?» Возможно ли в наше время такое – чтобы дочь думала сначала о вас, а потом о себе?

– Кукушки-то! – сказал он глубокомысленно.

– Да, сэр.

Теперь она снимала с веревки несколько откровенную принадлежность туалета, и Сомс опустил глаза, чтобы не смущать девушку; впрочем, она не выказывала ни малейшего смущения. Вероятно, в наше время смутить девушку вообще невозможно. И он встал и сложил трость.

– Ну, полагаю, погода продержится.

– Да, сэр.

– Всего хорошего.

– Всего хорошего, сэр.

В сопровождении собаки он двинулся к дому. Скромница, воды не замутит; но так ли она разговаривает со своим кавалером? Унизительно быть старым! В такой вечер нужно быть опять молодым и гулять в лесу с такой вот девушкой; и все, что было в нем от фавна, на мгновение наострило уши, облизнулось и с легким чувством стыда, пожав плечами, свернулось клубочком и затихло.

Сомс, которого природа не поскупилась наделить свойствами фавна, всегда отличался тем, что старательно замалчивал это обстоятельство. Как и вся его семья, кроме кузена Джорджа и дяди Суизина, он был скрытен в вопросах пола; Форсайты, как правило, не касались этих тем и не любили слушать, когда их касались другие. Заслышав зов пола, они внешне никак этого не показывали. Не пуританство, а известная присущая им щепетильность запрещала касаться этой темы; они и сами не знали, откуда она у них.

Пообедав в одиночестве, он закурил сигару и опять вышел из дому. Для мая месяца было совсем тепло, и света еще хватало, чтобы разглядеть коров на заречном лугу. Скоро они соберутся на ночлег у той вон колючей изгороди. А вот и лебеди плывут спать на остров, а за ними их серые лебедята. Благородные птицы!

Река белела; тьма словно задержалась в ветвях деревьев, перед тем как расплыться по земле и улететь в небо, где только что высохли последние капли заката. Очень тихо и чуть таинственно – сумерки! Только скворцы все верещат – противные создания; да и как требовать чувства собственного достоинства от существа с таким коротким хвостом! Пролетали ласточки, закусывая на ночь мошками и первыми мотыльками; и тополя были так неподвижны – словно перешептывались, – что Сомс поднял руку посмотреть, есть ли ветер. Ни дуновения! А потом сразу – ни реющих ласточек, ни скворцов; белесая дымка над рекой, на небе! В доме зажглись огни. Близко прогудел ночной жук. Пала роса. Сомс почувствовал ее – пора домой! И только он повернул к дому – тьма сгладила деревья, небо, реку. И Сомс подумал: «Уж только бы без этой таинственности, когда она придет. Не желаю, чтобы меня тревожили!» Она и малыш; могло бы быть так хорошо, если б не нависла мрачная тень этой давнишней любовной трагедии, которая корнями цеплялась за прошлое, а в будущем таила горькие плоды...

Он хорошо выспался, а на следующее утро ни за что не мог приняться, все устраивал то, что уже было устроено. Несколько раз он останавливался как вкопанный среди этого занятия, слушая, не едет ли автомобиль, и напоминал себе, что не надо тревожиться и ни о чем не надо спрашивать. Она, конечно, опять виделась вчера с этим Джоном, но

спрашивать нельзя.

Сомс поднялся в картинную галерею и снял с крюка небольшую картину Ватто, которой Флер как-то при нем восхищалась. Он снес ее вниз и поставил на мольберте у нее в спальне – молодой человек в широком лиловом камзоле с кружевными брыжами играет на тамбурине перед дамой в синем, с обнаженной грудью; а рядом ягненок. Прелестная вещица! Пусть заберет ее, когда поедет в город, и повесит у себя в гостиной, рядом с картинами Фрагонара и Шардена. Он подошел к белоснежной кровати и понюхал постельное белье. Должно бы пахнуть сильнее. Эта женщина, миссис Эджер, экономка, забыла положить саше; он так и знал – что-нибудь да упустят! Он подошел к шкафчику, достал с полки четыре пакетика, перевязанных узкими лиловыми лентами, и положил их в постель. Потом двинулся в ванную. Понравятся ли ей эти соли – последнее открытие Аннет; он-то считает, что они слишком пахучие. В остальном все как будто в порядке: мыло Роже и Галле, спуск в исправности. Ох, уж эти новые приспособления – вечно портятся; что можно выдумать лучше прежней цепочки! Какие перемены в способах умываться произошли на его глазах! Он, правда, не мог помнить дней, когда ванн не было; но отлично помнил, как его отец постоянно повторял: «Меня в детстве никогда не мыли в ванне. Первую ванну я поставил сам, как только завел собственный дом, – в тысяча восемьсот сороковом году; люди смотреть приходили. Говорят, теперь доктора против ванн, – не знаю». Джемс двадцать пять лет как умер, и доктора с тех пор не раз меняли мнения. Верно одно: ванна доставляет людям удовольствие, так не все ли равно, что говорят доктора. Кит любит купаться – не все дети любят. Сомс вышел из ванной, постоял, посмотрел на цветы, которые принес садовник; среди них выделялись три ранних розы. Розы были forte садовника, или, вернее, его слабостью – ему больше ни до чего не было дела. Это самое худшее сейчас в людях – они специализируются до того, что теряют всякое понятие относительности, хоть это, как он слышал, и самая молодая теория... Он взял розу и глубоко вдохнул ее запах. Сколько теперь разных сортов – счет потеряешь! В его молодости их было наперечет: «La France», «Marechal Niel» и «Cloire de Dijon» – вот, пожалуй, и все; о них теперь забыли. И Сомс даже устал от этой мысли об изменчивости цветов и изобретательности человека. Уж очень много всего на свете!

А она все не едет! У этого Ригза – он оставил ей автомобиль, а сам приехал поездом – конечно, лопнула шина; всегда у него лопается шина, когда не надо. Следующие полчаса Сомс не находил себе места и так загляделся на что-то в картинной галерее на самом верхнем этаже дома, что не слышал, как подъехал автомобиль. Голос Флер пробудил его от дум о ней.

– А-а! – сказал он в пролет лестницы. – Ты откуда явилась? Я уже целый час тебя жду.

– Да, милый, пришлось кое-что купить по дороге. Как здесь чудесно! Кит в саду.

– А, – сказал Сомс, спускаясь. – Ну, как ты вчера отдох... – он сошел с последней ступеньки и осекся.

Она подставила ему лицо для поцелуя, а глаза ее глядели мимо. Сомс приложился губами к ее щеке. Словно ее нет здесь, где-то витает. И, слегка чмокнув ее в мягкую щеку, он подумал; «Она не думает обо мне – и зачем? Она молодая!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. СЫН ГОЛУБКИ

Трудно сказать, лежит ли мел в основе характера всех вообще англичан, но присутствие его в организме наших жокеев и тренеров – факт неопровержимый. Живут они по большей части среди меловых холмов Южной Англии, пьют много воды, имеют дело с лошадиными суставами, и известковый элемент стал для них чуть ли не

профессиональным признаком; они часто отличаются костлявыми носами и подбородками.

Подбородок Гринуотера, отставного жокея, ведавшего конюшней Вала Дарти, выступал вперед так, словно все долгие годы участия в скачках он использовал его, чтобы помочь усилиям своих коней и привлечь внимание судьи. Его тонкий с горбинкой нос украшал собой маску из темнокоричневой кожи и костей, узкие карие глаза горели ровным огоньком, гладкие черные волосы были зачесаны назад; росту он был пяти футов и семи дюймов, и за долгие сезоны, в течение которых он боялся есть, аскетическое выражение легло на его лицо поверх природной живости того порядка, какая наблюдается, скажем, у трясогузки. Он был женат, имел двух детей и относился к семье с молчаливой нежностью человека, тридцать пять лет прожившего в непосредственном общении с лошадьми. В свободное время он играл на флейте. Во всей Англии не было более надежного человека.

Вэл, заполучивший его в 1921 году, когда тот только что вышел в отставку, считал, что в людях Гринуотер разбирается еще лучше, чем в лошадях, ибо верит только тому, что видит в них, а видит не слишком много. Сейчас явилась особенная необходимость никому не доверять, так как в конюшне рос двухлетний жеребенок Роадавель, сын Кафира и Голубки, от которого ждали так много, что говорить о нем вообще не полагалось. Тем более удивился Вэл, когда в понедельник на Аскотской неделе его тренер заметил:

– Мистер Дарти, тут сегодня какой-то сукин сын смотрел лошадей на галопе.

– Еще недоставало!

– Кто-то поболтался. Раз начинают следить за такой маленькой конюшней – значит, дело неладно. Послушайте моего совета – пошлите Рондавеля в Аскот и пускайте его в четверг, пусть попробует свои силы, а понюхать ипподрома ему не вредно. Потом дадим ему отдохнуть, а к Гудвуду опять подтянем.

Зная мнение своего тренера, что в Англии в наше время скаковая лошадь, так же как и человек, не любит слишком долгих приготовлений, Вэл ответил:

– Бойтесь переработать его?

– Сейчас он в полном порядке, ничего не скажешь. Сегодня утром я велел Синнету попробовать его, так он ушел от остальных, как от стоячих. Поскачет как миленький; жаль, что вас не было.

– Ого! – сказал Вэл, отпирая дверь стойла. – Ну, красавец?

Сын Голубки повернул голову и оглядел хозяина блестящим глазом философа. Темно-серый, с одним белым чулком и белой звездой на лбу, он весь лоснился после утреннего туалета. Чудо, а не конь! Прямые ноги и хорошая мускулатура – результат повторения кровей Сент-Саймока в дальних поколениях его родословной. Редкие плечи для езды под гору. Не «картинка», как говорится, – линии недостаточно плавны, – но масса стиля. Умен, как человек, резв, как гончая. Вал оглянулся на серьезное лицо тренера.

– Хорошо, Гринуотер. Я скажу хозяйке – поедем все, м домом. С кем из жокеев вы сумеете сговориться в такой короткий срок?

– С Лэмом.

– А, – ухмыльнулся Вал, – да вы, я вижу, уже все подготовили.

Только по дороге к дому он додумался наконец до возможного ответа на вопрос: «Кто мог узнать?» Через три дня после окончания генеральной стачки, еще до приезда Холли и Джона с женой, он сидел как-то над счетами, докуривая вторую трубку, когда горничная доложила:

– К вам джентльмен, сэр.

– Как фамилия?

– Стэйнфорд, сэр.

Едва не сказав: «И вы оставили его одного в холле!» – Бэл поспешил туда сам.

Его старый университетский товарищ разглядывал висящую над камином медаль.

– Алло! – сказал Вэл.

Невозмутимый посетитель обернулся.

Менее потертый, чем на Грин-стрит, словно он обрел новые возможности жить в долг, но те же морщинки на лице, то же презрительное спокойствие.

– А, Дарти! – сказал он. – Джо Лайтсон, букмекер, рассказал мне, что у тебя здесь есть конюшня. Я и решил заглянуть по дороге в Брайтон. Как поживает твой жеребенок от Голубки?

– Ничего, – сказал Вэл.

– Когда думаешь пускать его? Может, хочешь, я буду у тебя посредником? Я бы справился куда лучше профессионалов.

Нет, он прямо-таки великолепен в своей наглости!

– Премного благодарен; но я почти не играю.

– Да неужели? Знаешь, Дарти, я не собирался опять надоедать тебе, но если б ты мог ссудить меня двадцатью пятью фунтами, они бы мне оченьгодились.

– Прости, но таких сумм я здесь не держу.

– Может быть, чек...

Чек – ну нет, извините!

– Нет, – твердо сказал Вэл. – Выпить хочешь?

– Премного благодарен.

Наливая рюмки у буфета в столовой и одним глазом поглядывая на неподвижную фигуру гостя, Вэл принял решение.

– Послушай, Стэйнфорд, – начал он, но тут мужество ему изменило. Как ты попал сюда?

– Автомобилем из Хоршэма. Да, кстати. У меня с собой ни пенни, платить шоферу нечем.

Вэла передернуло. Было во всем этом что-то бесконечно жалкое.

– Вот, – сказал он, – возьми, если хочешь, пятерку, но на большее, пожалуйста, не рассчитывай. – И он вдруг разразился: – Знаешь, я ведь не забыл, как в Оксфорде я раз дал тебе взаймы все свои деньги, когда мне и самому до черта туго приходилось, а ты их так и не вернул, хотя в том же триместре получил немало.

Изящные пальцы сомкнулись над банкнотом; тонкие губы приоткрылись в горькой улыбке.

– Оксфорд! Другая жизнь. Ну, Дарти, до свидания, пора двигаться; и спасибо. Желаю тебе удачного сезона.

Руки он не протянул. Вэл смотрел ему в спину, узкую и томную, пока она не скрылась за дверью.

Да! Вспомнив это, он понял. Стэйнфорд, очевидно, подслушал в деревне какие-то сплетни – уж, конечно, там не молчат об его конюшнях. В конце концов не так важно – Холли все равно не даст ему играть. Но не мешает Гринуотеру получше присматривать за этим жеребенком. В мире скачек достаточно честных людей, но сколько мерзавцев примазывается со стороны! Почему это лошади так притягивают к себе мерзавцев? Ведь красивее нет на земле создания! Но с красотой всегда так – какие мерзавцы увиваются около хорошеньких женщин! Ну, надо рассказать Холли. Остановиться можно, как всегда, в гостинице Уормсона, на реке; оттуда всего пятнадцать миль до ипподрома...

«Зобастый голубь» стоял немного отступя от Темзы, на Беркширском берегу, в старомодном цветнике, полном роз, левкоев, маков, гвоздики, флоксов и резеды. В теплый июньский день аромат из сада и от цветущего под окнами шиповника струился в старый кирпичный дом, выкрашенный в бледно-желтый цвет. Служба на Парк-Лейн, в доме Джемса Форсайта, в последний период царствования Виктории, подкрепленная последующим браком с горничной Эмили – Фифин, дала Уормсону возможность так досконально изучить, что к чему, что ни одна гостиница на реке не представлялась более заманчивой для тех, чьи вкусы устояли перед современностью. Идеально чистое белье,

двухспальные кровати, в которые даже летом клали медные грелки, сидр из яблок собственного сада, выдержанный в бочках от рома, поистине отдых для всех чувств. Стены украшали гравюры «Модный брак», «Карьера повесы», «Скачки в ночных сорочках», «Охота на лисицу» и большие групповые портреты знаменитых государственных деятелей времен Виктории, имена которых значились на объяснительной таблице. Гостиница могла похвастаться как санитарным состоянием, так и портвейном. В каждой спальне лежали душистые саше, кофе пили из старинной оловянной посуды, салфетки меняли после каждой еды. И плохо приходилось здесь паукам, уховерткам и неподходящим постояльцам. Уормсон, независимый по натуре, один из тех людей, которые расцветают, когда становятся хозяевами гостиниц, с красным лицом, обрамленным небольшими седыми – баками, проникал во все поры дома, как теплое, но не жгучее солнце.

Энн Форсайт нашла, что все это восхитительно. За всю свою короткую жизнь, прожитую в большой стране, она еще никогда не встречала такого самодовольного уюта – покойная гладь реки, пение птиц, запах цветов, наивная беседка в саду, небо то синее, то белое от проплывающих облаков, толстый, ласковый сеттер, и чувство, что завтра, и завтра, и завтра будет нескончаемо похоже на вчера.

– Просто поэма, Джон!

– Слегка комическая. Когда есть комический элемент, не чувствуешь скуки.

– Здесь я бы никогда не соскучилась.

– У нас, в Англии, Энн, трагедия не в ходу.

– Почему?

– Как тебе сказать, трагедия – это крайность; а мы не любим крайностей. Трагедия суха, а в Англии сыро.

Она стояла, облокотившись на стену, в нижнем конце сада; чуть повернув подбородок, опирающийся на ладонь, она оглянулась на него.

– Отец Флер Монг живет на реке, да? Это далеко отсюда?

– Мейплдерхем? Миль десять, кажется.

– Интересно, увидим ли мы ее на скачках? По-моему, она очаровательна.

– Да, – сказал Джон.

– Как это ты не влюбился в нее, Джон?

– Мы же были чуть не детьми, когда я с ней познакомился.

– Она в тебя влюбилась, по-моему.

– Почему ты думаешь?

– По тому, как она смотрит на тебя. Она не любит мистера Монта; просто хорошо к нему относится.

– О! – сказал Джон.

С тех пор как в роще Робин Хилла Флер таким странным голосом сказала "Джон!", он испытал разнообразные ощущения. В нем было и желание схватить ее – такую, какой она стояла, покачиваясь, на упавшем дереве, положив руки ему на плечи, – и унести с собой прямо в прошлое. В нем было и отвращение перед этим желанием. В нем было и чувство, что можно отойти в сторону и сложить песенку про них обоих, и еще что-то, что говорило: «Выбрось всю эту дурь из головы и принимайся за дело!» Признаться, он запутался. Выходит, что прошлое не умирает, как он думал, а продолжает жить, наряду с настоящим, а порой, может быть, превращается в будущее. Можно ли жить ради того, чего нет? В душе его царил смятение, лихорадочные сквознячки пронизывали его. Все это тяжело лежало у него на совести, ибо если что было у Джона, так это совесть.

– Когда мы заживем своим домом, – сказал он, – заведем у себя все эти старомодные цветы. Ничего нет лучше их.

– Ах да, Джон, пожалуйста, поселимся своим домом. Но ты уверен, что тебе хочется? Тебя не тянет путешествовать и писать стихи?

– Это не работа. Да и стихи мои недостаточно хороши, Тут надо настроение

Гатераса Дж. Хопкинса:

Презреньем отделенный от людей,
Живу один и в песнях одинок.

– Напрасно ты скромничаешь, Джон.

– Это не скромность, Энн; это чувство юмора.

– Нельзя ли нам выкупаться до обеда? Вот было бы хорошо.

– Не знаю, какие тут порядки.

– А мы сначала выкупаемся, а потом спросим.

– Хорошо. Беги переоденься. Я попробую открыть эту калитку.

Плеснула рыба, длинное белое облако задело верхушки тополей за рекой. В точно такой вечер, шесть лет назад, он шел по берегу с Флер, простился с ней, подождал, пока она не оглянулась, не помахала ему рукой. Он и сейчас ее видел, полную того особого изящества, благодаря которому все ее движения надолго сохранялись в памяти. А теперь вот – Энн! А Энн в воде неотразима!..

Небо над «Зобастым голубем» темнело; в гаражах затихли машины; все лодки стояли на причале; только вода не стояла, да ветер вел тихие разговоры в камышах и листьях. В доме царил уют. Лежа на спине, чуть похрапывали Уормсон и Фифин. У Холли на тумбочке горела лампа, и при свете ее она читала «Худшее в мире путешествие», а рядом с ней Вэлу снилось, что он хочет погладить лошадиную морду, а она под его рукой становится короткая, как у леопарда. И спала Энн, уткнувшись лицом в плечо Джону, а Джон широко раскрытыми глазами смотрел на щели в ставнях, через которые пробивался лунный свет.

А в своем стойле в Аскоте сын Голубки, впервые покинувший родные края, размышлял о превратностях лошадиной жизни, открывал и закрывал глаза и бесшумно дышал в пахнущую соломой тьму – на черную кошку, которую он захватил с собой, чтобы не было скучно.

II. СОМС НА СКАЧКАХ

По мнению Уинифрида Дарти, аскотский дебют жеребенка, возвращенного в конюшнях ее сына, был достаточным поводом для сбора тех членов ее семьи, которые, по врожденному благоразумию, могли безопасно посещать скачки; но она была потрясена, когда услышала по телефону от Флер: "И папа едет; он никогда не бывал на

скачках, особенного нетерпения не выражает".

– О, – сказала она, – хороших мест теперь не достать – поздно. Ну ничего, Джек о нем позаботится. А Майкл?

– Майкл не сможет поехать, он погряз в трущобах; новый лозунг – «Шире мостовые»!

– Он такой славный, – сказала Уинифрид. – Поедем пораньше, милая, чтоб успеть позавтракать до скачек. Хорошо бы на автомобиле.

– Папина машина в городе, мы за вами заедем.

– Чудесно, – сказала Уинифрид. – У папы есть серый цилиндр? Нет? О, но это необходимо; они в этом году в моде. Ты не говори ему ничего, но купи непременно. Его номер семь с четвертью; и знаешь, милая, скажи там, чтоб цилиндр погрели и сдавили с боков, а то они всегда слишком круглые для его головы. Денег лишних пускай не берет: Джек будет ставить за всех.

Флер сомневалась, что ее отец вообще захочет ставить; он просто выразил желание посмотреть, что это за штука.

– Так смешно, когда он говорит о скачках, – сказала Уинифрид, – совсем как твой дедушка.

Для Джемса, правда, это было не так уж смешно – ему три раза пришлось уплатить скаковые долги за Монтегью Дарти.

Сомс и Уинифрид заняли задние сиденья, Флер с Имоджин – передние, а Джек Кардиган уселся рядом с Ригзом. Чтобы избежать большого движения, они выбрали круглую дорогу через Хэрроу и въехали в город как раз в тот момент, когда на дороге стало особенно тесно. Сомс, который держал свой серый цилиндр на коленях, надел его и сказал:

– Опять этот Ригз!

– О нет, дядя, – сказала Имоджин, – это Джек виноват. Когда ему нужно ехать через Итон, он всегда норовит сначала проехать через Хэрроу.

– О! А! – сказал Сомс. – Он там учился. Надо бы записать Кита.

– Вот славно! – сказала Имоджин. – Наши мальчики как раз кончат, когда он поступит. Как вам идет этот цилиндр, дядя!

Сомс опять снял его.

– Никчемный предмет, – сказал он. – Не понимаю, с чего это Флер вздумала мне его купить.

– Дорогой мой, – сказала Уинифрид, – тебе его хватит на много лет. Джек носит свой с самой войны. Главное – уберечь его от моли от сезона до сезона. Какая масса автомобилей! По-моему, все-таки удивительно, что в наше время у стольких есть на это деньги.

При виде этих денег, утекающих из Лондона, Сомс испытывал бы больше удовольствия, если бы не задумывался, откуда, черт возьми, они берутся. Добыча угля прекратилась, фабрики закрываются по всей стране – и эта выставка денег и мод хоть и действует успокоительно, но все же как-то неприлична.

Со своего места около шофера Джек Кардиган начал объяснять какое-то приспособление, называемое «Тото». Выходило, что это машина, которая сама ставит за вас деньги. Забавный малый этот Джек Кардиган – сделал себе из спорта профессию. Такой мог уродиться только в Англии! И, нагнувшись вперед, Сомс сказал Флер:

– Тебе там не дует?

Она почти всю дорогу молчала, и он знал, почему: вероятнее всего, на скачках будет Джон Форсайт. В Мейплдерхеме ему два раза попались на глаза письма, адресованные ею: «Миссис Вэл Дарти, Уонсдон, Сэссекс».

Он заметил, что эти две недели она была то слишком суетлива, то очень уж тиха. Раз, когда он заговорил с ней о будущем Кита, она сказала: «Знаешь, папа, по-моему – не стоит и придумывать, он все равно сделает по-своему; теперь с родителями не считаются. Вот хоть я, посмотри!»

И он посмотрел на нее и не стал возражать.

Он все еще был занят созерцанием ее затылка, когда они въехали в какую-то ограду и ему волей-неволей пришлось вынести свой цилиндр на суд публики. Ну, и толпа! Здесь, на дальней стороне ипподрома, тесными рядами стояли люди, которые, насколько он мог понять, вообще ничего не увидят и будут так или иначе мокнуть до самого вечера. И это называется удовольствием! Он следом за своими стал пересекать ипподром против главной трибуны. Так вот они, букмекеры! Смешные людишки! На каждом написано его имя, чтобы не спутали, – это и не лишнее: ему они все казались одинаковыми, с толстыми шеями и красными лицами либо с длинными шеями и тощими лицами, по одному того и другого сорта от каждой фирмы – как пары клоунов в цирке. Изредка среди наступившего затишья один из них выпускал громкий вой и устремлял а пространство голодный взгляд. Смешные людишки! Они прошли перед королевскими ложами, куда букмекеры, по-видимому, не допускались. Замелькали серые "цилиндры. Здесь, он слышал, бывает много красивых женщин. Он только что начал их высматривать, когда Уинифрид сжала его локоть.

– Смотри, Сомс, королевская семья!

Чтобы не глазеть на эти нарядные коляски, на которые и так все глазели, Сомс отвел взгляд и увидел, что они с Уинифрид остались одни.

– Куда же девались остальные? – спросил он.

– Вероятно, пошли в паддок.

– Зачем?

– Посмотреть лошадей, милый.

Сомс и забыл о лошадях.

– Какой смысл в наше время разъезжать в экипажах? – пробормотал он.

– По-моему, это так интересно, – разъезжать в экипаже. Хочешь, мы тоже пойдем в паддок? – сказала Уинифрид.

Сомс, который отнюдь не намерен был терять из виду свою дочь, последовал за Уинифрид к тому, что она называла паддоком.

Был один из тех дней, когда никак не скажешь, пойдет дождь или нет, поэтому женские туалеты "разочаровали Сомса: он не увидел ничего, что сравнилось бы с его дочерью, и только что собрался сделать какое-то пренебрежительное замечание, как услышал позади себя голос:

– Посмотри-ка, Джон! Вон Флер Монт!

Сомс наступил на ногу Уинифрид и замер. В двух шагах от него, и тоже в сером цилиндре, шел этот мальчик между своей женой и сестрой. На Сомса нахлынули воспоминания: как двадцать семь лет назад он пил чай в Робин-Хилле у своего кузена Джолиона, отца этого юноши, и как вошли Холли и Вэл и сели и глядели на него, точно на странную, неведомую птицу. Вот они прошли все трое в кольцо людей, непонятно что разглядывающих. А вот, совсем близко от них, и другая тройка – Джек Кардиган, Имоджин и Флер.

– Дорогой мой, – сказала Уинифрид, – ты стоишь на моей ноге.

– Я нечаянно, – пробурчал Сомс. – Пойдем на другую сторону, там свободнее.

Публика смотрела, как проводят лошадей; но Сомс, выглядывая из-за плеча. Уинифрид, интересовался только своей дочерью. Она еще не увидела молодого человека, но явно высматривает его – взгляд ее почти не задерживается на лошадях; это, впрочем, и не удивительно – все они, как одна, лоснящиеся и гибкие, смирные, как ягнята; около каждой вертится по мальчишке. А! Его точно ножом полоснуло – Флер внезапно ожила; и так же внезапно затаила свое возвращение к жизни даже от самой себя. Как она стоит – тихо-тихо, и не сводит глаз с этого молодого человека, поглощенного разговором с женой.

– Это вот фаворит. Сомс. Мне Джек говорил. Как ты его находишь?

– Не вижу ничего особенного – голова и четыре ноги.

Уинифрид засмеялась. Сомс такой забавный!

– Джек уходит; знаешь, милый, если мы думаем ставить, пожалуй, пойдем обратно. Я уже выбрала, на какую.

– Я ничего не выбрал, – сказал Сомс. – Просто слабоумные какие-то; они и лошадей-то одну от другой не отличают!

– О, ты еще не знаешь, – сказала Уинифрид, – вот Джек тебе...

– Нет, благодарю.

Он видел, как Флер двинулась с места и подошла к той группе. Но, верный своему решению не показывать вида, хмуро побрел назад, к главной трибуне. Какой невероятный шум они подняли теперь там, у дорожки! И как тесно стало на этой громадной трибуне! На самом верху ее он приметил кучку отчаянно жестикулирующих сумасшедших – верно, какая-нибудь сигнализация. Вдруг за оградой, внизу, стрелой пронеслось что-то яркое. Лошади – одна, две, три... десять, а то и больше, на каждой номер; и на шеях у них, как обезьяны, сидят яркие человечки. Пронеслись – и, наверно, сейчас пронесутся обратно; и уйма денег перейдет из рук в руки. А потом все начнется сначала, и деньги вернутся на свое место. И какая им от этого радость – непонятно! Есть, кажется, люди – тысячи людей, – которые проводят в этом всю жизнь; видно, много в стране свободных денег и времени. Как это Тимоти говорил: «Консоли идут в гору». Так нет, не пошли; напротив того, даже упали на один пункт, и еще упадут, если горняки не прекратят забастовку. Над

ухом у него раздался голос Джека Кардигана:

– Вы на какую будете ставить, дядя Сомс?

– Я почему знаю?

– Надо поставить, а то неинтересно.

– Поставьте что-нибудь за Флер и не приставайте ко мне. Мне поздно начинать, – и он раскрыл складную трость и уселся на нее. – Будет дождь, – прибавил он мрачно. Он остался один; Уинифрид с Имоджин следом за Флер прошли вдоль ограды к Холли и ее компании... Флер и этот юноша стояли рядом. И он вспомнил, что когда Босини не отходил от Ирэн, он, как и теперь, не подавал вида, безнадежно надеясь, что сможет пройти по водам, если не будет смотреть в глубину. А воды предательски разверзлись и поглотили его; и неужели, неужели теперь опять? Губы его дрогнули, и он протянул вперед руку. На нее упали мелкие капли дождя.

«Пошли!»

Слава богу, гам прекратился. Забавный переход от такого шума к полной тишине. Вообще забавное зрелище – точно взрослые дети! Кто-то пронзительно вскрикнул во весь голос, где-то засмеялись, потом на трибунах начал нарастать шум; вокруг Сомса люди вытягивали шеи. «Фаворит возьмет!» – «Ну нет!» Еще громче; топот – промелькнуло яркое пятно. И Сомс подумал: «Ну, конец!» Может, и все в жизни так. Тишина – гам – что-то мелькнуло – тишина. Вся жизнь – скачки, зрелище, только смотреть некому! Риск и расплата! И он провел рукой сначала по одной плоской щеке, потом по другой. Расплата! Все равно, кому расплачиваться, лишь бы не Флер. Но в том-то и дело – есть долги, которые не поручишь платить другому! О чем только думала природа, когда создавала человеческое сердце!

Время тянулось, а он так и не видел Флер. Словно она заподозрила его намерение следить за ней. В «Золотом кубке» скакала «лучшая лошадь века», и говорили, что этот заезд никак нельзя пропустить. Сомса опять потащили к лужайке, где проводили лошадей.

– Вот эта? – спросил он, указывая на высокую кобылу, которую он по двум белым бабкам сумел отличить от других. Никто ему не ответил, и он обнаружил, что три человека оттеснили его от Уинифрид и Кардшанов и с некоторым любопытством на него поглядывают.

– Вот она! – сказал один из них.

Сомс повернул голову. А, так вот она какая, лучшая лошадь века! Вон та гнедая; той же масти, как те, что ходили парой у них в запряжке, когда он еще жил на Парк-Лейн. У его отца всегда были гнедые, потому что у старого Джолиона были карачковые, у Николаев – воронные, у Суизина – серые, а у Роджера... он уже забыл, какие были у Роджера, – что-то слегка эксцентричные – верно, пегие! Иногда они говорили о лошадях, или, вернее, о том, сколько заплатили за них. Суизин был когда-то судьей на скачках – так он по крайней мере утверждал. Сомс никогда этому не верил, он вообще никогда не верил Суизину. Но он прекрасно помнил, как на Роу лошадь однажды понесла Джорджа и сбросила его на клумбу – каким образом, никто так и не смог объяснить. Совсем в духе Джорджа, с его страстью ко всяким нелепым выходкам! Сам он никогда не интересовался лошадьми. Ирэн, та очень любила ездить верхом – похоже на нее! После того как она вышла за него замуж, ей больше не пришлось покататься... Послышался голос:

– Ну, что вы о ней скажете, дядя Сомс? Вал со своей дурацкой улыбкой, и Джек Кардиган, и еще какой-то тощий темнолицый мужчина с длинным носом и подбородком. Сомс осторожно сказал:

– Лошадь не плоха.

Пусть не воображают, что им удастся поймать его!

– Как думаешь, Вэл, выдержит он? Заезд нелегкий.

– Не беспокойся, выдержит.

– Тягаться-то не с кем, – сказал тощий.

– А француз, Гринуотер?

– Не классная лошадь, капитан Кардиган. И эта не так уж хороша, как о ней кричат, но сегодня она не может проиграть.

– Ну, будем надеяться, что она побьет француза; не все же кубки им увозить из Англии.

В душе Сомса что-то откликнулось. Раз это будет против француза, надо помочь по мере сил.

– Поставьте-ка мне на него пять фунтов, – неожиданно обратился он к Джеку Кардигану.

– Вот это дело, дядя Сомс! Шансы у них примерно равны. Посмотрите, какая у нее голова и перед, грудь какая широкая. Круп, пожалуй, хуже, но все-таки лошадь замечательная.

– Который из них француз? – спросил Сомс. – Этот? О! А! Нет, не нравится. Этот заезд я посмотрю.

Джек Кардиган ухватил его повыше локтя – пальцы у него были как железные.

– Марш со мной, – сказал он.

Сомса повели, заташили выше, чем прежде, дали бинокль Имоджин – его же подарок – и оставили одного. Он изумился, обнаружив, как ясно и далеко видит. Какая уйма автомобилей и какая уйма народа! «Национальное времяпрепровождение» – так, кажется, это называют. Вот проходят лошади, каждую ведет в поводу человек. Что и говорить, красивые создания! Английская лошадь против французской лошади – в этом есть какой-то смысл. Он порадовался, что Аннет еще не вернулась из Франции, иначе она была бы здесь с ним. Теперь они идут легким галопом. Сомс добросовестно постарался отличить одну от другой, но если не считать номеров, они все были до черта похожи. «Нет – решил он, – буду смотреть только на этих двух и еще на ту вот – высокую», – он выбрал ее за кличку – Понс Асинорум. Он не без труда заучил цвета камзолов трех нужных жокеев и навел бинокль на группу лошадей у старта. Однако, как только они пошли, все спуталось, он видел только, что одна лошадь идет впереди других. Стоило ли стараться заучивать цвета! Он смотрел, как они скачут – все вперед, и вперед, и вперед – и волновался, потому что ничего не мог разобрать, а окружающие, по-видимому, прекрасно во всем разбирались. Вот они выходят на прямую. «Фаворит ведет!» – «Смотрите на француза!» Теперь Сомс мог различить знакомые цвета. Впереди те две! Рука его дрогнула, и он уронил бинокль. Вот они идут – почти голова в голову! О черт, неужели не он – не Англия? Нет! Да! Да нет же! Без всякого поощрения с его стороны сердце его колотилось до боли. «Глупо, – подумал он. – Француз! Нет, фаворит выигрывает! Выигрывает!» Почти напротив него лошадь вырвалась вперед. Вот молодчина! Ура! Да здравствует Англия! Сомс едва успел прикрыть рот рукой, слова так и просились наружу. Ктото заговорил с ним. Он не обратил внимания. И бережно уложив в футляр бинокль Имоджин, он снял свой серый цилиндр и заглянул в него. Там ничего не оказалось, кроме темного пятна на рыжеватой полоске кожи в том месте, где она промокла от пота.

III. ДВУХЛЕТКИ

Тем временем в паддоке, в той его части, где было меньше народу, готовили к скачкам двухлеток.

– Джон, пойдем посмотрим, как седлают Рондавеля, – сказала Флер.

И рассмеялась, когда он оглянулся.

– Нет, Энн при тебе весь день и всю ночь. Разок можно пойти и со мной.

В дальнем углу паддока, высоко подняв благородную голову, стоял сын Голубки; ему осторожно вкладывали мундштук, а Гринуотер собственноручно прилаживал на нем седло.

– Никому на свете не живется лучше, чем скаковой лошади, – говорил Джон. – Посмотри, какие у нее глаза – умные, ясные, живые. У ломовых лошадей такой

разочарованный, многострадальный вид, у этих – никогда. Они любят свое дело, это поддерживает их настроение.

– Не читай проповедей, Джон! Ты так и думал, что мы здесь встретимся?

– Да.

– И все-таки приехал. Какая храбрость!

– Тебе непременно хочется говорить в таком тоне?

– А в каком же? Ты заметил, Джон, скаковые лошади, когда стоят, никогда не сгибают колен; оно и понятно, они молодые. Между прочим, есть одно обстоятельство, которое должно бы умерить твои восторги. Они всегда подчиняются чужой воле.

– А кто от этого свободен?

Какое у него жесткое, упрямое лицо!

– Посмотрим, как его поведут.

Они подошли к Валу, тот хмуро сказал:

– Ставить будете?

– Ты как, Джон?

– Да; десять фунтов.

– Ну и я так. Двадцать фунтов за нас двоих, Вэл.

Вэл вздохнул.

– Посмотрите вы на него! Видали вы когда-нибудь более независимого двухлетка? Помяните мое слово, он далеко пойдет. А мне не разрешают ставить больше двадцати пяти фунтов! Черт!

Он отошел от них и заговорил с Гринуотером.

– Более независимого, – сказала Флер. – Несовременная черта – правда, Джон?

– Не знаю; если посмотреть поглубже...

– О, ты слишком долго прожил в глуши. Вот и Фрэнсис был на редкость цельный; Энн, вероятно, такая же. Напрасно ты не отведал Нью-Йорка стоило бы, судя по их литературе.

– Я не сужу по книгам; по-моему, между литературой и жизнью нет ничего общего.

– Будем надеяться, что ты прав. Откуда бы посмотреть этот заезд?

– Встанем вон там, у ограды. Меня интересует финиш. Я что-то не вижу Энн.

Флер крепко сжала губы, чтобы не сказать: «А ну ее к черту!»

– Ждать некогда, у ограды не останется места.

Они протиснулись к ограде, почти против, самого выигрышного столба, и стояли молча – как враги, думалось Флер.

– Вот они!

Мимо них пронеслись двухлетки, так быстро и так близко, что разглядеть их толком не было возможности.

– Рондавель хорошо идет, – сказал Джон, – и этот вот, гнедой, мне нравится.

Флер лениво проводила их глазами, она слишком остро чувствовала, что она одна с ним – совсем одна, отгороженная чужими людьми от взглядов знакомых. Она напрягла все силы, чтобы успеть насладиться этим мимолетным уединением. Она просунула руку ему под локоть и заставила себя проговорить:

– Я даже нервничаю, Джон. Он просто обязан прийти первым.

Понял он, что, когда он стал наводить бинокль, ее рука осталась висеть в воздухе?

– Отсюда ничего не разберешь. – Потом он опять прижал к себе локтем ее руку.

Понял он? Что он понял?

– Пошли!!

Флер прижалась теснее.

Тишина – гам – выкрикивают одно имя, другое! Но для Флер ничего не существовало – она прижималась к Джону. Лошади пронеслись обратно, мелькнуло яркое пятно. Но она ничего не видела, глаза ее были закрыты.

– Шут его дери, – услышала она его голос, – выиграл!

– О Джон!

– Интересно, что мы получим.

Флер посмотрела на него, на ее бледных щеках выступило по красному пятну, глаза глядели очень ясно.

– Получим! Ты правда хотел это сказать, Джон?

И хотя он двинулся следом за ней к паддоку, по его недоумевающему взгляду она поняла, что он не хотел это сказать.

Вся компания, кроме Сомса, была в сборе. Джек Кардиган объяснял, что выдача была несообразно низкая, так как на Рондавеля почти никто не ставил, – кто-то что-то пронюхал; он, по-видимому, находил, что это заслуживает всяческого порицания.

– Надеюсь, дядя Сомс не увлекся свыше меры, – сказал он. – Его с «Золотого кубка» никто не видел. Вот здорово будет, если окажется, что он взял да ахнул пятьсот фунтов!

Флер недовольно сказала:

– Папа, вероятно, устал и ждет в машине. Нам, тетя, тоже пора бы двигаться, чтобы не попасть в самый разъезд.

Она повернулась к Энн.

– Когда увидимся?

Энн взглянула на Джона, он буркнул:

– О, как-нибудь увидимся.

– Да, мы тогда сговоримся. До свидания, милая! До свидания, Джон! Поздравь от меня Вэла, – и, кивнув им на прощание. Флер первая двинулась к выходу. Ярость, кипевшая в ее сердце, никак не проявилась, нельзя было дать заметить отцу, что с ней происходит что-то необычное.

Сомс действительно ждал в автомобиле. Столь противное его принципам волнение от «Золотого кубка» заставило его присесть на трибуне. Там он и просидел два следующих заезда, лениво наблюдая, как волнуется внизу толпа и как лошади быстро скачут в один конец и еще быстрее возвращаются. Отсюда, в милом его сердцу уединении, он мог если не с восторгом, то хотя бы с интересом спокойно разглядывать поразительно новую для него картину. Национальное времяпрепровождение – он знал, что сейчас каждый норовит на что-нибудь ставить. На одного человека, хоть изредка посещающего скачки, очевидно, приходится двадцать, которые на них ни разу не были, но все же как-то научились проигрывать деньги. Нельзя купить газету или зайти в парикмахерскую, без того чтобы не услышать о скачках. В Лондоне и на Юге, в Центральных графствах и на Севере все этим увлекаются, просаживают на лошадей шиллинги, доллары и соверены. Большинство этих людей, наверно, в жизни не видали скаковой лошади, а может, и вообще никакой лошади; скачки – это, видно, своего рода религия, а теперь, когда их не сегодня-завтра обложат налогом, – даже государственная религия. Какой-то врожденный дух противоречия заставил Сомса слегка содрогнуться. Конечно, эти надрывающиеся обыватели, там, внизу, под смешными шляпами и зонтиками, были ему глубоко безразличны, но мысль, что теперь им обеспечена санкция царствия небесного или хотя бы его суррогата – современного государства, – сильно его встревожила. Точно Англия и в самом деле повернулась лицом к фактам. Опасный симптом! Теперь, чего доброго, закон распространится и на проституцию! Обложить налогом так называемые пороки – все равно что признать их частью человеческой природы. И хотя Сомс, как истый Форсайт, давно знал, что так оно и есть, но признать это открыто было бы чересчур по-французски. Допустить, что человеческая природа несовершенна – это какое-то пораженчество; стоит только пойти по этой дорожке – неизвестно, где остановишься. Однако, по всему видно, налог даст порядочный доход – а доходы ох как нужны; и он не знал, на чем остановиться. Сам бы он этого не сделал, но не ополчаться же за это на правительство! К тому же правительство, как и он сам, по-видимому, поняло, что всякий азарт – самое мощное противоядие от резолюции; пока человек может заключать пари, у него остается шанс приобрести что-то задаром, а

стремление к этому и есть та движущая сила, которая скрывается за всякой попыткой перевернуть мир вверх ногами. Кроме того, надо идти в ногу с веком, будь то вперед или назад – что, впрочем, почти одно и то же. Главное – не вдаваться в крайности.

В эти размеренные мысли внезапно вторглись совершенно неразумные чувства. Там, внизу, к ограде направлялись Флер и этот молодой человек. Из-под полей своего серого цилиндра он с болью глядел на них, вынужденный признать, что это самая красивая пара на всем ипподроме. У ограды они остановились – молча; и Сомс, который в минуты волнения сам становился молчаливее, чем когда-либо, воспринял это как дурной знак. Неужели и вправду дело неладно и страсть притаилась в своем неподвижном коконе, чтобы вылететь из него на краткий час легкокрылой бабочкой? Что кроется за их молчанием? Вот пошли лошади. Этот серый, говорят, принадлежит его племяннику? И к чему только он держит лошадей! Когда Флер сказала, что едет на скачки, он знал, что из этого получится. Теперь он жалел, что поехал. Впрочем, нет! Лучше узнать все, что можно. В плотной толпе у ограды он мог различить только серый цилиндр молодого человека и черную с белым шляпу дочери. На минуту его внимание отвлекли лошади: почему и не посмотреть, как обгонят лошадь Вэла? Говорят, он многого ждет от нее лишняя причина для Сомса не ждать от нее ничего хорошего. Вот они скажут, все сбились в кучу. Сколько их, черт возьми! И этот серый – удобный цвет, не спутаешь! Э, да он выигрывает! Выиграл!

– Гм, – сказал он вслух, – это лошадь моего племянника.

Ответа не последовало, и он стал надеяться, что никто не слышал. И опять взгляд его обратился на тех двоих у ограды. Да, вот они уходят молча, Флер впереди. Может быть... может быть, они уже не ладят, как прежде? Надо надеяться на лучшее. Но боже, как он устал! Пойти подождать их в автомобиле.

Там он и сидел в полумраке, когда они явились, громко болтая о всяких пустяках, – глупый вид у людей, когда они выигрывают деньги. А они, оказывается, все выиграли!

– А вы не ставили на него, дядя Сомс?

– Я думал о другом, – сказал Сомс, глядя на дочь.

– Мы уж подозревали, не вы ли нам подстроили такую безобразно маленькую выдачу.

– Как? – угрюмо сказал Сомс. – Вы что же, решили, что я ставил против него?

Джек Кардиган откинул назад голову и расхохотался.

– Ничего не вижу смешного, – буркнул Сомс.

– Я тоже, Джек, – сказала Флер. – Откуда папе знать что-нибудь о скачках?

– Простите меня, сэр, я сейчас вам все объясню.

– Боже упаси, – сказал Сомс.

– Нет, но тут что-то неладно. Помните вы этого Стэйнфорда, который стибрил у мамы табакерку?

– Помню.

– Так он, оказывается, был у Вэла в Уонсдоне, и Вэл думает, не пришло ли ему в голову, что Рондавель незаурядный конь? В прошлый понедельник какой-то тип околачивался там, когда его пробовали на галопе. Поэтому они и выпустили жеребенка сегодня, а не стали ждать до Гудвудских скачек. И все-таки опоздали, кто-то нас перехитрил. Мы получили только четверо.

Для Сомса все это было китайской грамотой, он понял только, что этот томный негодяй Стэйнфорд каким-то образом опять явился причиной встречи Флер с Джоном; ведь он знал от Уинифрида, что во время стачки Вэл и его компания остановились на Грин-стрит специально, чтобы повидаться со Стэйнфордом. Он горько раскаивался, что не подозвал тогда полисмена и не отправил этого типа в тюрьму.

Из-за коварства «этого Ригза» им не скоро удалось выбраться из гуши машин, и на Саут-сквер они попали только в семь часов. Их встретили новостью, что у Кита жар. С ним сейчас мистер Монт. Флер бросилась в детскую. Смыв с себя грязь за целый день.

Сомс уселся в гостиной и стал тревожно ждать их доклада. У Флер в детстве бывал жар, и нередко он приводил к чему-нибудь. Если жар Кита не приведет ни к чему серьезному, он может пойти ей на пользу – привяжет ее мысли к дому. Сомс откинулся на спинку кресла перед картиной Фрагонара – изящная вещица, но бездушная, как все произведения этой эпохи! Зачем Флер изменила стиль этой комнаты с китайского на французский? Очевидно, разнообразия ради. Нынешняя молодежь ни к чему не привязывается надолго: какой-то микроб в крови «безработных богачей» и «безработных бедняков» и вообще, по-видимому, у всех на свете. Никто не желает оставаться на месте, даже после смерти, судя по всем этим спиритическим сеансам. Почему люди не могут спокойно заниматься своим делом, хотя бы лежать в могиле! Они так жадно хотят жить, что жизни и не получается. Солнечный луч, дымный от пыли, косо упал на стену перед ним; красиво это – солнечный луч, но какая масса пыли, даже в такой вылизанной комнате! И подумать, что от какого-то микроба, который меньше, чем одна из этих пылинок, у ребенка может подняться температура! Сомс всей душой надеялся, что у Кита нет ничего заразного. И он стал мысленно перебирать все детские болезни – свинка, корь, ветряная оспа, коклюш. Флер их все перенесла, но scarlatina избежала. И Сомс стал беспокоиться. Не мог ведь Кит подхватить scarlatina, он слишком мал. Но няньки такие небрежные – как знать? И он вдруг затосковал по Аннет. Что она делает во Франции столько времени? Она незаменима, когда кто-нибудь болеет, у нее есть отличные рецепты. Надо отдать справедливость французам – доктора у них толковые, когда дадут себе труд вникнуть в дело. Снадобье, которое они прописали ему в Довиле от прострела, замечательно помогло. А после визита этот маленький доктор сказал: «Завтра зайду пообедать!» – так по крайней мере ему слышалось. Потом выяснилось, что он хотел сказать: «Завтра зайду проведать». Не говорят ни на одном языке, кроме своего дурацкого французского, и еще делаю обиженное лицо, когда вы сами не можете на нем объясняться.

Сомса долго продержали без известий; наконец пришел Майкл.

– Ну?

– Что ж, сэр, очень смахивает на корь.

– Гм! И где только он мог ее подцепить?

– Няня просто ума не приложит; но Кит страшно общительный. Стоит ему завидеть другого ребенка, как он бежит к нему.

– Это плохо, – сказал Сомс. – У вас тут рядом трущобы.

– Да, – сказал Майкл: – справа трущобы, слева трущобы, прямо трущобы – куда пойдешь?

Сомс сделал большие глаза.

– Хорошо еще, что не подлежит регистрации, – сказал он.

– Что, трущобы?

– Нет, корь. – Если он чего боялся, так это болезни, подлежащей регистрации: явятся представители власти, будут всюду совать свой нос, еще, чего доброго, заставят сделать дезинфекцию.

– Как себя чувствует мальчуган?

– Преисполнен жалости к самому себе.

– По-моему, – сказал Сомс, – блохи не так уж безвредны, как о них говорят. Эта его собака могла подцепить коревую блоху. Как это доктора до сих пор не обратили внимания на блох?

– Как это они еще не обратили внимания на трущобы, – сказал Майкл, от них и блохи.

Сомс опять сделал большие глаза. Теперь его зять, как видно, помешался на трущобах! Очень беспокойно, когда в нем начинает проявляться общественный дух. Может быть, он сам бывает в этих местах и принес на себе блоху или еще какую-нибудь заразу.

– За доктором послали?

- Да, ждем с минуты на минуту.
- Толковый, или шарлатан, как все?
- Тот же, которого мы приглашали к Флер.
- О! А! Помню – слишком много мнит о себе, но не глуп. Уж эти доктора!

В изящной комнате воцарилось молчание: они ждали звонка; и Сомс размышлял. Рассказать Майклу о том, что сегодня случилось? Он открыл было рот, но из него не вылетело ни звука. Уж сколько раз Майкл поражал его своими взглядами. И он все смотрел на зятя, а тот глядел в окно. Занятое у него лицо, некрасивое, но приятное, эти острые уши, и брови, разбегающиеся вверх, – не думает вечно о себе, как все красивые молодые люди. Красивые мужчины всегда эгоисты – верно, избалованы. Хотел бы он знать, о чем задумался этот молодой человек!

– Вот он! – сказал Майкл, вскакивая с места.

Сомс опять остался один. На сколько времени, он не знал, – он был утомлен и вздремнул, несмотря на тревогу. Звук открывающейся двери разбудил его, и он успел принять озабоченный вид прежде, чем Флер заговорила.

– Почти наверно корь.

– О, – протянул Сомс. – Как насчет ухода?

– Няня и я, конечно.

– Значит, тебе нельзя будет выходить? «А ты разве не рад этому?» словно сказала ее лицо. Как она читает у него в мыслях! Видит бог, он не рад ничему, что огорчает ее, а между тем...

– Бедный малыш, – сказал он уклончиво. – Нужно вызвать твою мать. Постараюсь найти что-нибудь, чтобы развлечь его.

– Не стоит, папа, у него слишком сильный жар, у бедняжки. Обед подан, я буду обедать наверху. Сомс встал и подошел к ней.

– Ты не тревожься, – сказал он. – У всех детей... Флер подняла руку.

– Не подходи близко, папа. Нет, я не тревожусь.

– Поцелуй его от меня, – сказал Сомс. – Впрочем, ему все равно. Флер взглянула на него. Губы ее чуть-чуть улыбнулись. Веки мигнули два раза. Потом она повернулась и вышла, и Сомс подумал: «Она – вот бедняжка! Я ничем не могу помочь!» О ней, а не о внуке были все его мысли.

IV. В «ЛУГАХ»

В «Лугах» св. Августина когда-то, без сомнения, росли цветы, и по воскресеньям туда приезжали горожане погулять и нарвать душистый букет. Теперь же, если там еще и можно было увидеть цветы, то разве только в алтаре церкви преподобного Хилери или у миссис Хилери на обеденном столе. Остальная часть многочисленного населения знала об этих редкостных творениях природы только понаслышке, да изредка, завидев их в корзинах, восклицала: «Эх, хороши цветочки!» В день Аскотских скачек, когда Майкл, верный своему обещанию, явился навестить дядю, его спешно повели смотреть, как двадцать маленьких «августинцев» отправляют в открытом грузовике провести две недели среди цветов в их естественном состоянии. В толпе ребят стояла его тетя Мэй – женщина высокого роста, стриженная, с рыжеватыми седеющими волосами и с тем слегка восторженным выражением, с которым обычно слушают музыку. Улыбка у нее была очень добрая, и все любили ее за эту улыбку и за манеру удивленно вздергивать тонкие брови, словно недоумевая: «Ну что же дальше?» В самом начале века Хилери нашел ее в доме приходского священника в Хэнтингдоншире, и двадцати лет она вышла за него замуж. С тех пор она не знала свободного часа. Два ее сына и дочь уже поступили в школу, так что во время учебного года семью ее составляли всего только несколько сот августинцев. Хилери случалось говорить: «Не налюбуюсь на Мэй. Теперь, когда она остриглась, у нее оказалось столько свободного времени, что мы думаем заняться

разведением морских свинок. Если бы она еще позволила мне не бриться, мы бы действительно успели кое-что сделать». Увидев Майкла, она улыбнулась ему и вздернула брови.

– Молодое поколение Лондона, – вполголоса сообщила она, – отбывает в Ледерхед. Правда, милые? Майкла и в самом деле удивил здоровый и опрятный вид двадцати юных августинцев. Судя по улицам, с которых их собрали, и по матерям, которые пришли их проводить, семьи, очевидно, приложили немало усилий, чтобы снарядить их в дорогу. Он стоял и приветливо улыбался, пока ребят выводили на раскаленный тротуар под восхищенными взорами матерей и сестер. Ими набили грузовик, открытый только сзади, и четыре молодые воспитательницы втиснулись в него следом за ними.

– «Двадцать четыре цыпленка в этот пирог запекли», – вспомнил Майкл детскую песенку. Тетка его рассмеялась.

– Да, бедняжки, и жарко им будет! Но правда, они славные? – она понизила голос. – А знаешь, что они скажут через две недели, когда вернутся? «Да, да, спасибо, было очень хорошо, только малость скучно. Нам больше нравится на улицах». Каждый год та же история.

– А зачем их тогда возить, тетя Мэй?

– Они поправляются физически; вид у них крепкий, но на самом деле они не могут похвастаться здоровьем. А потом так ужасно, что они никогда не видят природы. Конечно, Майкл, мы выросли в деревне и не можем понять, что представляют для детей лондонские улицы – без пяти минут рай, знаешь ли.

Грузовик тронулся, вслед ему махали платками, выкрикивали напутствия.

– Матери любят, когда увозят ребят, – сказала тетя Мэй, – это льстит их самолюбию. Ну так. Что тебе еще показать? Улицу, которую мы только что купили и собираемся потрошить и фаршировать заново? Хилери, верно, там с архитектором.

– Кому принадлежала улица? – спросил Майкл.

– Владелец жил на Капри. Вряд ли он когда и видел ее. На днях он умер, и мы получили ее за сравнительно небольшие деньги, если принять во внимание близость к центру. Земельные участки стоят недешево.

– Вы заплатили за нее?

– О нет! – она вздернула брови. – Отсрочили чек до второго пришествия.

– Боже правый!

– Никак нельзя было упустить эту улицу. Мы внесли аванс, остальную сумму надо достать к сентябрю.

– Сколько? – спросил Майкл.

– Тридцать две тысячи.

Майкл ахнул.

– Ничего, милый, достанем. Хилери в этом отношении молодец. Вот и пришли.

Это была изогнутая улица, на которой, по мере того как они медленно шли вперед, каждый дом казался Майклу более ветхим, чем предыдущий. Закопченные, с обвалившейся штукатуркой, сломанными решетками и разбитыми окнами, словно брошенные на произвол судьбы, как наполовину выгоревший корабль, они поражали взгляд и сердце своей заброшенностью.

– Что за люди тут живут, тетя Мэй?

– Всякие – по три-четыре семьи в каждом доме. Торговцы с Ковент-Гардена, разносчики, фабричные работницы – мало ли кто. Прозаических насекомых изобилие, Майкл. Работницы трогательные – хранят свои платья в бумажных пакетах. Многие очень недурно одеваются. Иначе, впрочем, их бы уволили, бедных.

– Но неужели у людей еще может быть желание здесь жить?

Брови тетки задумчиво сдвинулись.

– Тут, милый, не в желании дело. Просто экономические соображения. Где еще они могли бы жить так дешево? И даже больше: куда им вообще идти, если их выселят? Тут

неподалеку власти недавно снесли целую улицу и построили громадный многоквартирный дом для рабочих; но тем, кто раньше жил на этой улице, квартирная плата оказалась не по карману, и они попросту рассосались по другим трущобам. А кроме того, им, знаешь ли, не по вкусу эти дома-казармы, и я их понимаю. Им хочется иметь целый домик, а если нельзя – целый этаж в невысоком доме. Или хотя бы комнату. Это свойство английского характера, и оно не изменится, пока мы не научимся лучше проектировать рабочие жилища. Англичане любят нижние этажи, наверно, потому, что привыкли. А, вот и Хилери!

Хилери Черрел, в темно-серой куртке, с расстегнутым отложным воротничком и без шляпы, стоял в подъезде одного из домов и беседовал с каким-то худощавым мужчиной, узкое лицо которого очень понравилось Майклу.

– А, Майкл, ну что ты скажешь о Слэнт-стрит, мой милый? Все эти дома до единого мы выпотрошим и вычистим так, что будет любо-дорого смотреть.

– Сколько времени они останутся чистыми, дядя Хилери?

– О, в этом отношении беспокоиться не приходится, – сказал Хилери, у нас уже есть некоторый опыт. Предоставь им только эту возможность, люди с радостью будут поддерживать у себя чистоту. Они и так чудеса творят. Иди посмотри, только не прикасайся к стенам. Ты, Мэй, останься, поговори с Джемсом. Здесь живет ирландка; у нас их немного. Можно войти, миссис Корриган?

– Неужели же нельзя? Рада видеть ваше преподобие, хоть не больно у меня сегодня прибрано.

Плотная женщина с черными седеющими волосами, засучив по локоть рукава на мощных руках, оторвалась от какого-то дела, которым была занята в комнате, до невероятия заставленной и грязной. На большой постели спали, по-видимому, трое, и еще кто-то на койке; еда, очевидно, приготавливалась в небольшом закопченном камине, над которым хранились на полке трофеи памятных событий за целую жизнь. На веревке сушилось белье. На заплатанных, закоптелых стеках не было ни одной картины.

– Мой племянник Майкл Монт, миссис Корриган; он член парламента.

Ирландка подбоченилась.

– Неужто?

Бесконечное снисхождение, с которым это было сказано, поразило Майкла в самое сердце.

– А верно мы слышали, будто ваше преподобие купили всю улицу? А что вы с ней будете делать? Уж не выселять ли нас надумали?

– Ни в коем случае, миссис Корриган.

– Ну, я так и знала. Я им говорила: «Скорей всего хочет почистить у нас внутри, а на улицу в жизни не выставит».

– Когда подойдет очередь этого дома, миссис Корриган, – а ждать, я думаю, не очень долго, – мы подыщем вам хорошее помещение, вы там поживете, а потом вернетесь к новым стенам, полам и потолкам, и будет у вас хорошая плита, и стирать будет удобно, и клопов не останется.

– Эх, вот это бы я посмотрела!

– Скоро увидите. Вот взгляни, Майкл, если я тут проткну пальцем обои, что только оттуда не ползет! Нельзя вам пробивать дырки в стенах, миссис Корриган.

– Что правда, то правда, – ответила миссис Корриган. – Как начал Корриган в прошлый раз вколачивать гвоздь, так что было! Там их не оберешься.

– Ну, миссис Корриган, рад видеть вас в добром здоровье. Всего хорошего, да скажите мужу, если его ослу нужен отдых, у нас в садике всегда найдется место. За хмелем в этом году поедете?

– А как же, – ответила миссис Корриган. – Всего вам хорошего, ваше преподобие; всего хорошего, сэр!

На голой обшарпанной площадке Хилери Черрел сказал:

– Соль земли, Майкл. Но подумай, каково жить в такой атмосфере! Хорошо еще, что они все лишены чувства обоняния.

Майкл засмеялся, глубоко вдыхая несколько менее спертый воздух.

– Сколько, по вашим подсчетам, надо времени, чтобы обновить эту улицу, дядя Хилери?

– Года три.

– А как вы думаете достать деньги?

– Выиграю, попрошу, украду. Вот здесь живут три работницы с фабрики «Петтер и Поплин». Их, конечно, нет дома. Чистенько, правда? Бумажные пакеты оценил?

– Послушайте, дядя, вы бы осудили девушку, которая пошла бы на что угодно, лишь бы не жить в таком доме?

– Нет, – сказал преподобный Хилери, – как перед богом говорю, не осудил бы.

– Вот за это я вас и люблю, дядя Хилери. Вы заставляете меня опять уверовать в церковь.

– Милый ты мой! – сказал Хилери. – Реформация – ничто по сравнению с тем, что творится последнее время в церковных делах. То ли еще увидишь! Я, впрочем, держусь того мнения, что в небольших дозах отделение церкви от государства было бы нам совсем не вредно. Пойдем к нам завтракать и поговорим о плане перестройки трущоб. И Джемса прихватим.

– Вот видишь ли, – продолжал он, когда они уселись вокруг обеденного стола в столовой его домика, – есть, я уверен, немало людей, которые с удовольствием вложили бы небольшую часть своего состояния под два с половиной процента, рассчитывая со временем получать четыре, будь у них уверенность, что тем самым они обеспечивают ликвидацию трущоб. Мы проделали кой-какие опыты и нашли, что вполне можем привести эти развалины в жилой вид, почти не повышая квартирной платы, и при этом выплачивать два с половиной процента нашим кредиторам. Если это возможно здесь, то возможно и во всех других районах, где частные общества по перестройке трущоб стали бы, как и мы, следовать тому принципу, что жителей трущоб никуда переселять не следует. Но нужны, разумеется, деньги – основной фонд перестройки трущоб – двухпроцентные облигации с купонами, подлежащие погашению через двадцать лет: из этого фонда общества по мере надобности брали бы средства для скупки и обновления трущобных участков.

– А как вы думаете погашать облигации через двадцать лет?

– О, так же, как и правительство, – выпуском новых.

– Однако, – сказал Майкл, – местные власти обладают большими полномочиями, у них больше шансов собрать эти деньги.

Хилери покачал головой.

– Полномочия – да; но власти медлительны, Майкл, – по сравнению с ними улитка кажется скороходом. Кроме того, они как раз занимаются переселением, так как взимают слишком высокую квартирную плату. Да это и не в английском духе, голубчик. Не любим мы почему-то быть обязанными властям и нести перед ними ответственность. А для муниципалитетов остается достаточно работы в трущобах, они и делают много полезного, но без помощи им с этим делом не сладить. Тут нужно человеческое отношение, нужно чувство юмора и вера, а это уж вопрос частной инициативы в каждом городе, где есть трущобы.

– А кто вам даст этот основной фонд? – спросил Майкл, поглядывая на брови тети Мэй, которые уже начали подергиваться.

– А вот, – подмигивая, сказал Хилери, – тут-то можно начать разговор о тебе. Я, собственно, затем и пригласил тебя сегодня.

– Вот так так! – сказал Майкл, чуть не подскочив над тарелкой с кашей.

– Совершенно верно, – сказал Хилери. – Но разве ты бы не мог устроить, чтобы объединенная комиссия от обеих палат выпустила воззвание? Основываясь на

проделанной нами работе, Джемс сможет дать тебе точные цифры. Пусть сами посмотрят, что тут творится. Ведь не может быть, Майкл, чтобы не нашлось десяти справедливых людей, которые дадут подбить себя на такое дело.

– Десять апостолов, – слабо ввернул Майкл.

– Пусть так, но Христа, собственно, незачем вмешивать в это дело, тут нет ничего абстрактного или сентиментального; ты бы мог к ним подъехать с любой стороны. Например, старый сэр Тимоти Фэнфилд с восторгом повоевал бы с трущобными домовладельцами. Дальше: мы ведь электрифицировали все кухни и собираемся продолжать в том же духе – значит есть приманка и для старика Шропшира. Да и нет надобности создавать комиссию только из членов обеих палат – в нее согласился бы войти сэр Томас Морсел, да, я думаю, и любой из известных врачей; можно бы завербовать парочку банкиров с примесью квакерской крови; и всюду найдется достаточно отставных генерал-губернаторов не у дел. Да если бы тебе еще удалось залучить в председатели члена королевской фамилии – дело было бы в шляпе.

– Бедный Майкл! – сказал ласковый голос тети Мэй. – Дай ты ему доесть кашу, Хилери!

Но Майкл не собирался братья за ложку: он видел, что здесь заваривается каша другого рода.

– Основной капитал для перестройки трущоб, – продолжал Хилери, – обслуживающий все общества по перестройке трущоб, существующие и проектируемые, если только они следуют принципу не переселять теперешних жильцов. Понимаешь, какой это создаст нам престиж в глазах жильцов? Мы пускаем их по верному пути и уж конечно будем следить, чтобы они опять не запустили своих жилищ.

– И вы думаете, это в ваших силах? – сказал Майкл.

– А ты наслушался разговоров, что в ваннах хранят уголь и овощи и все такое? Поверь мне, Майкл, все это преувеличено. Во всяком случае, у нас, частных работников, большое преимущество перед властями. Им приходится править – мы пытаемся руководить.

– Подогреть тебе кашу, милый? – предложила тетя Мэй.

Майкл отказался. Он понял, что тут и без подогревания жарко будет. Опять крестовый поход! В дяде Хилери, он всегда это знал, сохранилась кровь крестоносцев – во времена великих походов его предки именовались Керуаль, а теперь имя перешло в Чаруэл, а произносилось Черрел, согласно здравому английскому обычаю доставлять неприятности иностранцам.

– Я не для того хочу завербовать тебя, Майкл, чтобы ты сделал себе на этом карьеру, ведь ты, как-никак, аристократ.

– Спасибо на добром слове, – отозвался Майкл.

– Нет. Мне кажется, тебе просто нужно что-то делать, чтобы оправдать свое положение.

– Вы совершенно правы, – смиренно сказал Майкл, – вопрос только в том, это ли нужно делать.

– Безусловно, это, – сказал Хилери, размахивая ложечкой для соли, на которой был выгравирован герб Чаруэллоз. – А что же иначе?

– Вы никогда не слышали о фоггартизме, дядя Хилери?

– Нет; что это такое?

– Не может быть! – сказал Майкл. – Нет, вы правда ничего, о нем не слышали?

– Фоггартизм? К фанатизму отношения не имеет?

– Нет, – твердо сказал Майкл. – Вы здесь, конечно, погрязли в нищете и пороках, но все-таки это уж слишком. Вы-то, тетя Мэй, знаете, что это такое?

Брови тети Мэй опять напряженно сдвинулись.

– Кажется, припоминаю, – сказала она, – кто-то" помоему, говорил, что это галиматья!

Майкл простонал:

– А вы, мистер Джемс?

– Насколько я помню, это что-то, связанное с валютой?

– Вот полюбуйтесь, – сказал Майкл, – три интеллигентных, общественно настроенных человека никогда не слышали о фоггартизме, а я больше года только о нем и слышу.

– Ну что ж, – сказал Хилери, – а ты слышал о моем плане перестройки трущоб?

– Нет, конечно.

– По-моему, – сказала тетя Мэй, – вы сейчас покурите, а я приготовлю кофе. Я вспомнила, Майкл: это твоя мама говорила, что не дождется, когда ты бросишь им заниматься. Я только забыла название. Это насчет того, что городских детей надо отнимать у родителей.

– Отчасти и это, – сказал удрученный Майкл.

– Не надо забывать, милый, что чем беднее люди, тем больше они держатся за своих детей.

– Весь смысл и радость их жизни, – вставил Хилери.

– А чем беднее дети, тем больше они держатся за свои мостовые, как я тебе уж говорила.

Майкл сунул руки в карманы.

– Никуда я не пожусь, – сказал он безнадежным тоном. – Нашли с кем связываться, дядя Хилери.

Хилери и его жена очень быстро встали и оба положили руку ему на плечо.

– Голубчик! – сказала тетя Мэй.

– Да что с тобой? – сказал Хилери. – Возьми папироску.

– Ничего, – сказал Майкл ухмыляясь, – это полезно.

Папироска ли была полезна, или что другое, но он послушался и прикурил у Хилери.

– Тетя Мэй, какое самое жалостное на свете зрелище, не считая, конечно, пары, танцующей чарльстон?

– Самое жалостное зрелище? – задумчиво повторила тетя Мэй. – О, пожалуй, богач, слушающий плохой граммофон.

– Неверно, – сказал Майкл. – Самое жалостное зрелище на свете – это политический деятель, уверенный в своей правоте. Вот он перед вами!

– Мэй, не зевай! Закипела твоя машинка. Мэй делает прекрасный кофе, Майкл, лучшее средство от плохого настроения. Выпей чашку, а потом мы с Джемсом покажем тебе дома, которые мы уже обновили. Джемс, пойдем-ка со мной на минутку.

– Упорство его вызывает восторги, – вполголоса продекламировал Майкл, когда они исчезли.

– Не только восторги, милый, но и страх.

– И все-таки из всех людей, которых я знаю, я бы больше всего хотел быть дядей Хилери.

– Он и правда милый, – сказала тетя Мэй. – Кофе налить?

– Во что он, собственно, верит, тетя Мэй?

– О, на это у него почти не остается времени.

– Да, по этой линии церковь еще может на что-то надеяться. Все остальное – только попытки переплюнуть математику, как теория Эйнштейна. Правоверная религия была придумана для монастырей, а монастырей больше нет.

– Религия, – задумчиво протянула тетя Мэй, – в свое время сожгла много хороших людей, и не только в монастырях.

– Совершенно верно, когда религия вышла за монастырские стены, она превратилась в самую непримиримую политику, потом стала кастовым признаком, а теперь это кроссворд. Когда их разгадываешь, в чувствах нет ни малейшей необходимости.

Тетя Мэй улыбнулась.

- У тебя ужасные формулировки, милый.
 - У нас в палате, тетя Мэй, мы только формулировками и занимаемся, от них всякая движущая сила гибнет. Но вернемся к трущобам; вы правда советуете мне попробовать?
 - Если хочешь жить спокойно – нет.
 - Пожалуй, что и не хочу. После воины хотел, а теперь нет. Но, видите ли, я попробовал насаждать фоггартизм, а ни один здравомыслящий человек на него и смотреть не хочет. Не могу я опять браться за безнадежное дело. Как вы думаете, есть шансы получить поддержку общества?
 - Шансы минимальные, голубчик.
 - А вы на моем месте взяли бы?
 - Я, голубчик, пристрастна – Хилери так этого хочется; но и помимо этого мне думается, что ни в одном другом деле я не потерпела бы поражения с такой радостью. То есть это не совсем точно; просто нет ничего важнее, как создать для городского населения приличные жилищные условия.
 - Вроде как перейти в лагерь противника, – пробормотал Майкл. – Мы не должны связывать свое будущее с городами.
 - Оно все равно с ними связано, что бы ни делать. «Лучше синицу в руки», и такая большая синица, Майкл! А, вот и Хилери!
- Хилери и архитектор потащили Майкла в «Луга». Моросил дождь, и этот лишенный цветов квартал выглядел более безрадостным, чем когда-либо. По дороге Хилери прославлял добродетели своих прихожан. Они пьют, но куда меньше, чем было бы естественно в данных обстоятельствах; они грязные, но он, живя в их условиях, был бы грязнее. Они не ходят в церковь – но кто, скажите, ждет от них иного? Они так мало бьют своих жен, что об этом и говорить не стоит; они очень добры и очень неразумны по отношению к своим детям. Они обладают чудотворным умением прожить, не имея прожиточного минимума. Они помогают друг другу гораздо лучше, чем те, у кого есть на это средства; никогда не пользуются сберегательной кассой, так как сберегать им нечего; и не заботятся о завтрашнем дне, который может оказаться хуже сегодняшнего. Учреждений они гнушаются. Уровень их нравственности вполне нормальный для людей, живущих в такой тесноте. Философского мышления у них хоть отбавляй, религиозности, собственно, никакой. Их развлечения – это кино, улица, дешевые папиросы, бары и воскресные газеты. Они любят попеть, непрочь потанцевать, если представится случай. У них свои понятия о честности, требующие особого изучения. Несчастные? Да, пожалуй, и нет, раз они махнули рукой на всякое будущее, в этой ли жизни, или в иной, – реалисты они до кончиков своих заросших ногтей. Англичане? Да, почти все, и по преимуществу уроженцы Лондона. Кое-кто в молодости пришел из деревни и, конечно, не вернется туда в старости.
- Ты их полюбил бы, Майкл: их нельзя не полюбить, если узнаешь поближе. А теперь, голубчик, до свидания, и обдумай все это. На вас, молодежь, только и надеяться Англии, Всего тебе хорошего!
- И слова эти еще звучали у Майкла в ушах, когда он вернулся домой и узнал, что его сынишка заболел корью.

V. КОРЬ

Диагноз болезни Кита скоро подтвердился, и Флер перешла на положение затворницы.

Развлечения, которые Сомс старался найти для внука, прибывали почти каждый день. У одного были уши кролика и морда собаки, у другого хвост мула легко отделялся от туловища льва, третье издавало звук, похожий на жужжанье роя пчел; четвертое умещалось в жилетном кармане, но при желании растягивалось на целый фут. Все утра в городе Сомс проводил в добывании этих сокровищ, а также самых лучших мандаринов,

винограда «мускат» и меда, качество которого оправдывало бы этикетку. Он жил па Грин-стрит, куда в ответ на умело составленную телеграмму о болезни мальчика явилась и Аннет. Сомс, который еще не целиком ушел в духовную жизнь, искренне ей обрадовался. Но после одной ночи он почувствовал, что может уступить ее Флер. Для нее будет облегчением знать, что мать с ней рядом. Может быть, к тому времени, когда кончится ее затворничество, этот молодой человек окажется вне ее поля зрения. Такая серьезная домашняя забота может даже заставить ее забыть о нем. Сомс был недостаточно философом, чтобы до конца понять томление своей дочери. В глазах человека, родившегося в 1855 году, любовь была чисто личным чувством, или если не была таковым, то должна была быть. Ему и в голову не приходило, что в тоске Флер по Джону могла проявиться ее жажда жизни, всей жизни и только жизни; что Джон олицетворял собой ее первое серьезное поражение в борьбе за совершенную полноту – поражение" за которое, может быть, еще не поздно было расквитаться. Душа современной молодежи, пресыщенная и сложная, была для Сомса книгой если не за семью печатями, то с еще не разрезанными страницами. «Желать невозможного» стало принципом, когда для него всякие принципы уже утратили свое значение. Сознание, что есть предел человеческой жизни и счастью, было у него в крови, и его собственный опыт лишней раз убеждал его в этом. Он, правда, не определял жизнь как «наилучшее использование скверной ситуации», но, хотя был твердо убежден, что когда у вас есть почти все, то нужно добиваться остального, он все же считал, что нечего выходить из себя, если это не удастся. Яд поизносившейся религиозности, который до конца жизни заставлял истинно неверующих старых Форсайтов повторять положенные молитвы в смутной надежде, что после смерти они что-то за это получают, – этот яд до сих пор оказывал свое сдерживающее действие в организме их ненабожного отпрыска Сомса; так что, хоть он и был в общем уверен, что ничего не получит после смерти, но все же не считал, что получит все до смерти. Он сильно отстал от взглядов нового века, в число которых отнюдь не входила покорность судьбе, от века, который либо верил, опираясь на спиритизм, что есть немало шансов получить кое-что и после смерти, либо считал, что, так как умираешь раз и навсегда, надо постараться получить все, пока жив. Покорность судьбе! Сомс, разумеется, стал бы отрицать, что верит в такие вещи; и уж конечно он считал, что для дочери его все недостаточно хорошо! А вместе с тем в глубине души он чувствовал, что предел есть, а Флер этого чувства не знала, – и этой небольшой разницей, вызванной несходством двух эпох, и объяснялось, почему он не мог уследить за ее метаниями.

Даже в детской, огорченная и встревоженная тоскливым бредом лихорадящего сынишки. Флер продолжала метаться. Когда она сидела у кровати, а он метался и лепетал и жаловался, что ему жарко, дух ее тоже метался, роптал и жаловался. По распоряжению доктора она каждый день, приняв ванну и переодевшись, гуляла в течение часа одна; если не считать этого, она была совершенно отрезана от мира, только уход за Китом немного утешал боль в ее сердце. Майкл был к ней бесконечно внимателен и ласков; и в ее манере держаться ничто не выдавало желания, чтобы на месте его был другой. Она твердо придерживалась своей программы не дать ни о чем догадаться, но для нее было большим облегчением не видеть на себе полный заботы пылливый взгляд отца. Она никому не писала, но получила от Джона коротенькое сочувственное письмо.

"Уонсдон. 22 июня.

Милая Флер, Мы с большим огорчением узнали о болезни Кита. Ты, должно быть, очень переволновалась. Бедный малыш! От всей души надеемся, что самое неприятное уже позади У меня в памяти корь осталась как два отвратительных дня, а потом масса чего-то вкусного и мягкого. Но он, наверно, еще слишком мал и понимает только, что ему очень не по себе.

Рондавелю скачки, говорят, пошли на пользу. Приятно, что мы побывали там вместе. До свидания, Флер, желаю тебе всего лучшего. Любящий тебя друг Джон"

Она сохранила это письмо, как хранила когда-то его прежние письма, но не носила с

собой, как те на слове «друг» появился мутный кружок, подозрительно похожий на слезу; кроме того, Майкл мог застать ее в любой стадии туалета. И она убрала письмо в шкатулку с драгоценностями, ключ от которой хранился только у нее.

Эти дни она много читала вслух Киту и еще больше сама, так как чувствовала, что за последнее время отстала от новейших течений в литературе; и, развлечение она находила не столько в персонажах, слишком полных жизни, чтобы быть живыми, сколько в попытке угнаться за современностью. Так много было души в этих персонажах, и такой замысловатой души, что она никак не могла сосредоточиться на них, чтобы понять, почему же они не живые. Майкл приносил ей книгу за книгой и сообщал: «Говорят, умно написано», или: «Вот последняя вещь Нэйзинга», или: «Опять наш старый приятель Кэлвин – не так солено, как та его книга, но все-таки здорово». И она сидела и держала их на коленях и постепенно начинала чувствовать, что знает достаточно, чтобы при случае сказать: «О да, „Мегеры“ я читала, очень напоминает Пруста», или «Любовьхамелеон»? Да, это сильнее, чем ее, Зеленые пещеры", но все-таки не то, что «Обнаженные души», или: «Непременно прочтите „Карусель“, дорогая, там такой изумительно непонятный конец».

Порой она беседовала с Аннет, но сдержанно, как подобает дочери с матерью после известного возраста; беседы их, собственно, сводились к выяснению проблем, так или иначе касающихся туалетов. Будущее, по словам Аннет, было полно тайны. Короче или длиннее юбки будут носить осенью? Если короче, то ее лично это не коснется; для Флер это, конечно, имеет значение, но сама она дошла до предела – выше колен юбку она не наденет. Что касается фасона шляп, то и тут ничего нельзя сказать определенно. Самая элегантная кокетка Парижа, по слухам, ратует за большие поля, но против нее орудуют темные силы – автомобильная езда и мадам де Мишель-Анж, «qui est toute [pour la vieille cloche]». Флер интересовало, слышала ли сна что-нибудь новое относительно стрижек. Аннет, которая еще не остриглась, хотя голова ее уже давно трепетала на плахе, призналась, что она *desesperee*. Все теперь зависит от берегов. Если они привыются, женщины будут продолжать стричься; если нет – возможно, что волосы опять войдут в моду. Во всяком случае модным оттенком будет чистое золото; «*et cela est impossible. Ton pere aura une apoplexie*». Так или иначе, Аннет опасалась, что осуждена до конца дней своих носить длинные волосы. Может быть, добрый бог поставит ей за это хорошую отметку.

– Если тебе хочется остричься, мама, я бы не стала смущаться. Папа просто консерватор – он сам не знает, что ему нравится, пусть испытает новое ощущение.

Аннет скорчила гримасу.

– *Ma chere, je n'en sais rien*. Твой отец на все способен.

Человек, «способный на все», ежедневно приходил на полчаса, сидел перед картиной Фрагонара, выпытывая новости у Майкла или Аннет, потом неожиданно изрекал: "Ну, привет Флер; рад слышать, что малышу лучше! Или: «Боли у него, наверно, от газов, А все-таки лучше пригласили бы опять этого, как его... Привет Флер». И в холле он останавливался на минутку около саркофага, прислушивался, Потом, поправив шляпу, бормотал что-то вроде: «Ничего не поделаешь!» или «Мало она бывает на воздухе», – и уходил.

А Флер с облегчением, которого она сама стыдилась, смотрела из окна детской, как он удаляется угрюмой, размеренной походкой. Бедный, старый папа! Не его вина, что сейчас он олицетворяет в ее глазах угрюмую, размеренную поступь семейной добродетели. Да, надежда Сомса, что вынужденное сидение дома исцелит ее, что-то не оправдывалась. После первых тревожных дней, когда у Кита еще держалась высокая температура. Флер испытала как раз обратное. Ее чувство к Джону, в котором был теперь элемент страсти, незнакомой ей до замужества, росло, как всегда растут такие чувства, когда ум не занят, а тело лишено воздуха и движения. Оно расцветало, как пересаженный в теплицу цветок. Мысль, что ее обобрали, не давала ей покоя. Неужели им с Джоном

никогда не вкусить золотого яблока? Неужели оно так и будет висеть, недостижимое, среди темной глянцевитой листвы, совсем не похожей на листву яблони? Она достала свой старый ящик с акварельными красками – давно она не извлекала его на свет – и изобразила фантастическое дерево с большими золотыми плодами.

За этим занятием застал ее Майкл.

– А здорово, – сказал он. – Ты напрасно забросила акварель, старушка.

Флер ответила напряженно, словно прислушиваясь к тому, что крылось за его словами:

– Просто от нечего делать.

– А какие это фрукты?

Флер рассмеялась.

– Вот в том-то и суть! Но это, Майкл, душа, а не тело фруктового дерева.

– Как я не сообразил, – устыдился Майкл. – Во всяком случае, можно мне повесить его в кабинете, когда будет готово? Сделано с большим чувством.

В душе Флер шевельнулась благодарность.

– Сделать надпись «Несъедобный плод»?

– Ни в коем случае, он такой сочный и вкусный на вид; только есть ею пришлось бы над миской, как манго.

Флер опять засмеялась.

– Как тогда на пароходе, – сказала она и подставила щеку наклонившемуся над ней Майклу. Пусть хоть он не догадывается о ее чувствах.

И правда, французская кровь в ней никогда не остывала в близости с тем, кто будил нежность, но не любовь; а пряная горечь, которой была окрашена кровь почти всех Форсайтов, помогала ей видеть забавную сторону ее положения. Она по-прежнему была далеко не несчастной женой хорошего товарища и прекрасного человека, который, что бы она ни сделала, сам никогда не поступит низко или невеликодушно. Брезгливое отвращение к нелюбимым мужьям, о котором она читала в старинных романах и которым, она знала, так грешила первая жена ее отца, казалось ей порядочной нелепостью. Совместительство было в моде; духовная верность, логически распространяющаяся на движения тела, была чем-то от каменного века или, во всяком случае, от века Виктории и мещанства. Следуя по этому пути, никогда не достигнешь полноты жизни. А между тем, откровенное язычество, воспеваемое некоторыми мастерами французской и английской литературы, тоже претило Флер своей неумолимо логичной привычкой во всем доходить до конца. Для этого с ее крови не хватало яда, Флер отнюдь не была одержима манией пола; до сих пор сна почти и не сталкивалась с этим мучительным вопросом. Но теперь в ее чувстве к Джону было не только прежнее, но и новое; и целые дни проходили в планах: как бы, снова вырвавшись на свободу, увидеть его и услышать его голос, и прижаться к нему, как прижималась она к нему у ограды ипподрома, когда мимо них стрелой проносились лошади.

VI. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

Майкл между тем был не так ослеплен, как она думала, потому что, когда двое живут вместе и один из них еще влюблен, он чутьем улавливает всякую перемену, как газель чует засуху. Еще были неприятно свежи воспоминания об этом завтраке и о визите к Джун. Он старался найти утешение в общественной жизни – великом болеутоляющем средстве от жизни личной – и решил не жалеть сил для осуществления планов дяди Хилери по перестройке трущоб. Подбрав необходимую литературу и сознавая, что общественные группы действуют по принципу центрифуги, он стал обдумывать, с кого начать свой поход. Какую фигуру видного общественного деятеля поставить ему в центре комитета? Сэр Тимоти Фэнфилд и маркиз Шропшир очень пригодятся в свое время, но, хотя они достаточно известны своими причудами, не им пробить дорогу к широкой

публике. Необходима известная доля магнетизма. Им не обладал ни один из банкиров, которых он мог припомнить, уж конечно ни один юрист или представитель духовенства, а всякому военному, который пустился бы в реформы, было обеспечено презрение общества до тех пор, пока его реформы не претворятся в жизнь, то есть фактически до самой смерти. Хорошо бы адмирала, но до них не добраться. На отставных премьер-министров слишком большой спрос, к тому же им идет во вред принадлежность к той или иной партии; а литературные кумиры либо слишком стары, либо слишком заняты собой, либо ленивы, либо очень уж неустойчивы в своих взглядах. Остаются врачи, дельцы, генерал-губернаторы, герцоги и владельцы газет. Вот тут-то Майкл решил обратиться за советом к своему отцу.

Сэр Лоренс, который во время болезни Кита тоже почти каждый день заходил на Саут-сквер, вставил в глаз монокль и добрых две минуты молчал.

– Что ты понимаешь под магнетизмом, Майкл? Лучи заходящего или восходящего солнца?

– По возможности и то и другое, папа.

– Трудно, – сказал сэр Лоренс, – трудно. Верно одно – умный человек для вас слишком большая роскошь. То есть как?

Слишком тяжело пришлось публике от умных людей, а в Англии, Майкл, ум не так уж и ценят. Характер, мой милый, характер!

Майкл застонал.

– Знаю, знаю, – сказал сэр Лоренс, – вы, молодежь, считаете, что это понятие устарелое. – И вдруг он так вздернул свободную бровь, что монокль упал на стол. – Эврика! Уилфрид Бентуорт! Как раз подходит – «последний из помещиков возглавляет трущобную реформу» – вот это здорово, как теперь говорят.

– Старик Бентуорт? – нерешительно повторил Майкл.

– Он не старше меня – шестьдесят восемь, и не имеет никакого касательства к политике.

– Но ведь он глуп?

– Ну, заговорило молодое поколение! Грубоват и смахивает на лакея с усами, но глуп – нет. Три раза отказывался от звания пэра. Подумай, какое впечатление это произведет на публику!

– Уилфрид Бентуорт? Никогда бы я не вспомнил о всегда думал, что он честный человек и больше никто – удивлялся Майкл.

– Но он и правда честный!

– Да, но он всегда сам об этом говорит.

– Это верно, – сказал сэр Лоренс, – но нельзя же совсем без недостатков. У него двадцать тысяч акров, он увлекается вопросом откорма скота. Состоит членом правления железной дороги, почетный председатель крикетного клуба в своем графстве, попечитель крупной больницы. Его все знают. Члены королевского дома приезжают к нему охотиться, родословную ведет еще от саксов и больше чем кто бы то ни было в наше время приближается к типу Джона Буля. Во всякой другой стране его участие погубило бы любой проект, но в Англия... Да, если тебе удастся его залучить, дело твое наполовину сделано.

Майкл с веселой усмешкой взглянул на своего родителя. Вполне ли Барг понимает современную Англию? Он наспех окинул мысленным взором разные области общественной жизни. А ведь – честное слово – понимает!

– Как к нему подъехать, папа? А сами вы не хотели бы войти в комитет? Вы с ним знакомы, мы могли бы отправиться вместе.

– Если тебе правда этого хочется, – в тоне сэра Лоренса прозвучала грустная нотка, – я согласен. Пора мне опять заняться делом.

– Чудесно! Я начинаю понимать ваше мнение о Бентуорте. Вне всяких подозрений: богат настолько, что выиграть ему на этом деле нечего, и недостаточно умен, чтобы

обмануть кого-нибудь, если б и захотел.

Сэр Лоренс кивнул.

– Еще прибавь его внешность; это колоссально много значит в глазах народа, который махнул рукой на сельское хозяйство. Нам все еще мила мысль о говядине. Этим объясняется немало случаев подбора наших вождей за последнее время. Народ, который оторвался от корня и плывет по течению, сам не зная куда, ищет в своих вождях грубости, говядины, грога или хотя бы портвейна. В этом есть что-то умильное, Майкл. Что у нас сегодня – четверг? Помнится, в этот день у Бентуорта заседание правления. Что ж, будем ковать железо, пока горячо? Мы почти наверно поймаем его в клубе.

– Отлично! – сказал Майкл, и они отправились.

– Этот клуб, собственно, объединяет путешественников, – говорил сэр Лоренс, поднимаясь по ступеням «Бэртон-Клуба», – а Бентуорт, кажется, на милую не отъезжал от Англии. Видишь, в каком он почете. Впрочем, я несправедлив. Сейчас вспомнил – он в бурскую войну командовал отрядом кавалерии. Что, «помещик» в клубе, Смайлмен?

– Да, сэр Лоренс, только что пришел.

«Последний из помещиков» действительно оказался у телеграфной ленты. Его румяное лицо с подстриженными белыми усами и жесткими белыми бачками словно говорило, что не он пришел за новостями, а они явились к нему. Казалось, пусть обесценивается валюта и падают правительства, пусть вспыхивают войны и проваливаются стачки, но не согнется плотная фигура, не дрогнут спокойные голубые глаза под приподнятыми у наружных концов бровями. Большая лысина, коротко подстриженные остатки волос, выбрит как никто; а усы, доходящие как раз до углов губ, придавали необычайную твердость добродушному выражению обветренной физиономии.

Переводя взгляд с него на своего отца – тонкого, быстрого, верткого, смуглого, полного причуд, как болото бекасов. – Майкл смутился. Да, Уилфриду Бентуорту вряд ли свойственны причуды! «И как ему удалось не впутаться в политику – ума не приложу!» – думал Майкл.

– Бентуорт, это – мой сын, государственный деятель в пеленках. Мы пришли просить вас возглавить безнадежное предприятие. Не улыбайтесь! Вам не отвертеться, как говорят в наш просвещенный век. Мы намерены прикрыть вами прорыв.

– А? Что? Садитесь. Вы о чем?

– Дело идет о трущобах; «не поймите превратно», как сказала дама. Начинай, Майкл.

Майкл начал. Он развил тезисы Хилери, привел ряд цифр, разукрасил их всеми живописными подробностями, какие смог припомнить, и все время чувствовал себя мухой, которая нападает на быка и с интересом следит за его хвостом.

– И когда в стенку вбивают гвоздь, сэр, – закончил он, – оттуда так и ползет.

– Боже милостивый, – сказал вдруг «помещик», – боже милостивый!

– Насчет «милости» приходится усомниться, – вернул сэр Лоренс.

«Помещик» уставился на него.

– Богохульник вы эдакий, – сказал он. – Я незнаком с Черрелом; говорят, он выжил из ума.

– Нет, я не сказал бы, – мягко возразил сэр Лоренс, – он просто оригинален, как почти все представители древних фамилий.

Образчик старой Англии, сидевший напротив него, подмигнул.

– Вы ведь знаете, – продолжал сэр Лоренс, – род Черрелов был уже стар, когда этот, пройдоха-адвокат, первый Монт, положил нам начало при Иакове Первом.

– О, – сказал «помещик», – так это ему вы обязаны жизнью? Не знал.

– Вы никогда не занимались трущобами, сэр? – спросил Майкл, чувствуя, что нельзя их пускать в странствия по лабиринтам родословных.

– Что? Нет. Надо бы, наверно. Бедняги!

– Тут важна не столько гуманитарная сторона, – нашелся Майкл, сколько ухудшение

породы.

– М-м, – сказал «помещик», – а вы что-нибудь понимаете в улучшении породы?

Майкл покачал головой.

– Ну, так поверьте мне, тут почти все дело в наследственности. Население трущоб можно откормить, но переделать его характер невозможно.

– Не думаю, что у них такой уж плохой характер, – сказал Майкл, – детишки почти все светловолосые, а это, по всей вероятности, значит, что в них сохранились англосаксонские черты.

Он заметил, как его отец подмигнул. «Ай да дипломат!» – казалось, говорил он.

– Кого вы имеете в виду для комитета? – неожиданно спросил «помещик».

– Моего отца, – сказал Майкл. – Думали еще о маркизе Шропшир.

– Да из него песок сыплется!

– Но он еще молодцом, – сказал сэр Лоренс. – У него хватит резвости электрифицировать весь мир.

– Еще кто?

– Сэр Тимоти Фэнфилд...

– Ох и бесцеремонный старикашка! Да?

– Сэр Томас Морсел...

– Гм!

Майкл поспешил добавить:

– Или какой-нибудь другой представитель медицинского мира, о ком вы лучшего мнения, сэр.

– Нет таких. Вы это уверены – насчет клопов?

– Безусловно!

– Что ж, надо мне повидать Черрела. Он, говорят, способен даже осла убедить расстаться с задней ногой.

– Хилери хороший человек, – вставил сэр Лоренс, – правда, хороший.

– Итак, Монт, если он придется мне по вкусу, я согласен. Не люблю паразитов.

– Серьезное национальное начинание, сэр, – начал Майкл, – и никто...

«Помещик» покачал головой.

– Не заблуждайтесь, – сказал он. – Может, соберете несколько фунтов, может, отделаетесь от нескольких клопов; но национальные начинания этого у нас не существует...

– Крепкий старик, – сказал сэр Лоренс, спускаясь по ступеням клуба. Ни разу в жизни не выказал энтузиазма, Из него выйдет превосходный председатель. По-моему, ты убедил его, Майкл. Ты хорошо сыграл на клопах. Теперь можно поговорить с маркизом, К Бентуорту и герцог пошел бы на службу. Они знают, что он более древнего рода, чем они сами, и что-то в нем есть еще.

– Да, но что?

– Как тебе сказать, он не думает о себе; неизменно спокоен, и ему в высшей степени наплевать на все и на всех.

– Не может быть, что только в этом дело.

– Ну, скажу еще. Дело в том, что он мыслит, как мыслит Англия, а не так, как ей мыслится, что она мыслит.

– Ого! – сказал Майкл. – Ну и диагноз! Пообедаем, сэр?

– Да, зайдем в «Партенеум». Когда меня принимали в члены, я думал, что и заходить сюда не буду, а вот, знаешь ли, провожу тут довольно много времени. Во всем Лондоне не найти места, которое больше напоминало бы Восток. Йог не нашел бы к чему придраться. Я прихожу сюда и сижу в трансе, пока не наступит время уходить. Ни звука, никто не подойдет. Нет низменного, материального комфорта. Преобладающий цвет – цвет Ганга. И непостижимой мудрости здесь больше, чем где бы то ни было на Западе. Не будем заказывать ничего экстренного. Клубный обед готовится с расчетом умерить всякие

восторги. Завтрак получить нельзя, если член клуба приводит гостя. Где-то ведь нужно положить предел гостеприимству.

– Теперь, – начал он снова, когда они умили свои восторги, – можно пойти к маркизу. Я не встречался с ним после этой истории с Марджори Феррар. Будем надеяться, что у него нет подагры...

На Керзон-стрит им сказали, что маркиз пообедал и прошел в кабинет.

– Если он уснул, не будите, – сказал сэр Лоренс.

– Его светлость никогда не спит, сэр Лоренс.

Маркиз писал что-то, когда они вошли; он отложил перо и выглянул из-за письменного стола.

– А, Монт, – сказал он, – очень рад! – Потом осекся. – Надеюсь, не по поводу моей внучки?

– Совсем нет, маркиз. Нам просто нужна ваша помощь в общественном начинании в пользу бедных. Дело идет о трущобах.

Маркиз покачал головой.

– Не люблю вмешиваться в дела бедных: чем беднее люди, тем больше надо считаться с их чувствами.

– Мы совершенно с вами согласны, сэр; но позвольте моему сыну объяснить в чем дело.

– Так, садитесь. – Маркиз встал, поставил ногу на стул и, опершись локтем о колено, склонил голову набок.

Во второй раз за этот день Майкл пустился в объяснения.

– Бентуорт? – сказал маркиз. – У него шортгорны не плохи; крепкий старик, но отстал от века.

– Поэтому мы и приглашаем вас, маркиз.

– Дорогой мой Монт, я стар.

– Мы пришли к вам именно потому, что вы так молоды.

– Честно говоря, сэр, – сказал Майкл, – мы думали, что вам захочется вступить в инициативный комитет, потому что, по плану моего дяди, предусмотрена электрификация кухонь; нам нужен человек, авторитетный в этом деле, который смог бы продвигать его.

– А, – сказал маркиз, – Хилери Черрел – я как-то слышал его проповедь в соборе святого Павла. Очень интересно! А как относятся к электрификации обитатели трущоб?

– Пока ее нет – разумеется, никак; но когда дело будет сделано, они сумеют ее оценить.

– Гм, – сказал маркиз. – На своего дядюшку вы, надо полагать, возлагаете большие надежды?

– О да, – подхватил Майкл, – а на электрификацию тем более.

Маркиз кивнул.

– С этого и надо начинать. Я подумаю. Горе в том, что у меня нет денег; а я не люблю взывать к другим, когда сам не могу оказать сколько-нибудь существенного содействия.

Отец с сыном переглянулись. Отговорка была уважительная, и они ее не предусмотрели.

– Вряд ли вы слышали, – продолжал маркиз, – чтобы кто-нибудь хотел купить кружева *point de Venise*, настоящие? Или, – прибавил он, – у меня есть картина Морланда...

– Морланд? – воскликнул Майкл. – Мой тесть как раз недавно говорил, что ему нужен Морланд.

– А помещение у него хорошее? – печально спросив маркиз. – Это белый пони.

– О да, сэр; он серьезный коллекционер.

– И можно надеяться, что со временем картина перейдет государству?

– Есть все основания так полагать.

– Ну что же, может быть, он зайдет посмотреть? Картина еще ни разу не переходила из рук в руки. Если он даст мне рыночную цену, какая бы она ни была, это может разрешить нашу задачу.

– Вы очень добры.

– Нисколько, – сказал маркиз. – Я верю в электричество и ненавижу дым. Кажется, его фамилия Форсайт? Тут был процесс – моя внучка. Но это дело прошлое. Я полагаю, вы теперь помирились?

– Да, сэр. Я ее видел недели две назад, и мы очень хорошо поболтали.

– У вас, современной молодежи, память короткая, – сказал маркиз, новое поколение как будто уж и войну забыло. Вот не знаю, хорошо ли это. Вы как думаете, Монт?

– «Tout casse, tout passe..» , маркиз.

– О, я не жалуюсь, – сказал маркиз, – скорее наоборот. Кстати, вам в этот комитет нужно бы человека новой формации, с большими деньгами.

– А у вас есть такой на примете?

– Мой сосед, некий Монтросс – полагаю, что настоящая фамилия его короче, – он мог бы вам пригодиться. Нажил миллионы на резиновые подвязках. Знает секрет, как заставить их служить ровно столько, сколько нужно. Он иногда с тоской на меня поглядывает – я, видите ли, их не ношу. Может быть, если вы сошлетесь на меня... У него есть жена и еще нет титула. Полагаю, он не отказался бы поработать на пользу общества.

– Как будто и правда человек подходящий, – сказал сэр Лоренс. – Как вы думаете, можно рискнуть теперь же?

– Попробуйте, – сказал маркиз, – попробуйте. Я слышал, он много сидит дома. Не стоит останавливаться на полдороге; если нам действительно предстоит электрифицировать не одну и не две кухни, на это потребуются колоссальные суммы. Человек, который оказал бы в этом существенное содействие, заслуживает титула больше, чем многие другие.

– Вполне с вами согласен, – сказал сэр Лоренс, – истинная услуга обществу. Титулом, полагаю, соблазнять его не следует?

Маркиз покачал головой, опиравшейся о ладонь.

– По нашим временам – нет, – сказал он. – Только назовите имена его коллег. На интерес его к самому делу рассчитывать не приходится.

– Ну, не знаю, как благодарить вас. Мы дадим вам знать, примет ли Уилфрид Бенгуорт пост председателя, и вообще будем держать вас в курсе дела.

Маркиз снял ногу со стула и слегка поклонился в сторону Майкла.

– Приятно, когда молодых политических деятелей интересует будущее Англии, ведь никакая политика не избавит ее от будущего. А кстати, вы свою кухню, электрифицировали?

– Мы с женой думали об этом, сэр.

– Тут не думать надо, – сказал маркиз, – а делать.

– Сделаем непременно.

– Надо действовать, пока не кончилась стачка, – сказал маркиз. – Не знаю, есть ли что короче, чем память общества.

– Фью! – сказал сэр Лоренс у подъезда соседнего дома. – Да он все молодеет. Ну, будем считать, что фамилия здешнего владельца была раньше Мосс. А если так, спрашивается: хватит ли у нас ума на это дело?

И они не слишком уверенным взглядом окинули особняк, перед которым стояли.

– Самое лучшее идти напрямик, – сказал Майкл. – Поговорить о трущобах, назвать людей, которых мы надеемся завербовать, а остальное предоставить ему.

– По-моему, – сказал сэр Лоренс, – лучше сказать «завербовали», а не «надеемся завербовать».

– Стоит вам назвать имена, папа, как он поймет, что нам нужны его деньги.

– Это он и так поймет, мой милый.
– А деньги у него есть, это верно?
– Фирма Монтросс! Они изготавливают не только резиновые подвязки.
– Я думаю, лучше всего совершенно открыто бить на его великодушие. Вы ведь знаете, они очень великодушный народ.

– Нечего нам тут стоять, Майкл, и обсуждать, из чего соткана душа иудейского племени, Ну-ка, звони!

Майкл позвонил.

– Мистер Монтросс дома? Благодарю вас. Передайте ему, пожалуйста, эти карточки и спросите, можно ли нам зайти к нему ненадолго?

Комната, в которую их ввели, была, очевидно, особо предназначена для подобных посещений: в ней не было ничего такого, что можно с легкостью унести; стулья были удобные, картины и бюсты ценные, но большие.

Сэр Лоренс разглядывал один из бюстов, а Майкл – картину, когда дверь открылась и послышался голос:

– К вашим услугам, джентльмены.

Мистер Монтросс был невысок ростом и немного напоминал худого моржа, который был когда-то брюнетом, но теперь поседел; у него был нос с легкой горбинкой, грустные карие глаза и густые нависшие седеющие усы и брови.

– Нас направил к вам ваш сосед, сэр, маркиз Шропшир, – сразу начал Майкл. – Мы хотим образовать комитет, который обратился бы с воззванием для сбора средств на перестройку трущоб, – и он в третий раз пустился излагать подробности дела.

– А почему вы обратились именно ко мне, джентльмены? – спросил мистер Монтросс, когда он кончил.

Майкл на секунду запнулся.

– Потому что вы богаты, сэр, – сказал он просто.

– Это хорошо! – сказал мистер Монтросс. – Видите ли, я сам вышел из трущоб, мистер Монт, – так, кажется? – да, мистер Монт, я вышел оттуда и хорошо знаком с этими людьми. Я думал, не поэтому ли вы ко мне обратились.

– Прекрасно, сэр – сказал Майкл, – но мы, конечно, и понятия не имели.

– Так вот, это люди без будущего.

– Это-то мы и хотим изменить, сэр.

– Если вырвать их из трущоб и пересадить в другую страну, тогда может быть; но если оставить их на их улицах... – мистер Монтросс покачал головой. – Я ведь знаю этих людей, мистер Монт; если б они думали о будущем, то не могли бы жить. А если не думать о будущем – выходит, что его и нет.

– А как же вы сами? – сказал сэр Лоренс.

Мистер Монтросс перевел взгляд с Майкла на визитные карточки, которые держал в руке, потом поднял свои грустные глаза.

– Сэр Лоренс Монт, не так ли? Я еврей, это другое дело. Еврей всегда выйдет в люди, если он настоящий еврей. Почему польским и русским евреям не так легко выйти в люди – это у них на лицах написано, слишком в них много славянской или монгольской крови. Чистокровный еврей, как я, всегда выбьется.

Сэр Лоренс и Майкл переглянулись, словно хотели сказать: «Какой славный!»

– Я рос бедным мальчиком в скверной трущобе, – продолжал мистер Монтросс, перехватив их взгляд, – а теперь я... да, миллионер; но достиг я этого не тем, что швырял деньги на ветер. Я люблю помогать людям, которые и сами о себе заботятся.

– Так значит, – со вздохом сказал Майкл, – вас никак не прельщает наш план, сэр?

– Я посоветуюсь с женой, – тоже со вздохом ответил мистер Монтросс, Всего лучшего, джентльмены, я извещу вас письмом.

Уже темнело, когда оба Монта медленно двинулись к Маунт-стрит.

– Ну? – сказал Майкл,

Сэр Лоренс подмигнул.

– Честный человек, – сказал он. – Наше счастье, что у него есть жена.

– То есть?

– Будущая баронесса Монтресс уговорит его. Иначе ему незачем было бы с ней советоваться. Итого четверо, а сэр Тимоти – дело верное: владельцы трущобных домов его *betes noires*. Не хватает еще троих. Епископа всегда можно подыскать, только вот забыл, какой из них сейчас в моде; известный врач нам непременно нужен, и хорошо бы какого-нибудь банкира, а впрочем, может быть, обойдемся и твоим дядей, Лайонелем Черрелом, – он досконально изучил в судах темные стороны финансовых операций; и для Элисон мы нашли бы работу. А теперь, мой милый, спокойной ночи! Давно я так не уставал.

На углу они расстались, и Майкл направился к Вестминстеру. Он прошел вдоль стрельчатой решетки парка за Бэкингемским дворцом и мимо конюшен в направлении Виктория-стрит. Тут везде были премиленькие трущобы, хотя за последнее время, он слышал, за них взялись городские власти. Он шел кварталом, где за них взялись так основательно, что снесли целую кучу ветхих домов. Майкл смотрел на остатки стен, расцвеченных, как мозаикой, несодранными обоями. Что случилось с племенем, которое выгнали из этих развалин? Куда понесли они свои трагические жизни, из которых они умеют делать такую веселую комедию? Он добрался до широкого потока Виктория-стрит, пересек ее и, выбрав путь, которого, как ему было известно, следовало избегать, скоро очутился там, где покрытые коркой времени старухи дышали воздухом, сидя на ступеньках, и узкие переулки уводили в неисследованные глубины. Майкл исследовал их мысленно, но не на деле. Он задержался на углу одного из переулков, стараясь представить себе, каково тут жить. Это ему не удалось, и он быстро зашагал дальше и повернул к себе на Саут-сквер, к своему жилищу – такому безупречно чистому, с лавровыми деревьями в кадках, под датской крышей. И ему стало больно от чувства, знакомого людям, которым не безразлично их собственное счастье.

«Флер сказала бы, – думал он, уставившись на саркофаг, так как и он утомился, – сказала бы, что раз у этих людей нет эстетического чувства и нет традиций, ради которых стоило бы мыться, то они по крайней мере так же счастливы, как мы. Она сказала бы, что они извлекают столько же удовольствия из своей полуголодной жизни, сколько мы из ванн, джаза, поэзии и коктейлей. И в общем она права. Но признать это – какая капитуляция! Если это действительно так, то куда мы все идем? Если жизнь с клопами и мухами – все равно что жизнь без клопов и без мух, к чему тогда „порошок Китинга“ и все другие мечтания поэтов? „Новый Иерусалим“ Блэйка конечно возник на основе „Китинга“, а в основе „Китинга“ лежит нежная кожа. Значит, совсем не цинично утверждать, что цивилизация не для толстокожих. Может, у людей есть и души, но кожа у них есть несомненно, и прогресс реален, только если думать о нем, исходя из этого!»

Так думал Майкл, свесив ноги с саркофага; и, размышляя о коже Флер, такой чистой и гладкой, он пошел наверх.

Она только что приняла вечернюю ванну и стояла у окна своей спальни. Думала. О чем? О луне над сквером?

– Бедная узница, – сказал он, обнимая ее.

– Как странно шумит город по вечерам, Майкл. И, как подумаешь, – этот шум производят семь миллионов отдельных людей; и у каждого своя дорога.

– А между тем все мы идем в одну сторону.

– Никуда мы не идем, – сказала Флер. – Просто быстро двигаемся.

– Какое-то направление все же есть, девочка.

– Да, конечно, – перемена.

– К лучшему или к худшему; но и это уже направление.

– Может быть, мы все идем к пропасти, а патом – ух!

– Как гадаринские свиньи?

– Ну, а если и так?

– Я согласен, – сказал удрученный Майкл, – все мы висим на волоске; но ведь есть еще здравый смысл.

– Здравый смысл – когда есть страсть? Майкл разжал руки.

– Я думал, ты всегда стоишь за здравый смысл. Страсть? Страсть к обладанию? Или страсть к знанию?

– И то и другое, – сказала Флер. – Такое уж теперь время, а я дитя своего времени. Ты вот нет, Майкл.

– Ты уверена? – сказал Майкл, отпуская ее. – Но если тебе хочется знать или иметь что-нибудь определенное, Флер, лучше скажи мне.

После минутного молчания она просунула руку ему под локоть и прижалась губами к его уху.

– Только луну с неба, милый. Пойдем спать.

VII. ДВА ВИЗИТА

В тот самый день, когда Флер освободилась от обязанностей сиделки, к ней явилась совершенно неожиданная посетительница. Флер, правда, сохранила о ней смутное воспоминание, неразрывно связанное со днем своей свадьбы, но никак не предполагала снова с ней увидеться. Услышав слова лакея: «Мисс Джун Форсайт, мэм», и обнаружив ее перед картиной Фрагонара, она как будто пережила легкое землетрясение.

При ее появлении серебристая фигурка обернулась и протянула руку в нитяной перчатке.

– Неглубокая живопись, – сказала она, указывая на картину подбородком, – но комната ваша мне нравится. Прекрасно подошла бы для картин Харолда Блэйда. Вы знаете его работы?

Флер покачала головой.

– О, а я думала, всякий... – маленькая женщина запнулась, словно увидела край пропасти.

– Что же вы не сядете? – сказала Флер. – У вас попрежнему галерея около Корк-стрит?

– О нет, там место было никудышное. Продала за половину той цены, которую заплатил за нее отец.

– А что случилось с этим польским американцем – Борис Струмо... дальше не помню, – в котором вы приняли такое участие?

– Ах, он? Он погиб безвозвратно. Женился и работает только для заработка. Получает большие деньги за картины, а пишет гадость. Так, значит, Джон с женой... – она опять запнулась, и Флер попробовала заглянуть в ту пропасть, над которой Джун занесла было ногу.

– Да, – сказала она, твердо глядя в бегающие глаза Джун. – Джон, по-видимому, совсем расстался с Америкой. Не могу себе представить, как с этим примирится его жена.

– А, – сказала Джун, – Холли говорила мне, что и вы побывали в Америке. Вы там виделись с Джоном?

– Почти.

– Как вам понравилась Америка?

– Очень бодрит.

Джун потянула носом.

– Там картины покупают? То есть как вы думаете, у Харолда Блэйда были бы шансы продать там свои работы?

– Не зная его работ...

– Ну, конечно, я забыла; так странно, что вы их не знаете.

Она наклонилась к Флер, и глаза ее засияли.

– Мне так хочется, чтобы он написал ваш портрет – получилось бы изумительное произведение. Ваш отец непременно должен это устроить. При вашем положении в обществе. Флер, да еще после прошлогоднего процесса, Флер едва заметно передернуло, – бедный Харолд сразу мог бы создать себе имя. Он гениален, – добавила Джун, нахмуря лоб, – обязательно приходите посмотреть его работы.

– Я с удовольствием, – сказала Флер. – Вы уже видели Джона?

– Нет. Жду их в пятницу. Надеюсь, что она мне понравится. Мне обычно все иностранцы

нравятся, кроме американцев и французов; то есть, конечно, бывают исключения.

– Ну разумеется, – сказала Флер. – Когда вы бываете дома?

– Харолд уходит каждый день от пяти до семи – ведь он работает у меня в студии. Лучше я вам покажу его картины, когда его не будет; он такой обидчивый, как всякий истинный гений. Я еще хочу, чтобы он написал портрет жены Джона. Женщины ему особенно удаются.

– В таком случае, может быть, лучше сначала Джону познакомиться с ним и с его работами?

Джун уставилась было на нее, потом быстро перевела взгляд на картину Фрагонара.

– Когда мне ждать вашего отца? – спросила она.

– Может быть, я лучше сама зайду сначала?

– Сомсу обычно нравится не то, что хорошо, – задумчиво произнесла Джун. – Но если вы ему скажете, что хотите позировать, он, конечно... он вас вечно балует.

Флер улыбнулась.

– Так я зайду. Скорее на будущей неделе. – И мысленно добавила: «А скорей всего в пятницу».

Джун собралась уходить.

– Мне нравится ваш дом и ваш муж. Где он?

– Майкл? Наверно, в трущобах. Он сейчас увлечен проектом их перестройки.

– Вот молодец. Можно взглянуть на вашего сына?

– Простите, у него только что кончилась корь.

Джун вздохнула.

– Много времени прошло с тех пор, как я болела корью. Отлично помню, как болел Джон. Я тогда привезла ему книжки с приключениями, – она вдруг взглянула на Флер. – Вам его жена нравится? По-моему, глупо так рано жениться. Я все говорю Харолду, чтоб не женился, – с браком кончается все интересное. – Ее бегающий взгляд добавил: «Или начинается, а я этого не испытала». И вдруг она протянула Флер обе руки.

– Ну, приходите. Не знаю, понравятся ли ему ваши волосы!

Флер улыбнулась.

– Боюсь, что не смогу их отрастить для его удовольствия. А вот и папа идет! – Она видела, как Сомс прошел мимо окна.

– Без большой нужды я бы не стала с ним встречаться, – сказала Джун.

– Думаю, что это и его позиция. Если вы просто выйдете, он не обратит внимания.

– О! – сказала Джун и вышла.

Флер из окна смотрела, как она удаляется, словно ей некогда касаться земли.

Через минуту вошел Сомс.

– Что здесь понадобилось этой женщине? – спросил он. – Она как буревестник.

– Ничего особенного, милый. У нее новый художник, которого она пытается рекламировать.

– Опять какой-нибудь «несчастненький». Всю жизнь она ими славилась, с тех самых пор... – Он запнулся, чуть не произнес имя Босини. – Только тогда и ходит, когда ей что-нибудь нужно. А что получила?

– Не больше, чем я, милый.

Сомс замолчал, смутно сознавая, что и сам не без греха. И правда, к чему

куда-нибудь ходить, если не затем, чтобы получить что-нибудь? Это один из основных жизненных принципов.

– Я ходил взглянуть на эту картину Морланда, – сказал он, – несомненно оригинал... Я, собственно, купил ее, – и он погрузился в задумчивость...

Узнав от Майкла, что у маркиза Шропшир продается Морланд, он сразу же сказал:

– А я и не собирался его покупать.

– Я так понял, сэр. Вы на днях что-то об этом говорили. Белый пони.

– Ну конечно, – сказал Сомс. – Сколько он за него просит?

– Кажется, рыночную цену.

– Такой не существует. Оригинал?

– Он говорит, что картина никогда не переходила из рук в руки.

Сомс задумался вслух: – Маркиз Шропшир, кажется, дед той рыжей особы?

– Да, но совсем ручной. Он говорил, что хотел бы показать его вам.

– Верю, – сказал Сомс и замолк...

– Где этот Морланд? – спросил он через несколько дней.

– В доме маркиза, сэр, на Керзон-стрит.

– О! А! Ну что ж, надо посмотреть.

После завтрака на Грин-стрит, где он жил до сих пор, Сомс прошел на Керзон-стрит и дал лакею карточку, на которой написал карандашом: «Мой зять Майкл Монт говорил, что вы хотели показать мне вашего Морланда».

Лакей вернулся и распахнул одну из дверей со словами:

– Пожалуйста сюда, сэр. Морланд висит над буфетом.

В громадной столовой, где даже громоздкая мебель казалась маленькой, Морланд совсем пропадал между двумя натюрмортами голландского происхождения и соответствующих размеров. Композиция картины была проста – белая лошадь в конюшне, голубь подбирает зерно, мальчик ест яблоко, сидя на опрокинутой корзине. С первого же взгляда Сомс убедился, что перед ним оригинал и даже не реставрированный – общий тон был достаточно темный. Сомс стоял спиной к свету и внимательно разглядывал картину. На Морланда сейчас не такой большой спрос, как раньше; с другой стороны, картины его своеобразны и удобного размера. Если в галерее не так много места и хочется, чтоб этот период был представлен, Морланд, пожалуй, выгоднее всего после Констэбля – хорошего Крома-старшего дьявольски трудно найти. А Морланд – всегда Морланд, как Милле – всегда Милле, и ничем иным не станет. Как все коллекционеры периода экспериментов, Сомс снова и снова убеждался, что покупать следует не только то, что сейчас ценно, но то, что останется ценным. Те из современных художников, думал он, которые пишут современные вещи, будут похоронены и забыты еще раньше, чем сам он сойдет в могилу; да и не мог он найти в них ничего хорошего, сколько ни старался. Те из современных художников, которые пишут старомодные вещи а к ним принадлежит большая часть академиков, – те, конечно, осммотрительнее; но кто скажет, сохранятся ли их имена? Нет. Безопасно одно покупать мертвых, и притом таких мертвых, которым суждено жить. А так как Сомс не был одинок в своих выводах, то тем самым большинству из живых художников была обеспечена безвременная кончина. И действительно, они уже поговаривали о том, что картин сейчас не продать ни за какие деньги.

Он разглядывал картину, сложив пальцы наподобие трубки, когда послышался легкий шум; и, обернувшись, он увидел низенького старика в диагональном костюме, который точно так же разглядывал его самого.

Сомс опустил руку и, твердо решив не говорить «ваша светлость» или что бы там ни полагалось, сказал:

– Я смотрел на хвост – не плохо написан.

Маркиз тоже опустил руку и взглянул на визитную, кар – точку, которую держал в другой.

– Мистер Форсайт? Да. Мой дед купил ее у самого художника. Сзади есть надпись.

Мне не хочется с ним расставаться, но время сейчас трудное. Хотите посмотреть его с обратной стороны?

– Да, – сказал Сомс, – я всегда смотрю на обратную сторону.

– Иногда это лучшее, что есть в картине, – проговорил маркиз, с трудом снимая Морланда.

Сомс улыбнулся уголком рта; он не желал, чтобы у этого старика создалось ложное впечатление, будто он подлизывается.

– А сказывается наследственность, мистер Форсайт, – продолжал тот, нагнув голову набок, – когда приходится продавать фамильные ценности.

– Я могу и не смотреть с той стороны, – сказал Сомс, – сразу видно, что это оригинал.

– Так вот, если желаете приобрести его, мы можем сговориться просто как джентльмен с джентльменом. Вы, и слышал, в курсе всех цен.

Сомс нагнул голову и посмотрел на обратную сторону картины. Слова старика были до того обезоруживающие, что он никак не мог решить, надо ли ему разоружаться.

«Джордж Морланд – лорду Джорджу Феррару, – прочел он. – Стоимость 80 – получена. 1797».

– Титул он получил позднее, – сказал маркиз. – Хорошо, что он уплатил Морланду, – великие повесы были наши предки, мистер Форсайт; то было время великих повес!

От лестной мысли, что «Гордый Досеет» был великий повеса, Сомс слегка оттаял.

– И Морланд был великий повеса, – сказал он. – Но в то время были настоящие художники, можно было не бояться покупать картины. Теперь не то.

– Ну не скажите, не скажите, – возразил, маркиз, – еще есть чего ждать от электрификации искусства. Все мы захвачены движением, мистер Форсайт.

– Да, – мрачно подтвердил Сомс, – но долго на такой скорости не удержаться – это неестественно. Скоро мы спать остановимся.

– Вот не знаю. Все же нужно идти в ногу с веком, не правда ли?

– Скорость – это еще не беда, – сказал Сомс, сам на себя удивляясь, если только она приведет куда-нибудь.

Маркиз прислонил картину к буфету, поставил ногу на стул и оперся локтем о колено.

– Ваш зять говорил вам, зачем мне нужны деньги? Он задумал электрифицировать кухни в трущобах. Какникак, мистер Форсайт, мы все же чище и гуманнее, чем были наши деды. Сколько же, вы думаете, стоит эта картина?

– Можно узнать мнение Думетриуса.

– Этого, с Хэймаркета? Разве он лучше осведомлен, чем вы?

– Не сказал бы, – честно признался Сомс. – Но если бы вы упомянули, что картиной интересуюсь я, он за пять гиней оценил бы ее и, возможно, сам предложил бы купить ее у вас.

– Мне не так уж интересно, чтобы знали, что я продаю картины.

– Ну, – сказал Сомс, – я не хочу, чтобы вы выручили меньше, чем могли бы. Но если бы я поручил Думетриусу достать мне Морланда, больше пятисот фунтов я бы не дал. Предлагаю вам шестьсот.

Маркиз вздернул голову.

– Не слишком ли щедро? Скажем лучше – пятьсот пятьдесят?

Сомс покачал головой.

– Не будем торговаться, – сказал он. – Шестьсот. Чек можете получить теперь же, и я заберу картину. Будет висеть у меня в галерее, в Мейплдерхеме.

Маркиз снял ногу со стула и вздохнул.

– Право же, я очень вам обязан. Приятно думать, что она попадет в хорошую обстановку.

– Когда бы вам ни вздумалось приехать посмотреть на нее...

Сомс осекся. Старик одной ногой в могиле, другой в палате лордов (что, впрочем, почти одно и то же) – да разве ему захочется ехать!

– Это было бы прелестно, – сказал маркиз, глядя по сторонам, как того и ждал Сомс. – У вас там есть своя электростанция?

– Есть, – и Сомс достал чековую книжку. – Будьте добры сказать, чтобы вызвали такси. Если вы немного сдвинете натюрморты, ничего не будет заметно.

Прислушиваясь к отзвуку этих мало убедительных слов, они произвели обмен ценностями, и Сомс, забрав Морланда, в такси вернулся на Грин-стрит. Дорогой он подумал, не надул ли его маркиз, предложив сговориться как джентльмен с джентльменом. Приятный в своем роде старик, но вертляв, как птица, и так зорко поглядывает, сложив пальцы трубкой...

И теперь, в гостиную у дочери, он сказал:

– Что я слышу, Майкл занялся электрификацией кухонь в трущобах?

Флер улыбнулась; иронический оттенок ее улыбки не понравился Сомсу.

– Майкл по уши увяз.

– В долгах?

– О нет, увлекается трущобами, как раньше – фоггартизмом. Я почти не вижу его.

Сомс мысленно ахнул. Ко всем его мыслям о ней примешивался теперь Джон Форсайт. Правда ли ее огорчает, что Майкл поглощен общественной жизнью, или она притворяется и видит в этом только предлог, чтоб жить своей личной жизнью?

– О трущобах, конечно, пора подумать, – сказал он. – И ему нужно чем-нибудь заняться.

Флер пожала плечами.

– Майкл не от мира сего.

– Этого я не знаю, – сказал Сомс, – но он довольнотаки... э-э... доверчив.

– О тебе этого нельзя сказать, папа, правда? Мне ты ни капельки не доверяешь.

– Не доверяю! – растерялся Сомс. – Почему?

– Почему!

С горя Сомс воззрился на Фрагонара. Ох, хитра! Догадалась!

– Джун, верно, хочет, чтоб я купил какую-нибудь картину, – сказал он.

– Она хочет, чтобы ты заказал мой портрет.

– Вот что? Как фамилия ее «несчастненького»?

– Кажется. Блэйд.

– Никогда не слышал.

– Ну, так, наверно, услышишь.

– Да, – пробормотал Сомс, – она как пиявка. Это в крови.

– В крови Форсайтов? Значит, и ты и я такие, милый?

Сомс отвел взгляд от картины и в упор посмотрел в глаза дочери.

– Да, и ты и я.

– Вот хорошо-то, – сказала Флер.

VIII. ЗАБАВНАЯ ВСТРЕЧА

Сомс был недалеко от истины, когда усомнился, действительно ли очередное увлечение Майкла так уж огорчает Флер. Она совсем не была огорчена. Трущобы отвлекали внимание Майкла от нее самой, не давали ему заняться регулированием рождаемости, до которого, казалось ей, страна еще не вполне доросла, и имели все шансы на популярность, чего не хватало фоггартизму. Трущобы были тут же, под самым носом; а на то, что под самым носом, может обратить внимание даже парламент. Вопрос касался городов, а следовательно – затрагивал шесть седьмых всех избирателей, Фоггартизм, ориентирующийся на земледелие, необходимое для пополнения жизненных сил и для производства продуктов питания как в Англии, так и в колониях, касался всего населения,

но интересовал только одну седьмую часть избирателей. А Флер, будучи реалисткой до мозга костей, уже давно убедилась, что главная забота политических деятелей – это чтобы их избирали и переизбирали. Избиратели – это магнит первой величины, они бессознательно направляют в ту или иную сторону все политические суждения и планы, а если это не так, то напрасно, – не они ли являются пробным камнем всякой демократии? С другой стороны, комитет, который формировал Майкл, должен был, казалось, дать лучшую из всех доступных ей возможностей продвижения в обществе.

– Если им нужно где-нибудь собраться, – сказала она, – почему не у нас?

– Чудесно! – ответил Майкл. – Близко и от палаты и от клубов. Вот спасибо, старушка!

Флер честно добавила:

– О, я буду очень рада. Можете начинать, как только я увезу Кита на море. Нора Кэрфью сдает мне на три недели свою дачку в Лоринге.

Она не добавила: «А оттуда всего пять миль до Уонсдона».

В пятницу утром она позвонила Джун:

– Я в понедельник уезжаю на море; я могла бы зайти сегодня, но вы, кажется, говорили, что придет Джон. Верно? Потому что в таком случае...

– Он придет в половине пятого, но ему нужно на обратный поезд в шесть двадцать.

– И жена его будет?

– Нет. Он хотел только посмотреть работы Харолда.

– А! Ну так я лучше зайду в воскресенье.

– Да, в воскресенье будет удобно, и Харолд вас увидит. Он никогда не выходит по воскресеньям – не выносит воскресного вида улиц.

Флер положила трубку и взяла со стола расписание. Да, есть такой поезд! Вот будет совпадение, если она поедет им же, чтобы осмотреть дачу Норы Кэрфью. Даже Джун не успеет проболтаться о их разговоре по телефону.

За завтраком она не сказала Майклу о своей поездке – вдруг ему вздумается тоже поехать или хотя бы проводить ее. Она знала, что днем он будет в палате, так не проще ли оставить ему записку, что она поехала проверить, успеют ли прибрать дачу к понедельнику. И после завтрака она нагнулась и поцеловала его в лоб без малейшего сознания измены. Будет только справедливо, если она увидит Джона после этих унылых недель. Когда бы она ни увидела Джона, которого у нее украли, это будет только справедливо. И ближе к вечеру, когда она стала складывать в саквояж вещи, нужные ей для ночевки, два красных пятна горели у нее на щеках, мысли блуждали. Она выпила чаю, оставила записку с адресом отеля в Нетлфолде и рано поехала на вокзал Виктория. Дав на чай проводнику, чтобы обеспечить себе пустое купе, она оставила чемоданчик на своем месте у окна, а сама заняла позицию возле книжного киоска, недалеко от выхода на платформу. И пока она там стояла, разглядывая новинки, порожденные воображением, все помыслы ее были направлены на мир реальный. После притворного, призрачного существования ей предстояло полтора часа настоящей жизни. Кто осудит ее, если она сворует их у воровки судьбы? А если кто и осудит, ей все равно. Стрелка вокзальных часов подвигалась вперед, а Флер перелистывала один роман за другим, в каждом находила молодых женщин в затруднительных положениях, и в голове ее бродили смутные аналогии с ее собственным положением. Осталось три минуты! Неужели он не придет? Эта несчастная Джун могла уговорить его остаться ночевать! Наконец она в отчаянии схватила книжку под названием «Скрипка obbligato», которое во всяком случае сулило нечто передовое, и заплатила за нее. И тут, получая сдачу, она увидела Джона. Она повернулась и быстро пошла на платформу, зная, что он идет еще быстрее. Она дала ему первому заметить ее.

– Флер!

– Джон! Куда ты едешь?

– В Уонсдон.

– О, а я в Нетлфолд, присмотреть моему младенцу дачу в Лоринге. Вот мой чемоданчик – сюда, живо! Поехали!

Дверь захлопнулась, и она протянула ему обе руки.

– Правда, необыкновенно и забавно?

Джон сжал ее руки, потом сразу выпустил.

– Я был у Джун. Она все такая же, дай бог ей здоровья!

– Да, она заходила ко мне на днях; хочет, чтобы я позировала ее очередному любимцу.

– Стоит. Я сказал, что закажу ему портрет Энн.

– Правда? Он даже ее достоин изобразить?

И сейчас же пожалела; не с этого она думала начать!

А впрочем, надо же начать с чего-нибудь, надо же как-то занять губы, чтобы не дать им коснуться его глаз, его волос, его губ! И она заговорила: корь Кита, комитет Майкла. "Скрипка *obligato* последователи Пруста; лошади Вэла, стихи Джона, запах Англии, который так важен поэту, – какая-то отчаянная мешанина из чего угодно, из всего на свете.

– Понимаешь, Джон, мне нужно выговориться, я месяц была в заключении.

И все это время она чувствовала, что даром теряет минуты, которые могла бы провести без слов, сердце к сердцу с ним, если правда, что сердце доходит до середины тела. И все время духовным хоботком искала, нащупывала мед и шафран его души. Найдет ли она что-нибудь, или весь запас бережется для этой несчастной американки, которая ждет его дома и к которой он – увы! – возвращается? Но Джон не подавал ей знака. То был не прежний, непосредственный Джон, он научился скрытности. По непонятному капризу памяти она вдруг вспомнила, как ее совсем маленькой девочкой привезли в дом Тимоти на БэйсуотерРод и как старая тетя Эстер – неподвижная фигура в черных кружевах и стеклярусе, – сидя в кресле времен Виктории, тихим тягучим голосом говорила ее отцу: «О да, милый, твой дядя Джолион, до того как жениться, был очень увлечен нашей близкой подругой, Элис Рид; но у нее была чахотка, и он, конечно, понял, что не может на ней жениться, – это было бы неосмотрительно, из-за детей. А потом она умерла, и он женился на Эдит Мур». Странно, как это засело в то время в сознании десятилетней девочки! И она вгляделась в Джона. Старый Джолион, как его звали в семье, был его дедом. В альбоме у Холли она видела его портрет – голова куполом, белые усы, глаза, вдвинутые глубоко под брови, как у Джона. «Это было бы неосмотрительно!» Вот он, век Виктории! Может быть, и Джон от века Виктории? Ей подумалось, что она никогда не узнает, что такое Джон. И она сразу стала осторожней. Один лишний или преждевременный шаг – и она снова упустит его, и теперь уже навсегда! Нет, он не современен! Кто его знает, может быть, в «состав» его входит что-нибудь абсолютное, а не относительное, а абсолютное всегда смущало, почти пугало Флер. Но недаром она шесть лет тянула лямку светской жизни – она умела быстро приспособиться к новой роли. Она заговорила спокойнее, стала даже растягивать слова. В глазах пропал огонь и появилась усмешка. Какого мнения Джон о воспитании мальчиков – ведь не успеешь оглянуться, у него и свой будет? Ей самой было больно от этих слов, и, произнося их, она старалась прочесть что-нибудь на его лице. Но оно ничего ей не сказала.

– Кита мы записали в Уинчестер. Ты веришь в классическое образование, Джон? Или считаешь, что эти школы устарели?

– Именно. И это не плохо.

– То есть?

– Туда бы я и отдал своего сына.

– Понимаю, – сказала Флер. – Знаешь, Джон, ты и правда изменился. По-моему, шесть лет назад ты бы этого не сказал.

– Возможно. Живя вдали от Англии, начинаешь верить в искусственные преграды. Нельзя давать идеям носиться в пустом пространстве. В Англии их сдерживают, в этом и

есть ее прелесть.

– До идей мне нет дела, – сказала Флер, – но глупость я не люблю. Классические школы...

– Да нет же, уверяю тебя. Кой-какие свойства они, конечно, губят, но это к лучшему. Флер наклонилась вперед и сказала лукаво:

– Ты, кажется, стал моралистом, мой милый?

Джон сердито ответил:

– Да нет, ничего особенного!

– Помнишь нашу прогулку вдоль реки?

– Я уже говорил тебе – я все помню.

Флер едва не прижала руку к сердцу, которое вдруг подскочило.

– Мы чуть не поссорились тогда, потому что я сказала, что ненавижу людей за их тупую жестокость и желаю им свариться в собственном соку.

– Да, а я сказал, что мне жаль их. Ну и что же?

– Сдерживать себя глупо, – сказала Флер и сейчас же добавила: – Потому я и против классических школ. Там сдержанности учат.

– В светской жизни она может пригодиться, Флер, – и в глазах его мелькнула веселая искорка.

Флер прикусила губу. Ну ничего! Но она заставит его пожалеть об этих словах; и его раскаяние даст ей в руки хороший козырь.

– Я отлично знаю, что я выскочка, – сказала она, – меня во всеуслышание так называли.

– Что?

– Ну да; был даже процесс по этому поводу.

– Кто посмел?..

– О дорогой мой, это дела давно минувшие. Но ты же не мог не знать Фрэнсис Уилмот, наверно...

Джон в ужасе отшатнулся.

– Флер, не могла же ты подумать, что я...

– Ну конечно. Почему бы нет?

И правда, козырь! Джон схватил ее за руку.

– Флер, скажи, что ты не думаешь, что я нарочно...

Флер пожала плечами.

– Мой милый, ты слишком долго жил среди дикарей.

Мы тут каждый день колем друг друга насмерть, и хоть бы что.

Он выпустил ее руку, и она взглянула на него из-под опущенных век.

– Я пошутила, Джон. Дикарей иногда не вредно подразнить. *Parlons d'autre chose*. Присмотрел ты себе место, где хозяйничать?

– Почти.

– Где?

– Около четырех миль от Уонсдона, на южной стороне холмов, ферма Грин-Хилл. Есть фрукты – несколько теплиц – и клочок пахотной земли.

– Так это, должно быть, недалеко оттуда, куда я повезу Кита, – на море, и только в пяти милях от Уонсдона. Нет, Джон, не пугайся. Мы пробудем там не больше трех недель.

– Пугаться? Напротив, я очень рад. Мы к тебе приедем. На Гудвудских скачках мы все равно встретимся.

– Я все думала... – Флер замолчала и украдкой взглянула на него. Ведь можем мы быть просто друзьями, правда?

Не поднимая головы, Джон ответил:

– Надеюсь.

Прояснилось его лицо, прозвучи его голос искренне – как по-иному, насколько спокойнее билось бы ее сердце!

– Значит, все в порядке, – сказала она тихо. – Я с самого Аскота хотела сказать тебе это. Так оно и есть, так и будет; что-либо другое было бы глупо, правда? Век романтики миновал.

– Гм!

– Что ты хочешь выразить этим мало приятным звуком?

– Я считаю совершенно лишним рассуждать о том, что один век такой, другой – этакий. Человеческие чувства все равно не меняются.

– Ты в этом уверен? Такая жизнь, какую ведем мы, влияет на них. Ничто в мире не стоит дороже одной-двух пролитых слез, Джон. Это мне теперь ясно. Но я и забыла – ты ненавидишь цинизм. Расскажи мне про Энн. Ей еще не разонравилась Англия?

– Напротив. Она, видишь ли, чистая южанка, а Юг еще не стал современным, то есть, во всяком случае, в какой-то своей части. Больше всего ей нравится здесь трава, птицы и деревни. Она совсем не скучает по родине. И, конечно, увлечена верховой ездой.

– И английский язык она, вероятно, быстро усваивает?

В ответ на его удивленный взгляд лицо ее приняло самое невинное выражение.

– Мне хотелось бы, чтобы ты полюбила ее, – сказал он серьезно.

– О, так, без сомнения, и будет, когда я узнаю ее поближе.

Но в сердце ее поднялась волна жгучего презрения. Что она такое, по его мнению? Полюбить ее! Женщину, которую он обнимает, которая будет матерью его детей. Полюбить! И она заговорила о красотах Бокс-Хилла. Весь остаток пути до Пулборо, где Джон вышел, она была осторожна как кошка, говорила легким дружеским тоном, глядела ясными, невинными глазами и почти не дрогнула, прощаясь:

– Итак, au revoir в Гудвуде, если не раньше. Забавная все-таки получилась встреча!

Но по пути в гостиницу, проезжая в станционном экипаже сквозь пропахший устрицами туман, она крепко сжала губы, и глаза ее под нахмуренными бровями были влажны.

IX. А ДЖОН!

А Джон, которому предстояло пройти пешком пять с лишним миль, пустился в путь, и в ушах его, отбивая такт, звучала старая английская песня:

Как счастлив мог бы я быть с любой,

Когда б не мешала другая!

Вот до чего он запутался, непреднамеренно, просто следуя порывам своей честной натуры. Флер его первая любовь, Энн – вторая. Но Энн его жена, а Флер – замужем за другим. Мужчина не может быть влюблен одновременно в двух женщин; напрашивался вывод, что он не влюблен ни в ту, ни в другую. Откуда же тогда эти странные ощущения в его крови? Или то, что говорят, неверно? Французское или староанглийское разрешение вопроса не пришло ему в голову. Он женат на Энн, он любит Энн, она прелесть! Вот и все. Почему же тогда, шагая по траве вдоль дороги, он думал почти исключительно о Флер? Какой бы ни представлялась она циничной, или непосредственной, или просто милой, она ввела его в заблуждение не больше, чем в душе того хотела. Он знал, что у нее сохранилось к нему прежнее чувство, знал и то, что сохранилось и его чувств к ней или хотя бы какая-то доля его. Но ведь он любит и другую женщину. Джон был не глупее других мужчин и не больше их обманывал себя. Как и многие мужчины до него, он решил не закрывать глаза на факты и делать то, что считает правильным, – или, вернее, не делать того, что считает неправильным. Что именно неправильно, в этом он тоже не сомневался. Его беда была проще: он владел своими мыслями и чувствами ничуть не лучше, чем любой мужчина. В конце концов не его вина, что когда-то он безраздельно любил Флер или что она безраздельно любила его; и не его вина, что он любит свою родину и устал жить вдали от нее.

Не его вина, что он полюбил снова и женился на той, которую полюбил. И не его,

казалось бы, вина, что вид, и голос, и аромат, и близость Флер пробудили в нем что-то от прежнего чувства. И все же такая двойственность претила ему, и он шел, то ускоряя, то замедляя шаг, а солнце двигалось по небу и пригревало ему затылок, который после солнечного удара в Гренаде навсегда остался чувствительным. Раз он постоял, прислонившись к изгороди. Он еще не так давно вернулся в Англию, чтобы оставаться равнодушным к ее красоте в такой дивный день. Он часто останавливался и прислонялся к какой-нибудь изгороди и вообще, как говорил Вэл, спал наяву.

Подошел уже первый день матча между Итоном и Хэрроу, которого никогда в свое время не пропускал его отец, но сенокос только что кончился, и в воздухе еще стоял запах сена. К югу перед ним растянулись холмы, освещенные по северным склонам. Под деревьями, у самой изгороди, стояли, медленно помахивая хвостами, рыжие сэссекские коровы. Вдали на склонах тоже пасся скот. Покой окутал землю. Под косыми лучами солнца хлеб на ближнем поле отливал неземными оттенками – не то зеленью, не то золотом. И среди мирной красоты вечера Джон остро почувствовал разрушительную силу любви – чувства до того сладкого, тревожного и захватывающего, что оно отнимает у природы и краски и покой, а жертвы его отравляют жизнь окружающим и сами ни на что не годны. Работать – и созерцать природу во всех ее образах! Почему он не может уйти от женщин? Почему, как в анекдоте, который рассказывала Холли, где бедную девушку пришлось проводить на вокзал все ее семейство, – почему он не может уехать и сказать: «Слава тебе господи, с этим добром я разделался!»

Кусали мошки, и он пошел дальше. Рассказать Энн, что он ехал с Флер? Умолчать об этом – значило бы подчеркнуть значение этой встречи; но рассказывать почему-то не хотелось. И тут он набрел на Энн; она сидела на заборе, без шляпы, засунув руки в карманы джемпера, очень прямая и гибкая.

– Помоги мне слезть, Джон!

Он помог и не сразу выпустил ее. И сейчас же сказал:

– Угадай, с кем я ехал в поезде? С Флер Монт. Мы встретились на вокзале. Она на будущей неделе привезет сынишку в Лоринг, чтобы подправить его.

– О, как жаль!

– Почему?

– Потому что я люблю тебя, Джон. – Она вздернула подбородок, и теперь ее прямой точеный носик казался совсем тупым.

– Не понимаю... – начал Джон.

– Другая женщина, Джон. Я еще в Аскоте заметила...

Наверно, я старомодна, Джон.

– Это ничего, я тоже.

Глаза ее, не до конца укрощенные американской цивилизацией, обратились на него, и она

взяла его под руку.

– У Рондавели пропал аппетит. Гринуотер очень расстроен. А я никак не усвою английское произношение, а очень хочу. Я теперь англичанка и по закону и по происхождению, французского только и есть, что одна прабабка.

Если у нас будут дети, они будут англичане, и жить мы будем в Англии. Ты окончательно решил купить ферму Грин-Хилл?

– Да, и теперь уж возьмусь за дело серьезно. Два раза играл в игрушки, довольно с меня.

– Разве в Северной Каролине ты играл?

– Не совсем. Но теперь другое дело; там это было не так важно. Что такое в конце концов персики? А здесь вопрос серьезный. Я намерен наживать деньги.

– Чудно! – сказала Энн. – Но я никак не ожидала, что ты это скажешь.

– Прибыль – единственный критерий. Буду разводить помидоры, лук, спаржу и маслины; из пахотной земли выжму все, что можно, и, если смогу, еще прикуплю.

- Джон! Сколько энергии! – И она схватила его за подбородок.
- Ладно, ладно, – свирепо сказал Джон. – Вот посмотришь, шучу я или нет.
- А дом ты предоставишь мне? Я так чудесно все устрою!
- Идет.
- Так поцелуй меня.

Полуоткрыв губы, она смотрела ему в глаза чуть косящим взглядом, придававшим ее глазам их особую манящую прелесть, и он подумал: «Все очень просто. То, другое, – нелепость! Иначе и быть не может!» Он поцеловал ее в лоб и в губы, но и тут, казалось, видел, как дрогнула Флер, прощаясь с ним, слышал ее слова: «А! А забавная все-таки получилась встреча!»

- Зайдем посмотреть Рондавеля, – сказал он.

Когда они вошли в конюшню, серый жеребенок стоял у дальней стены стойла и вяло разглядывал морковку, которую протягивал ему Гринуотер.

– Никуда не годится! – через плечо бросил им тренер. – Не быть ему в Гудвуде. Заболел жеребенок.

Как это Флер сказала: «Аи геусиг в Гудвуае, если не раньше!»

- Может, у него просто голова болит, Гринуотер? – сказала Энн.

- Нет, мэм, у него жар. Ну, да ничего, еще успеет взять приз в Ньюмаркете.

Джон погладил жеребенка по ляжке.

- Эх ты, бедняга! Вот чудеса! На ощупь чувствуешь, что он не в порядке.

– Это всегда так, – сказал Гринуотер. – Но с чего бы? Во всей округе, насколько я знаю, нет ни одной больной лошади. Самое капризное существо на свете – лошадь! К Аскотским скачкам его не тренировали – взял да и пришел первым. Теперь готовили его к Гудвуду – а он расклеился. Мистер Дарти хочет, чтобы я дал ему какого-то южноафриканского снадобья, а я о нем и не слышал.

- У них там лошади очень много болеют, – сказал Джон.

– Вот видите, – продолжал тренер, протягивая руку к ушам жеребенка, совсем невеселый! Много бы я дал, чтобы знать, с чего он захворал.

Джон и Энн ушли, а он остался стоять около унылого жеребенка, вытянув вперед темное ястребиное лицо, словно стараясь разгадать ощущения своего любимца.

В тот вечер Джон поднялся к себе, совершенно одурелый от взглядов Вала на коммунизм, лейбористскую партию и личные свойства сына Голубки да еще целой диссертации на тему о болезнях лошадей в Южной Африке. Он вошел в полутемную спальню. У окна стояла белая фигура; при его приближении она обернулась и бросилась ему на шею.

- Джон, только не разлюби меня!

- С чего бы?

- Ведь ты мужчина. А потом – верность теперь не в моде.

- Брось! – мягко сказал Джон. – Настолько же в моде, как и во всякое другое время.

- Я рада, что мы не едем в Гудвуд. Я боюсь ее. Она такая умная.

- Флер?

- Конечно, ты был в нее влюблен, Джон, я это чувствую; лучше бы ты сказал мне.

Джон облокотился на окно рядом с ней.

- Почему? – сказал он устало.

Она не ответила. Они стояли рядом в теплой тишине ночи, мотыльки задевали их крыльями, крик ночной птицы прорезал молчание, да изредка было слышно, как в конюшне переступает с ноги на ногу лошадь. Вдруг Энн протянула вперед руку.

- Вот там – где-то – она не спит и хочет тебя. Нехорошо мне, Джон!

- Не расстраивай себя, родная!

- Но мне, право же, плохо, Джон.

Прижалась к нему, как ребенок, щекой к щеке, темный завиток щекотал ему шею. И вдруг обернулась, отчаянно ища губами его губы.

– Люби меня!

Но когда она уснула, Джон еще долго лежал с открытыми глазами. В окно прокрался лунный свет, и в комнату вошел призрак – призрак в костюме с картины Гойи, кружился, придерживая руками широкое платье, манил глазами, а губы словно шептали: «И меня! И меня!»

И, приподнявшись на локте, он решительно посмотрел на темную головку на подушке. Нет! Ничего, кроме нее, нет – не должно быть – в этой комнате. Только не уходить от действительности!

Х. НЕПРИЯТНОСТИ

На следующий день, в понедельник, за завтраком Вэл сказал Холли:

Вот послушай-ка!

"Дорогой Дарти,

Я, кажется, могу оказать тебе услугу. У меня имеются кой-какие сведения относительно твоего жеребенка от Голубки и вообще о твоей конюшне, и стоят они гораздо больше, чем те пятьдесят фунтов, которые ты, я надеюсь, согласишься мне за них заплатить. Думаешь ли ты приехать в город на этой неделе? Если да, нельзя ли нам встретиться у Брюмеля? Или, если хочешь, я могу прийти на Грин-стрит. Дело важное.

Искренне тебе преданный Обри Стэйнфорд".

– Опять этот человек!

– Не обращай внимания, Вэл!

– Ну, не знаю, – мрачно протянул Вэл. – Какая-то шайка что-то слишком заинтересовалась этим жеребенком. Гринуотер волнуется. Я уж лучше постараюсь выяснить, в чем тут дело.

– Так посоветуйся сначала с дядей. Он еще не уехал от твоей мамы.

Вэл скорчил гримасу.

– Да, – сказала Холли, – но от него ты узнаешь, что можно делать и чего нельзя. Против таких людей не стоит действовать в одиночку.

– Ну ладно. Пари держу, что тут дело нечисто. Кто-то еще в Аскоте знал о Рондавеле.

Он поехал в Лондон утренним поездом и к завтраку был уже у матери. Она и Аннет завтракали в гостях, но Сомс был дома и не слишком радушно пожал ему руку.

– Этот молодой человек с женой все еще у вас?

– Да, – сказал Вэл.

– Что он, никогда не соберется чем-нибудь заняться? Узнав, что Джон как раз собирается заняться делом, он проворчал:

– Сельское хозяйство? В Англии? Это еще зачем ему понадобилось? Только швырять деньги на ветер. Лучше ехал бы обратно в Америку или еще в какую новую страну. Почему бы ему не попробовать Южной Африки? Там его сводный брат умер.

– Он больше не уедет из Англии, дядя Сомс, – по-видимому, проникся нежной любовью к родине.

Сомс пожевал молча.

– Дилетанты все эти молодые Форсайты, – сказал он. – Сколько у него годовых?

– Столько же, сколько у Холли и ее сводной сестры, – около двух тысяч, пока жива его мать.

Сомс заглянул в рюмку и извлек из нее микроскопический кусочек пробки. Его мать! Он слышал, что она опять в Париже. Она-то имеет теперь по меньшей мере три тысячи годовых. Он помнил время, когда у нее не было ничего, кроме несчастных пятидесяти фунтов в год, но оказалось, что и этого было слишком много, – не они ли навели ее на мысль о самостоятельности? Опять в Париже! Булонский лес, зеленая Ниобея, исходящая слезами, – он хорошо ее помнил, – и сцена, которая произошла тогда

между ними...

– А ты зачем приехал в город?

– Вот, дядя Сомс.

Сомс укрепил на носу очки, которые совсем недавно начал надевать для чтения, прочел письмо и вернул его племяннику.

– Видал я в свое время нахалов, но этот тип?

– Как вы мне советуете поступить?

– Брось письмо в корзину, забудь о нем.

Вэл покачал головой.

– Стэйнфорд как-то заезжал ко мне в Уонсдон. Я ничего ему не сказал; но вы помните, что в Аскоте мы смогли получить только вчетверо, а ведь это был первый дебют Рондавелия. А теперь, перед самым Гудвудом, жеребенок заболел; что-то тут кроется.

– Так что же ты намерен делать?

– Я думал повидаться с ним, и может быть, вы бы не отказались присутствовать при нашем разговоре, чтобы не дать мне свалить дурака.

– Это, пожалуй, не глупо. Такого беззастенчивого мерзавца, как этот, мне еще не приходилось встречать.

– Чистокровный аристократ, дядя Сомс, порода сказывается.

– Гм, – буркнул Сомс. – Ну что же, пригласи его сюда, если уж непременно хочешь с ним говорить, но сначала вынеси из комнаты все ценное и скажи Смизер, пусть уберет зонты.

В то утро он проводил Флер и внука на взморье и скучал, особенно после того, как, проводив их, посмотрел карту Сэссекса и обнаружил, что Флер будет жить в двух шагах от Уонсдона и от этого молодого человека, который теперь не выходил у него из головы, о чем бы он ни думал. Возможность взять реванш с «этого мерзавца» Стэйнофорда сулила какое-то развлечение. Как только посланный ушел, он пододвинул стул к окну, откуда видна была улица. Про зонты он так и не сказал ничего – решил, что это будет недостойно, – но сосчитал их. День был теплый, шел дождь, и в открытое окно столовой с Грин-стрит струился влажный воздух, чуть отдающий запахами кухни.

– Идет, – сказал он вдруг. – Экая томная фигура!

Вэл пересек комнату и стал за его стулом. Сомс заерзал на своем месте. Этот тип и его племянник вместе учились – кто их знает, может быть, у них есть и еще какие-нибудь общие пороки.

– Ого, – сказал Вэл вполголоса, – вид у него и правда больной.

На «томной фигуре» был тот же темный костюм и шляпа, в которых Сомс видел его в первый раз; та же небрежная элегантность; поднятая бровь и полузакрытые глаза по-прежнему излучали презрение на горькие складки в углах рта. И ни с чем не сравнимое выражение обреченного, которому только и осталось, что презирать всякое чувство, как и в тот раз, пробудили в Сомсе крошечную искру жалости.

– Надо предложить ему выпить, – сказал он.

Вэл двинулся к буфету.

Раздался звонок, голоса в передней; потом появилась Смизер, красная, запыхавшаяся, с виноватым лицом.

– Вы примете этого джентльмена, сэр, который унес сами знаете что, сэр?

– Проведите его сюда, Смизер.

Вэл повернул к двери. Сомс остался сидеть.

«Томная фигура» появилась в дверях, кивнула Вэлу и подняла брови в сторону Сомса. Тот сказал:

– Здравствуйте, мистер Стэйнофорд.

– Мистер Форсайт, если не ошибаюсь?

– Коньяку или виски, Стэйнофорд?

– Спасибо, коньяку.

– Давай покурим. Ты хотел меня видеть. Мистер Форсайт – мой дядя и мой поверенный.

Сомс заметил, как Стэйнфорд улыбнулся, словно говоря: «Да ну? Вот удивительные люди!» Он закурил предложенную сигару, и воцарилось молчание.

– Ну? – не выдержал Вэл.

– Очень сожалею, Дарти, что твой жеребенок от Голубки расклеился.

– А откуда это тебе известно?

– Вот именно. Но прежде чем я тебе это сообщу, будь добр дать мне пятьдесят фунтов и обещание, что мое имя не будет упомянуто.

Сомс и Вэл остолбенели. Наконец Вэл сказал:

– А какая у меня гарантия, что твои сведения стоят пятьдесят фунтов или хотя бы пять?

– О, что я знаю, что твой жеребенок болен.

Как ни мало был Сомс знаком с миром скачек, он все же понял силу этого аргумента.

– Ты хочешь сказать, что знаешь, где моя конюшня протекает?

Стэйнфорд кивнул.

– В университете мы были друзьями, – сказал Вэл. – Чего ты ожидал бы от меня, если бы я располагал такими же сведениями о твоей конюшне?

– Дорогой Дарти, величины несоизмеримые. Ты богат, я – нет.

Избитые фразы вертелись на языке у Сомса. Он проглотил их. Что толку разговаривать с таким типом!

– Пятьдесят фунтов – большие деньги, – сказал Вэл. – Твои сведения действительно ценны?

– Да, клянусь честью.

Сомс громко фыркнул.

– Если я куплю у тебя эту течь, – продолжал Вэл, – можешь ты гарантировать, что она не обнаружится в Другом месте?

– Мало вероятия, чтобы у тебя в конюшне оказались две трубы с течью.

– Мне и в одну не верится.

– Одна-то есть.

Сомс увидел, как его племянник подошел к столу и стал отсчитывать банковые билеты.

– Сначала скажи мне, что ты знаешь, и я заплачу тебе, если найду, что твои сведения правдоподобны. Имя твое упомянуто не будет.

Сомс увидел, как томные брови поднялись.

– Я доверчивый человек, Дарти, не то что ты. Дай расчет конюху по фамилии Синнет – вот где твоя конюшня протекает.

– Синнет? – сказал Вэл. – Мой лучший конюх! Чем ты можешь доказать?

Стэйнфорд извлек грязный листок почтовой бумаги и протянул его Вэлу. Тот прочел вслух:

– «Серый жеребенок болен, все в порядке – в Гудвуде ему не быть». Все в порядке? – повторил он. – Так, значит, он это подстроил?

Стэйнфорд пожал плечами.

– Можешь ты мне дать эту записку? – спросил Вэл.

– Если ты пообещаешь не показывать ему.

Вэл кивнул и взял записку.

– Ты знаешь его почерк? – спросил Сомс. – Очень это все подозрительно.

– Нет еще, – сказал Вэл и, к ужасу Сомса, положил в протянутую руку пачку банкнот. Сомс ясно расслышал легкий вздох облегчения. Вэл вдруг сказал:

– Ты с ним сговорился в тот день, когда заезжал ко мне?

Стэйнфорд чуть заметно улыбнулся, еще раз пожал плечами и повернул к двери.

– До свидания, Дарти, – сказал он.

Сомс раскрыл рот. Так реванш окончен! Он ушел!

– Послушай, – сказал он. – Не выпускай же его! Это чудовишно!

– Ой, до чего смешно, – сказал вдруг Вал и захохотал. – Ой, до чего смешно!

– Смешно, – проворчал Сомс. – Куда идет мир, не понимаю.

– Не горюйте, дядя Сомс. На пятьдесят фунтов он меня обчистил, но за такое не жаль и заплатить. Синнет, мой лучший конюх!

Сомс все ворчал.

– Совратить твоего работника и тебя же заставить платить за это! Дальше идти некуда!

– В том-то и прелесть, дядя Сомс. Ну, поеду домой я выгоню этого мошенника.

– Я бы, на твоём месте, не постеснялся сказать ему, откуда мне все известно.

– Ну, не знаю. Ведь Стэйнфорд еле на ногах держится. Я не моралист, но думается мне, что своё слово я сдержу.

Сомс помолчал, потом искоса взглянул на племянника.

– Делай как знаешь. Но не мешало бы его засадить.

С этими словами он прошёл в переднюю и пересчитал зонты. Все были целы, он взял один из них и вышел на улицу. Его тянуло на воздух. Если не считать истории с Элдерсоном, он сталкивался с явной бесчестностью не часто и только у представителей низших классов. Можно оправдать какого-нибудь бродягу, или даже клерка, или домашнюю прислугу. У них много соблазнов и никаких традиций. Но чего ждать от жизни, если даже на аристократа нельзя положиться в таком простом вопросе, как честность! Каждый день приходится читать о преступлениях, и можно с уверенностью сказать, что на одно дело, которое доходит до суда, десятки остаются нераскрытыми. А если прибавить все темные дела, что творятся в Сити, все сделки на комиссиях, подкуп полиции, торговлю титулами – с этим, впрочем, как будто покончено, – все мошенничества с подрядами... Прямо волосы дыбом встают!

Можно издеваться над прежним временем, и, конечно, наше время таит больше соблазнов, но что-то простое и честное ушло из жизни безвозвратно. Люди добиваются своего всеми правдами и неправдами, не желают больше ждать, когда удача сама придет к ним в руки. Все так спешат нажиться или прожиться! Деньги – во что бы то ни стало! Каких только не продают теперь шарлатанских средств, каких только книг не печатают, махнув рукой на правду и на приличия. А рекламы! Боже милостивый!

Эти мрачные размышления завели его в Вестминстер. Можно, пожалуй, зайти на Саут-сквер узнать, сообщила ли Флер по телефону, как доехала.

В холле на саркофаге лежало восемь шляп разных цветов и фасонов. Что тут еще творится? Из столовой доносился шум голосов, потом загудело кто-то произносил речь. У Майкла какое-то собрание, а в доме только что была корь!

– Что у вас тут творится? – спросил он Кокера.

– Кажется, что-то насчет трущоб, сэр; мистер Монт говорил, они собираются их обновлять.

– Положите мою шляпу отдельно, – сказал Сомс. – От миссис Монт было что-нибудь?

– Она звонила, сэр. Доехали хорошо. Собаку, кажется, тошнило дорогой. Упрямый пес.

– Ну, – сказал Сомс, – я пока посижу в кабинете.

Войдя в кабинет, он заметил на письменном столе акварель: серебристый фон, дерево с большими темно-зелеными листьями и шаровидными золотыми плодами – сделано по-любительски, но что-то есть. В нижнем углу надпись рукой его дочери:

«Золотое яблоко. Ф. М. 1926».

Он и понятия не имел, что она так хорошо владеет акварелью! Вот умница! И он прислонил рисунок так, чтобы получше рассмотреть его. Яблоко? Что-то не похоже.

Совершенно несъедобные плоды и сияют, точно фонари. Запретный плод! Такой Ева могла дать Адаму. Может быть, это символ? Воплощение ее тайных мыслей? И, глядя на рисунок, он погрузился в мрачное раздумье, из которого его вывел звук открывающейся двери. Вошел Майкл.

– Здравствуйте, сэр!

– Здравствуйте, – ответил Сомс. – Это что за штука?

XI. ВЗЯЛИСЬ ЗА ТРУЩОБЫ

Живя в эпоху, когда почти все подчинено комитетам, Майкл мог с уверенностью сказать, чему подчиняются сами комитеты. Нельзя собрать комитет непосредственно после обеда, ибо тогда члены комитета будут спать; или непосредственно перед обедом, ибо тогда они будут раздражительны. Нужно дать членам комитета свободно поговорить о чем вздумается, пока они не устанут слушать друг друга. Но должен быть кто-нибудь, предпочтительно председатель, кто бы мало говорил, побольше думал и уж конечно не спал бы, когда наступит подходящий момент, чтобы предложить среднюю линию действия, которую измученные члены обычно и принимают.

Залучив епископа и сэра Годфри Бедвина – специалиста-туберкулезника и получив отказ от своего дяди Лайонеля Черрела, который сразу сообразил, что его жену леди Элисон хотят втянуть в работу, Майкл созвал первое собрание у себя в три часа, в день отъезда Флер на взморье. Явился Хилери и молоденькая девушка в роли секретарши. Началось с неожиданностей. Члены комитета в полном составе расселись вокруг испанского стола и стали беседовать. Майклу было ясно, что и епископ, и сэр Тимоти Фэнфилд метят на роль председателя, и он под столом легонько толкнул отца, опасаясь, как бы первый из них не выдвинул кандидатуру второго – в надежде, что тот выдвинет кандидатуру первого. Сэр Лоренс шепнул ему:

– Голубчик, это моя нога.

– Я знаю, – шепнул Майкл в ответ, – не начать ли? Сэр Лоренс выронил монокль и сказал:

– Правильно! Джентльмены, я предлагаю избрать председателем Уилфрида Бентуорта. Как вы, маркиз, поддерживаете?

Маркиз кивнул.

Удар был принят благосклонно, и «помещик» проследовал на председательское место. Он начал так:

– Я буду краток. Вам всем известно столько же, сколько и мне, то есть почти ничего. Идея принадлежит мистеру Хилери Черрелу, его я и попрошу познакомить нас с нею. Трущобы плодят инвалидов, к тому же они кишат паразитами, и я со своей стороны готов сделать все, что в моих силах, чтобы искоренить это зло. Мистер Черрел, предоставляю вам слово.

Хилери не заставил себя просить; он горячо, остроумно и обстоятельно изложил свои взгляды, особенно напирая на человеческий подход к проблеме, которой, как он сказал, «до сих пор занимались только муниципальные власти, синие книги и всякие ханжи». Речь его произвела впечатление – все заговорили наперебой. «Помещик», который сидел, подняв голову, крепко сдвинув пятки, расставив колени и прижав локти к бокам, изрек:

– К делу! Курить можно, Монт? – и, отказавшись от предложенных Майклом сигар и папирос, набил трубку и несколько минут курил молча.

– Значит, – сказал он вдруг, – мы все считаем, что первая наша задача – это создать фонд.

Так как никто еще этого мнения не высказывал, все сейчас же согласились.

– В таком случае надо приступить к делу и составить текст воззвания, – и он добавил, указывая трубкой на сэра Лоренса: – Вы ловко владеете пером, Монт; вот вы, и

епископ, и Черрел – пройдите, пожалуйста, в другую комнату и набросайте нам проект. В выражениях не стесняйтесь, но никакой слезливости.

Когда выделенная тройка удалилась, разговор завязался снова. Майкл слышал, что «помещик» и сэр Годфри Бедвин говорят о преимуществах клеевой краски, а маркиз обсуждает с мистером Монтроссом электрификацию его кухни. Сэр Тимоти Фэнфилд уставился на картину Гойи. Ему было лет семьдесят, он был высок и худ, имел тонкий нос крючком, смуглое лицо и большие белые усы; служил когда-то в гвардии и теперь был в отставке.

Слегка опасаясь его мнения о Гойе, Майкл поспешил сказать:

– Вот, сэр Тимоти, горняки-то все бастуют.

– Да, расстрелять их надо. Люблю рабочего человека; а вот вождей расстрелял бы немедленно.

– А как насчет шахтовладельцев? – осведомился Майкл.

– Их вождей тоже расстрелял бы. Никогда у нас не будет мира в промышленности, пока мы не расстреляем кого-нибудь. Жаль, мы во время войны мало людей перестреляли. Пацифистов, коммунистов, спекулянтов – я бы их всех поставил к стенке!

– Как я рад, что вы состоите в нашем комитете, сэр, – тихонько сказал Майкл, – нам нужен человек с решительными взглядами.

– А! – сказал сэр Тимоти и заговорил тише, указывая подбородком на другой конец стола. – Между нами говоря, слишком он либерален, наш «помещик». Этих мерзавцев надо брать за горло. Я знал одного субъекта – сам владелец половины трущобного квартала, а имел наглость просить меня пожертвовать денег на миссионеров в Китае. Я ему сказал, что его расстрелять надо. Вот нахал! Ну, ему это не понравилось.

– Да что вы! – сказал Майкл.

В эту минуту девушка дернула его за рукав – пора начинать записывать?

Майкл решил, что рано.

Сэр Тимоти опять уставился на картину.

– Семейный портрет? – спросил он.

– Нет, – ответил Майкл, – это Гойя.

– Скажите на милость! Гой – это по-еврейски христианин. Так это что же, христианка?

– Нет, сэр. Фамилия испанского художника.

– Понятия не имел, что у них есть художники, кроме Мурильо и Веласкеса; ну, таких, как эти, теперь не бывает. Новых художников, знаете ли, четвертовать бы надо. Вот еще... – и он опять понизил голос, – епископ! Тоже! Вечно они гнут свою линию – то против регулирования рождаемости, то всякие миссии. Рост неимущего населения надо пресекать в корне. Так или иначе – не давать им рожать детей; да расстрелять парочку домовладельцев – действовать с обоих концов сразу. Но вот увидите – побоятся! Вы знаете что-нибудь о муравьях?

– Только то, что они трудолюбивы, – сказал Майкл.

– Я их изучаю. Приезжайте ко мне в Хэмпшир, я вам искажу мои диапозитивы. Самое интересное насекомое на свете. – Он опять понизил голос. Это кто там беседует со старым маркизом? Что? Этот резинщик? Кажется, еврей? А он зачем сюда втерся? Неправильно составлен этот комитет, мистер Монт. Шропшир премилый старичок, но... – сэр Тимоти постучал себя по лбу, – вконец помешался на электричестве. И доктор у вас есть. Поют они сладко, да толку мало. Вам нужен комитет, который бы не стеснялся с этими мерзавцами. Чаю? Не пью. Повесить бы того негодяя, который изобрел чай.

В эту минуту в комнату вернулась редакционная комиссия. Майкл облегченно вздохнул и встал с места.

– Алло! – сказал «помещик». – Ну, вы времени не теряли.

Выражение скромного достоинства, промелькнувшее на лицах редакционной комиссии, не обмануло Майкла. Он знал, что Хилери еще дома заготовил проект

воззвания. Бумагу вручили председателю, и он, надев роговые очки, стал читать ее вслух так, точно это был список гончих или программа скачек. Майкл невольно почувствовал, что в этом есть и хорошая сторона, «помещик» и выразительное чтение никак не совмещались в его сознании. Кончив читать, «помещик» сказал:

– Теперь мы можем обсудить один параграф за другим. Но время идет, господа. Я лично считаю, что тут сказано все, что нужно. Ваше мнение, Шропшир?

Маркиз наклонился вперед и посучил бородку.

– Проект превосходный, одно замечание: мало подчеркнуто значение электрификации кухонь. Вот и сэр Годфри скажет. Нельзя требовать, чтобы эти бедные люди жили чисто, пока мы не избавим их от дыма, вони и мух.

– Ну что же, Шропшир, сформулируйте, и можно будет добавить.

Маркиз стал писать. Майкл увидел, что сэр Тимоти крутит усы.

– Я недоволен! – разразился он вдруг. – Надо написать так, чтобы у этих домовладельцев глаза на лоб полезли. На то мы и собрались, чтобы прищемить им хвосты. Слишком мягко выражаетесь.

– М-м! – сказал «помещик». – Что же вы предлагаете, Фэнфилд?

Сэр Тимоти прочел по заметкам на манжете:

– «Мы твердо убеждены, что всякого, кто владеет домами в трущобах, нужно расстрелять». Эти господа...

– Не пойдет, – сказал «помещик».

– Почему?

– Дома в трущобах принадлежат всяким почтенным лицам – вдовам, синдикатам, герцогам; да мало ли кому! Нельзя называть их господами и предлагать их расстреливать. Не годится.

Слово взял епископ.

– Не лучше ли выразить это следующим образом: «Нижеподписавшиеся глубоко сожалеют, что лица, владеющие домами в трущобах, так мало сознают свою ответственность перед обществом».

– Боже ты мой! – вырвалось у сэра Тимоти.

– Полагаю, что можно завернуть и покрепче, – сказал сэр Лоренс, – но нам бы сюда нужно юриста, чтобы в точности знать, как далеко мы можем зайти.

Майкл обратился к председателю.

– У меня есть юрист, сэр, здесь, в доме, – мой тесть. Я видел, он только что пришел. Полагаю, что он не откажется.

– «Старый Форсайт!» – сказал сэр Лоренс. – Как раз то, что нужно. Его бы надо к нам в комитет, Бентуорт. Он дока по части дел об оскорблении личности.

– А, – сказал маркиз, – мистер Форсайт! Умная голова, безусловно.

– Так давайте включим его, – сказал «помещик», – юрист всегда пригодится.

Майкл вышел.

Не найдя Сомса перед Фрагонаром, он поднялся к себе в кабинет и был встречен вопросом тестя:

– Это что за штука?

– Правда, хорошо, сэр? Это работа Флер – много чувства.

– Да, – проворчал Сомс, – на мой взгляд, даже слишком.

– Вы, наверно, заметили шляпы в передней. Мой комитет по перестройке трущоб как раз составляет воззвание, и они были бы страшно благодарны вам, сэр, если бы вы зашли к нам и как юрист просмотрели бы кое-какие упоминания о домовладельцах. Они, видите ли, боятся, как бы не написать лишнего. И еще, если вы не будете возражать, они с радостью включили бы вас в число членов.

– Так и включили бы? – сказал Сомс. – А кто это они?

Майкл назвал имена.

Сомс повел носом.

– Ух, сколько титулов! А это не опрометчивая затея?

– О нет, сэр. Одно то, что мы приглашаем вас, доказывает обратное. А кроме того. Уилфрид Бентуорт, наш председатель, три раза отказывался от титула.

– Ну, не знаю, – сказал Сомс. – Пойду посмотрю на них.

– Вы очень добры. Я думаю, что вид их вас вполне успокоит. – И он повел Сомса вниз.

– Совершенно не в моем духе, – сказал Сомс, переступая порог. Его приветствовали молчаливыми кивками и поклонами. У него сложилось впечатление, что до его прихода они все время пререкались.

– Мистер... мистер Форсайт, – сказал один из них, по-видимому, Бентуорт. – Мы просим вас как юриста войти в наш комитет и указать нам... э-э... линию, сдержать наших бретеров, таких вот, как Фэнфилд, вы меня понимаете... – И он взглянул поверх черепаховых очков на сэра Тимоти. Вот ознакомьтесь, будьте добры!

Он передал бумагу Сомсу, который тем временем уселся на стул, пододвинутый ему девушкой-секретаршей. Сомс стал читать.

«Полагая, что есть обстоятельства, оправдывающие владение недвижимым имуществом в трущобах, мы все же глубоко сожалеем о том явном равнодушии, с которым большинство владельцев относится к этому великому национальному злу. Активное сотрудничество домовладельцев помогло бы нам осуществить многое, что сейчас неосуществимо. Мы не хотим вызывать у кого бы то ни было чувство омерзения к ним, но мы стремимся к тому, чтобы они поняли, что должны посильно помочь стереть с нашей цивилизации это позорное пятно».

Сомс прочел текст еще раз, придерживая двумя пальцами кончик носа, потом сказал:

– «Мы не хотим вызывать у кого бы то ни было чувство омерзения». Не хотите, так не надо; зачем же об этом говорить? Слово «омерзение»... Гм!

– Совершенно верно, – сказал председатель. – Вот видите, как ценно ваше участие, мистер Форсайт.

– Совсем нет, – сказал Сомс, глядя по сторонам. – Я еще не решил вступить в члены.

– Послушайте-ка, сэр! – и Сомс увидел, что к нему наклоняется человек, похожий на генерала из детской книжки. – Вы что же, считаете, что нельзя употребить такое мягкое слово, как «омерзение», когда мы отлично знаем, что их расстрелять надо?

Сомс вяло улыбнулся; чего-чего, а милитаризма он терпеть не мог.

– Можете употреблять его, если вам так хочется, – сказал он, – только ни я, ни какой другой здравомыслящий человек тогда в комитете не останется.

При этих словах по крайней мере четыре члена комитета заговорили сразу. Разве он сказал что-нибудь слишком резкое?

– Итак, эти слова мы снимем, – сказал председатель. – Теперь, Шропшир, давайте ваш параграф о кухнях. Это важно.

Маркиз начал читать; Сомс поглядывал на него почти благосклонно. Они хорошо поладили в деле с Морландом. Параграф возражений не вызвал и был принят.

– Итак, как будто все. И мне пора.

– Минутку, господин председатель. – Сомс увидел, что эти слова исходят из-под моржовых усов. – Я знаю этих людей лучше, чем кто-либо из вас. Я сам начал жизнь в трущобах и хочу вам кое-что сказать. Предположим, вы соберете денег, предположим, вы обновите несколько улиц, но обновите ли вы этих людей? Нет, джентльмены, не обновите.

– Их детей, мистер Монтросс, детей, – сказал человек, в котором Сомс узнал одного из тех, кто венчал его дочь с Майклом.

– Я не против воззвания, мистер Черрел, но я сам вышел из низов, и я не мечтатель и вижу, какая нам предстоит задача. Я вложу в это дело деньги, джентльмены, но я хочу предупредить вас, что делаю это с открытыми глазами.

Сомс увидел, что глаза эти, карие и грустные, устремлены на него, и ему захотелось сказать: «Не сомневаюсь!» Но, взглянув на сэра Лоренса, он убедился, что и «Старый

Монт» думает то же, и крепче сжал губы.

– Прекрасно, – сказал председатель. – Так как, же, мистер Форсайт, вы с нами?

Сомс оглядел сидящих за столом.

– Я ознакомлюсь с делом, – сказал он, – и дам вам ответ.

В ту же минуту члены комитета встали и направились к своим шляпам, а он остался один с маркизом перед картиной Гойи.

– Кажется, Гойя, мистер Форсайт, и хороший. Что, я ошибаюсь или он действительно принадлежал когда-то Берлингфорду?

– Да, – сказал изумленный Сомс. – Я купил его в тысяча девятьсот десятом году, когда лорд Берлингфорд распродал свои картины.

– Я так и думал. Бедный Берлингфорд! И устроил же он тогда скандал в палате лордов. Но они с тех пор ничего другого и не делали. Как это все было по-английски!

– Очень уж они медлительны, – пробормотал Сомс, у которого о политических событиях сохранились самые смутные воспоминания.

– Может, это и к лучшему, – сказал маркиз. – Есть когда раскаться.

– Если желаете, я могу показать вам тут еще несколько картин, – сказал Сомс.

– Покажите, – сказал маркиз; и Сомс повел его через холл, который к тому времени очистился от шляп.

– Ватто, Фрагонар, Патер, Шарден, – говорил Сомс.

Маркиз, слегка нагнув голову набок, переводил взгляд с одной картины на другую.

– Очаровательно! – сказал он. – Какой был восхитительный и никчемный век! Что ни говорите, только французы умеют показать порок в привлекательном свете, да еще, может быть, японцы – до того как их испортили. Скажите, мистер Форсайт, можете вы назвать хоть одного англичанина, которому это удалось бы?

Сомс никогда не задумывался над этим вопросом и не был уверен, желательно ли это для англичанина; он не знал, что ответить, но маркиз заговорил сам:

– А между тем, французы самый семейственный народ.

– Моя жена француженка, – сказал Сомс, глядя на кончик своего носа.

– Да что вы! – сказал маркиз. – Как приятно!

Сомс опять собирался ответить, но маркиз продолжал:

– Как они выезжают на пикники по воскресеньям – всей семьей, с хлебом и сыром, с колбасой, с вином! Поистине замечательный народ!

– Мне больше нравятся англичане, – заявил Сомс. – Не так, может быть, живописны, но... – Он замолчал, не перечислив добродетелей своей нации.

– Основатель моего рода, мистер Форсайт, был, несомненно, француз, даже не нормандец. Есть легенда, что его наняли к Вильгельму Руфусу, когда тот стал сесть, и велели поддерживать рыжий цвет его волос. По-видимому, это ему удалось, так как впоследствии его наделили земельными угодьями. С тех пор у нас в семье повелись рыжие, Моя внучка... – он птичьим глазком поглядел на Сомса, – впрочем, они, помнится, были не в ладах с вашей дочерью.

– Да, – свирепо подтвердил Сомс, – были не в ладах.

– Теперь, я слышал, помирились.

– Не думаю, – сказал Сомс, – но это дело прошлое.

Сейчас, осаждаемый новыми страхами, он почти готов был пожалеть об этом.

– Ну, мистер Сомс, вы мне доставили истинное удовольствие тем, что показали картины. Ваш зять говорил мне, что хочет электрифицировать свою кухню. Поверьте, ничто так не способствует хорошему пищеварению, как кухарка, которая никогда не горячится. Не забудьте передать это миссис Форсайт!

– Передам, – сказал Сомс, – но французы консервативный народ.

– Прискорбно, но верно, – согласился маркиз, протягивая руку. – Всего вам лучшего!

– Всего лучшего! – сказал Сомс и остался стоять у окна, глядя вслед быстрой фигурке старика в серо-зеленом костюме с таким ощущением, словно он сам слегка

подвергся электрификации.

ХII. ДИВНАЯ НОЧЬ

В Лоринге у волнореза сидела Флер. Мало что так раздражало ее, как море. Она его не чувствовала. Море, о котором говорят, что оно вечно меняется, угнетало ее своим однообразием – синее, мокрое, неотвязное. И хотя она сидела лицом к нему, мысленно она от него отворачивалась. Она прожила здесь неделю и не видала Джона. Они знали, где она, но навестила ее только Холли; и верное чутье подсказало Флер причину – должно быть, Энн поняла. А теперь она знала от Холли, что и Гудвуда ждать нечего. Не везло ни в чем, и все существо ее возмущалось. Она пребывала в грустном состоянии полной неопределенности. Знай она в точности, чего хочет, она могла бы с собой сладить; но она не знала. Даже о Ките уже не нужно было особенно заботиться: он совсем окреп и целые дни возился в песке с ведром и лопаткой.

«Больше не могу, – подумала она, – поеду в город. Майкл мне обрадуется».

Она позавтракала пораньше и поехала; в поезде читала мемуары, автор которых с успехом погубил репутацию ряда умерших лиц. Книга была модная и развлекала ее больше, чем она ожидала, судя по заглавию; и по мере того как все меньше ощущался в воздухе запах устриц, настроение ее поднималось. В сумочке у нее были письма от отца и от Майкла, она достала их, чтобы перечитать.

"Радость моя!

(Так начиналось письмо Майкла. Да, наверно, она еще и сейчас его радость.)

Я здоров, «чего и вам с Китом желаю». Но скучаю без тебя ужасно, как всегда, и думаю в скором времени к тебе заявиться, если только ты не заявишься первая. Не знаю, видала ли ты в понедельник в газетах наше воззвание. Облигации уже понемножку расходятся. Комитет на прощание раскошелился. Морж выложил пять тысяч, маркиз прислал чек на шестьсот, который ему дал за Морланда твой отец, сам он и Барт дали по двести пятьдесят. «Помещик» дал пятьсот, Бедвин и сэр Тимоти по сотне, а епископ дал двадцать и свое благословение. Так что для начала у нас шесть тысяч восемьсот двадцать с одного комитета – не так уж скверно. Думаю, что дело пойдет. Воззвание отпечатано и рассылается всем, кто когда-нибудь на что-нибудь жертвует; среди прочих средств пропаганды мы имеем обещание «Полифема» показать фильм о трущобах, если мы сумеем его выпустить. Дядя Хилери настроен радужно. Забавно было наблюдать за твоим отцом – он долго думал, а потом побывал-таки в «Лугах». Вернулся, говорит – не знает; квартал весь разваливается, пятьсот фунтов на каждый дом – и то будет мало. Я в тот вечер напустил на него дядюшку, и он совсем растаял под влиянием Хилери. Но на следующее утро был сильно сердит, говорил, что, раз он подписал воззвание, его имя появится в газетах, а это будто бы может повредить ему: «Подумают, что я с ума спятил». Но в общем в комитет он вступил и со временем привыкнет. Компания, надо сказать, неважная; по-моему, их только и связывает, что мысль о клопах. Сегодня опять было собрание. Блайт зол не на шутку, говорит, что я изменил ему и фоггартизму. Конечно, это неправда, но надо же, черт возьми, заниматься чем-нибудь настоящим!

Крепко целую тебя и Кита. Майкл.

Рисунок твой окантован и висит у меня над письменным столом, очень хорошо получилось. Отец твой прямо поразился. М." Над письменным столом – «Золотое яблоко»! Вот ирония! Бедный Майкл – если б он знал!

Письмо отца было короткое, как и все его письма:

"Дорогая моя дочь,

Твоя мать уехала домой, а я пока остался на Гринстрит в связи с этой затеей Майкла. Право, не знаю, стоящее ли это дело; о трущобах болтают много вздора. Все же я нахожу, что его дядя Хилери приятный человек, хоть и священник, и среди членов комитета есть неплохие имена. Там посмотрим.

Я не знал, что ты еще работаешь акварелью. Рисунок сделан очень недурно, хотя тема мне не ясна. Для яблок фрукты слишком мягкие и яркие. Ну, тебе лучше знать, что ты хотела изобразить. Я был рад услышать, что Кит хорошо поправился и что морской воздух идет тебе на пользу.

Любящий тебя отец С. Ф."

Знать, что хотела изобразить! Только бы знать! И только бы не знал отец! Вот какие мысли не давали ей покоя, и она разорвала письмо и через окно разметала его по графству Сэрри. Он следил за ней, как рысь, как любовник; а ей сейчас не хотелось, чтобы за ней следили.

Багажа у нее не было, и с вокзала она в такси поехала в Чизик. Джун хоть будет знать что-нибудь об этих двоих: все ли еще они в Уонсдоне, вообще где они.

Как ясно она помнила особнячок Джун с того единственного раза, что была в нем, когда они с Джоном...

Джун была в холле, собиралась уходить.

— О, это вы! — сказала она. — Вы так и не пришли тогда в воскресенье!

— Да, слишком много дел набралось перед отъездом.

— Сейчас здесь живут Джон и Энн. Харолд пишет с нее прелестный портрет. Вещь получается исключительная, Она, по-моему, милая малютка (насколько помнила Флер, «она» была на несколько дюймов выше самой Джун) и хорошенькая. Сейчас мне нужно пойти купить ему кое-что необходимое, но я через четверть часа вернусь. Если хотите, подождите меня в столовой, а потом вместе пойдем наверх, и я покажу ему вас. Он единственный человек, который сейчас работает по-настоящему.

— Хорошо, что хоть один есть, — сказала Флер.

— Вот репродукции с его картин, — и Джун раскрыла большой альбом, лежавший на маленьком обеденном столе. — Какая прелесть, правда? И все его работы такие. Вы посмотрите, а я сейчас вернусь.

И, слегка тронув Флер за плечо, она умчалась.

Флер не стала просматривать альбом, она посмотрела в окно, окинула взглядом комнату. Как она помнила ее — и это вот круглое зеркало, старинное, тусклое, в которое она смотрелась семь лет назад, поджидая Джона, и бурную сцену, происшедшую тогда между ними в этой комнате, слишком тесной для бурь! Джон живет здесь! Сердце ее громко билось. Она опять поглядела на себя в тусклое зеркало. Ведь она хороша, не хуже, чем была тогда! Даже лучше! Черты лица определились, нет прежней девичьей расплывчатости. Как бы дать ему знать, что она здесь? Как бы повидать его одного хоть минутку? Сейчас вернется эта восторженная слепая дурочка (как Флер мысленно окрестила Джун). И быстрый ум принял быстрое решение: если Джон здесь, она найдет его! Она поправила волосы на висках, жемчуг на шее, провела по носу пуховкой почти без пудры, вышла в холл и прислушалась. Ни звука! И она стала медленно подниматься по лестнице. Он может быть в своей комнате или в ателье — больше укрыться некуда. На первой площадке справа — спальня, слева — спальня, прямо — ванная; двери открыты. Пусто! И в сердце у нее тоже пусто. Наверху помещалось только ателье. Если Джон там, то там же и художник и эта девчонка, его жена. Стоит ли? Она пошла было вниз, потом вернулась. Да! Стбит! Медленно, очень тихо она пошла дальше. Дверь в ателье открыта, слышно быстрое, знакомое шарканье ног художника перед мольбертом. На минуту она закрыла глаза, потом опять пошла. На площадке у открытой двери остановилась. Дальше идти было незачем: в комнате, прямо против нее, висело широкое зеркало, и в нем, оставаясь невидимой, она увидала: в углу низкого дивана сидел Джон с незакуренной трубкой в руке и глядел в пространство. На возвышении стояла его жена; она была в белом платье, в руках держала лилию на длинном стебле, цветок доставал ей почти до подбородка. О, какая хорошенькая и смуглая, глаза темные, лицо в рамке темных волос. Но лицо Джона! Что выражает оно? Мысли ушли глубоко под маску, как глубоко под брови ушли глаза. Ей вспомнилось — так иногда смотрят львята: ничего не видят вблизи, а

вдали видят... что? Глаза Энн – как это Холли про них сказала: «Как у самой славной русалки» – скользнули по его лицу, и тотчас же его взгляд оторвался от пространства и улыбнулся в ответ. Тогда Флер повернулась, быстро спустилась по лестнице и выбежала на улицу. Дождаться Джун – выслушивать ее панегирики – знакомиться с художником сдерживать себя при этой девчонке? Нет! Забравшись на империал автобуса, она увидела, как из-за угла выскользнула Джун, и злобно порадовалась ее разочарованию: когда тебе сделали больно, хочется причинить боль другому. Автобус повез ее прочь, по Кингз-Род, через Хэммерсмит, потеющий под послеобеденным солнцем, прочь в большой город, с его миллионами жизней и интересов, неприступный, равнодушный, как судьба.

Она сошла у Кенсингтонского сада. Может быть, если нагуляться до боли в ногах, перестанет болеть сердце. И она пошла быстро, не глядя на цветы и нянюшек, на почтенных старичков и старушек. Но ноги у нее были крепкие, и она слишком быстро дошла до угла Хайд-парка – к великой, впрочем, радости одного из старичков, который все время старался не отставать от нее, потому что в его возрасте возбуждение было ему полезно. Она пересекла улицу, вошла в Грин-парк и замедлила шаг. И на ходу презирала себя. Презирала! Она, считавшая, что сердце – это так постигшая, казалось бы, искусство сдерживать или обгонять свои чувства!

Она добралась до дому, а дома было пусто – Майкла нет. Прошла наверх, велела подать себе турецкого кофе, залезла в теплую ванну и лежала, куря папиросы. Это принесло ей некоторое облегчение. Все ее друзья пользовались этим средством. Вдоволь насладившись, она надела халатик и пошла в кабинет Майкла. Вот и ее «Золотое яблоко» – очень мило окантовано. Сейчас плод казался ей особенно несъедобным. Как улыбался глазами Джон в ответ на улыбку этой женщины! Подбирать объедки! И пробовать не хочется. Зелено яблоко, зелено! Даже белая обезьяна отказалась бы от таких фруктов. И несколько минут она стояла, глядя в упор в глаза обезьяне на китайской картине – почти что человечески глаза, и все-таки не человечески, потому что смотрело ими создание, понятия не имевшее о логике. Современный художник не мог бы изобразить такие глаза. У китайского живописца, работавшего столько лет назад, была и логика и чувство традиции. Он увидел беспокойство зверя под более острым углом, чем то доступно людям теперь, и запечатлел его навеки.

А Флер, прелестная в ярко-зеленом халатике, прикусила уголок губы и пошла в свою комнату – одеваться. Она выбрала самое красивое платье. Если заветное желание ее невыполнимо, если нельзя получить то, от чего она стала бы и спокойна и логична, пусть будет хотя бы удовольствие, быстрота, развлечение – хватать их обеими руками, пить жадным ртом! И она уселась перед зеркалом с намерением всячески себя приукрасить. Сделала маникюр, получше уложила волосы, надушила брови; губы не подкрасила и едва заметно напудрила лицо, а шею, потемневшую от приморского солнца, – побольше.

Там и застал ее Майкл – шедевр современного искусства, такое совершенство, что притронуться страшно.

– Флер! – сказал он, и только; но слова были бы излишни.

– Я считаю, что заслужила свободный вечер. Одевайся поскорей, Майкл, и пойдем пообедаем, где позабавнее, а потом в театр и в клуб. Тебе ведь сегодня не нужно идти в палату?

Он думал пойти туда, но было что-то в ее голосе, что удержало бы его и от более важных дел.

Вдыхая ее аромат, он сказал:

– Дивно! Я только что из трущоб. Сию секунду, родная! – и умчался.

Пока длилась секунда, она думала о нем и о том, какой он хороший. И, думая о нем, видела глаза, и волосы, и улыбку Джона.

Место «позабавнее» был ресторанчик, полный актеров. Со многими Флер и Майкл были знакомы, и перед тем как разойтись по театрам, они подходили и говорили: «Вот приятная встреча!» – и, что самое странное, их лица и впрямь это выражали. Но такая уж

публика – актеры! У них лица что угодно выразят. И все повторяли: «Постановку нашу видели? Непременно сходите гадость ужасная!» или «Замечательная пьеса!» А потом, приметив через плечо других знакомых, восклицали: «А! Вот приятная встреча!» Их нельзя было упрекнуть в скучной логичности, Флер выпила коктейль и два бокала шампанского. Когда они вышли, щеки ее слегка горели. «Такая милашка» уже полчаса как началась, когда они до нее добрались, но это значения не имело – из того, что они увидели, они поняли не больше, чем могли бы понять из пропущенного первого акта. Театр был переполнен, в публике говорили, что «пьеса продержится много лет». В ней была песенка, которую распевал весь город, танцовщик, ноги которого могли складываться под самым острым углом, – и ни капли логики. Майкл и Флер вышли, напевая все ту же песенку, взяли такси и поехали в танцевальный клуб, где состояли членами не столько потому, что когда-либо там бывали, сколько следуя моде. Клуб был для избранных, среди членов числился и один министр, вступивший в него из чувства долга. В момент их прихода танцевали чарльстон, семь пар а разных углах комнаты пошатывались на расслабленных коленях.

– Ой-ой-ой, – сказал Майкл. – Ну, дальше в пустоту идти некуда! Что тут интересного?

– Пустота, милый! Мы живем в пустое время – разве ты не знал?

– И нет предела?

– Предел, – сказала Флер, – это то, чего нельзя преступить; а пустоту можно совершенствовать до бесконечности.

Сами по себе слова ничего не значили – цинизм, какникак, был в моде, но от тона их Майкл содрогнулся: в тоне прозвучала личная нотка. Неужели она находит, что жизнь ее так уж пуста? Почему бы?

– Говорят, – сказала Флер, – скоро будут танцевать новый американский танец, называется «Белый луч», он еще менее содержателен.

– Не может быть, – сказал Майкл, – этого образчика врожденного идиотизма не превзойти. Посмотри-ка вон на ту пару!

Пара, о которой шла речь, покачиваясь, двигалась за ним, выгнув колени так, точно в них провалились их души; в глазах, устремленных на Флер и Майкла, было не больше выражения, чем в четырех стеклянных шариках. От талии вниз они излучали странную серьезность, а выше казались просто мертвыми. Музыка кончилась, каждая из семи пар остановилась и стала хлопать в ладоши, не поднимая рук, точно боясь нарушить достигнутую выше талии пустоту.

– Неправда, – сказал вдруг Майкл.

– Что?

– Что это характерно для нашего века – ни красоты, ни веселья, ни искусства, ни даже изюминки – делай глупое лицо и дрожи коленками.

– Потому что ты сам не умеешь.

– А ты что, умеешь?

– Ну конечно, – сказал Флер, – нельзя же отставать.

– Только ради всего святого, чтобы я тебя не видел.

В этот момент все семь пар перестали хлопать в ладоши, Оркестр заиграл мелодию, под которую коленки не сгибались. Флер с Майклом пошли танцевать. Протанцевали два фокстрота и вальс, потом ушли.

– В конце концов, – говорила Флер в такси, – в танцах забываешься. В этом была вся прелесть столовой. Найди мне опять работу, Майкл; Кита я смогу привезти через неделю.

– Хочешь вместе со мной секретарствовать по нашему фонду перестройки трущоб? Ты была бы незаменима для устройства балов, базаров, утренников.

– Ну что ж! А их стоит перестраивать?

– По-моему, да. Ты не знаешь Хилери. Надо пригласить их с тетей Мэй к завтраку. После этого сама решишь.

Он просунул руку под ее обнаженный локоть и прибавил:

– Флер, я тебе еще не очень надоел, а?

Тон его голоса, просительный, тревожный, тронул ее, и она прижала его руку локтем.

– Ты мне никогда не надоешь. Майкл.

– Ты хочешь сказать, что никогда у тебя не будет ко мне такого определенного чувства?

Именно это она и хотела сказать и потому поспешила возразить:

– Нет, мой хороший; я хочу сказать, что понимаю, когда у меня есть что-нибудь или даже кто-нибудь стоящий.

Майкл вздохнул, взял ее руку и поднес к губам.

– Если б не быть такой сложной! – воскликнула Флер. – Счастье твое, что ты – цельная натура. Это величайшее благо. Только, пожалуйста, Майкл, никогда не становись серьезным. Это было бы просто бедствие.

– Да, в конце концов все – комедия.

– Будем надеяться, – сказала Флер, и такси остановилось. – Какая дивная ночь!

Расплатившись с шофером, Майкл взглянул на освещенную фигуру Флер в открытых дверях. Дивная ночь! Да – для него.

XIII. «ВЕЧНО»

В следующий понедельник, узнав от Майкла, что наутро Флер с Китом приезжают домой, Сомс сказал:

– Я давно хотел познакомиться с этой частью света. Нынче к вечеру поеду туда на автомобиле и завтра привезу их. Флер ничего не говорите. Я извещу ее из Нетлфолда. Там, я слышал, есть отель.

– И очень неплохой, – сказал Майкл. – Но он, наверно, будет переполнен – ведь завтра начало скачек.

– Я предупрежу по телефону. Для меня номер найдется.

Он позвонил, и номер для него нашелся – кто-то другой его не получил. Выехал он часов в пять, узнав от Ригза, что ехать предстоит два с половиной часа. С утра погода была типично английская, но к тому времени, как они достигли Доркинга, прояснилось, стало приятно. В течение многих лет Сомс почти не заглядывал в ту часть Англии, которая лежала за прямой линией, соединяющей его имение на реке с центром Лондона; и так как в этот день он был менее обычного озабочен, то мог даже заняться более или менее объективными наблюдениями. Местность, конечно, пестрая и бугристая, неисправимо зеленая и совсем не похожа на Индию, Канаду или Японию. Говорят, меньше чем полторы тысячи лет тому назад здесь были чащи, вереск, болота. Что тут будет еще через полторы тысячи лет? Опять чащи, вереск, болота или сплошной громадный пригород – как знать? Где-то он читал, что люди будут жить под землей, а по воскресеньям вылезать на поверхность и дышать воздухом, летая на собственных аэропланах. Что-то не верится. Англичане не смогут прожить без открытых окон и хорошего сквозняка, и, по его мнению, играть в мяч под землей всегда будет душно, а в воздухе – невозможно. Те, что пишут пророческие статьи и книги, всегда забывают, что у людей есть страсти. Он пари готов держать, что и в 3400 году страстью англичанина будет: играть в гольф, ругать погоду, сидеть на сквозняках и изменять текст молитвенников.

И тут он вспомнил, что старый Грэдмен сильно постарел; надо подыскивать ему заместителя. По управлению имуществом семьи делать, в сущности, нечего – нужна только абсолютная честность. А где ее найдешь? Если она и существует, установить это можно только путем длительных экспериментов. К тому же человек должен быть молодой – сам он вряд ли долго протянет. И, подъезжая к Биллингсхерсту со скоростью сорока

миль в час, он вспомнил, как старый Грэдмен вез его со скоростью шести миль с вокзала Пэддингтон на Парк-Лейн; ехали в наемной карете, в ногах была постелена мокрая солома, и было это лет шестьдесят назад, когда сам старый Грэдмен был двадцатилетним юнцом, пытался отрастить баки и целые дни писал круглым канцелярским почерком. Столб, на нем дощечка: «Пять дубов»; ни одного дуба не видно! Ну и гонит этот Ригз! Не сегодня-завтра опрокинет машину – сам жалеть будет. Но велеть ему ехать тише как будто и недостойно, в автомобиле нет ни одной женщины; и Сомс сидел неподвижно, лицо его выражало легкое презрение – своего рода страховка от собственных ощущений. Через Пулбсро, зигзагами вниз, по мостику, через речку, в совсем незнакомую местность. Непривычный вид – справа и слева плоские луга, зимой тут, конечно, будет болото; на лугах – темно-рыжий скот, и черный с белым, и розовопегий; а дальше к югу – высокие холмы необычного голубовато-зеленого оттенка, будто внутри они белые; выходы мела то тут, то там; и наверно, на холмах есть овцы – он всегда почтительно отзывался о южноанглийской баранине. Очень хорошее освещение, все серебрится, красивая в общем местность, здесь чувствуешь, будто тело становится легче, и голова не такая тяжелая. Так вот где обосновался его племянник и этот молодой человек, Джон Форсайт. Ну что ж, бывает хуже – очень своеобразно; точно такой местности он как будто не видел. И нехотя, из присущего его натуре чувства справедливости. Сомс одобрил их выбор. Как этот Ригз бьет машину на подъеме, а подъем трудный; мелькают разработки мела и разработки гравия, поросшие травой холмы и полосы леса в низинах, сторожка у ворот парка, потом большой буквый лес. Очень красиво, очень тихо" живого – только деревья, развесистые деревья, очень тенистые, очень зеленые. Дальше какая-то большущая церковь и нагромождение высоких стен и башен – по-видимому, замок Эрендл, мрачный, тяжелый; чем дальше от него отъедешь, тем, наверно, красивее он выглядит; потом опять через реку, и опять в гору, и дальше во весь дух в Нетлфолд, и вот отель, и впереди – море!

Сомс вышел из машины.

– Когда обедают?

– Уже начали, сэр.

– Одеваться полагается?

– Да, сэр. Сегодня бал-маскарад, сэр, по случаю скачек.

– Тоже затея! Оставьте мне столик; я сейчас приду.

Когда-то он вычитал в старинном романе, что отличительный признак джентльмена – умение одеться к обеду в десять минут, и притом самому завязать себе галстук. Он это твердо запомнил. Через двенадцать минут он сидел за столом. Уже кончали обедать, одеты все были как обычно. Сомс ел не спеша, поглядывая в окно на сад и расстилавшееся за ним море. Он не питал неприязни к морю – не то что Флер; недаром он семь лет прожил в Брайтоне и каждый день ездил на работу в Лондон. То было время, когда его покинула первая жена и он старался забыть свой позор. Странно, почему это позор всегда достается в удел тому, кто обижен? Людей восхищает безнравственность, сколько бы они ни утверждали обратное. Покинутый муж, покинутая жена вызывают пренебрежение. Что это – остаток дикости в человеческой природе или просто реакция против официальной нравственности судей, я духовенства и так далее? Нравственность иногда уважают, но официальную нравственность – нет! Он читал это во взглядах людей после своего несчастья; убедился в этом во время процесса против Марджори Феррар. Выходит, что люди прибегают к защите закона, но втайне недолгобливают его, так как он обязывает. Та же история и с налогами: без них не обойтись, но когда есть возможность не заплатить – отчего же?

После обеда он сидел в почти пустом салоне, курил сигару и просматривал иллюстрированные журналы: дамы о детях или собаками, раздетые дамы в невероятных позах, раздетые дамы в еще более невероятных позах; титулованные мужчины, мужчины на аэропланах, государственные мужи в неприятных ситуациях, скаковые лошади; большие дома и люди, выстроившиеся перед ними в ряд, и тут же

напечатанные имена их, и прочие признаки царства небесного на земле. Остальные гости, верно, «расфуфыривались» для бала (как сказал бы Майкл); подумать только – в их возрасте, и рядиться! Но дураков на свете много – это он давно знал! Флер удивится, когда он нагрянет к нам завтра утром. Скоро она приедет к нему на Темзу – сейчас там самое лучшее время, – и, может быть, ему удастся уговорить ее поехать с ним в автомобиле куда-нибудь на Запад и отвлечь ее мысли от этой части Англии и этого молодого человека. Он часто сам себе обещал поездку на родину старых Форсайтов; только вряд ли Флер заинтересует такая примитивная картина, как владения бедных фермеров. Журнал выпал у него из рук, и он загляделся в широкое окно на засыпающие цветы. Немного уж, верно, лет ему осталось прожить. Говорят, теперь живут дольше, чем раньше, но как прожить дольше старых Форсайтов, он, право, не знал. В среднем десятеро их прожили по восемьдесят семь лет – чудовищный возраст! А между тем как будто и странно будет умереть через пятнадцать лет, когда, вот как сейчас, цветут цветы и внук так хорошо подрастает. В старости начинаешь страдать от чувства, что недостаточно всем насладился – Вот например, коровы, и грачи, и хорошие запахи. Почему это, когда стареешь, так близка и нужна становится природа? Впрочем, Флер она, вероятно, никогда не будет нужна – ей нужны люди; хотя это у нее, может быть, и пройдет, когда она раз навсегда убедится, как мало в них интересного. Сумерки окутали сад и раздумья Сомса. На набережной былолюдно, играл оркестр. Оркестр играл и за его спиной, где-то в отеле. Наверно, танцуют! Пойти посмотреть – а потом спать. Во время кругосветного путешествия с Флер он часто высовывал нос на палубу и смотрел, как танцуют; странное это занятие в наше время: шимми, чарльстон – так, кажется, ужас! Он вспомнил танцкласс, где маленьким мальчиком его обучали польке, мазурке, манерам и гимнастике. И бледная улыбка поползла у него по щекам. Мисс Шире, маленькая старушка, обучавшая его и Уинифрид, – да она умерла бы на месте, доведись ей дожить до современных танцев! Старые танцы теперь презируют; он, по правде говоря, и сам их раньше презирал, но по сравнению с теперешними – ходить взад и вперед и дрожать в коленях – это все-таки были танцы. Взять хоть шотландский матлот, где надо было вертеться и подвывать, или старый галоп под песню «Джон Пиль молодец» забористые были танцы, приходилось менять воротничок. Теперь воротничков не меняют – знай себе прохлаждаются. Станный способ наслаждаться жизнью в эпоху, когда только об этом и кричат. Он вспомнил, как еще до первого брака забрел как-то случайно в один из старых танцевальных клубов «Атенсй» и видел, как Джордж Форсайт и его приятели кружат своих дам в вальсе так, что у тех ноги пола не касаются. В то время девушки в этих клубах все были профессиональные ночные бабочки. Сейчас, говорят, совсем не так. Но верно одно: люди притворяются – притворяются прожигателями жизни и все такое, а жить не живут; все только думают, как бы пожить.

Музыка джаза смолкла, потом опять зазвучала, он встал. Взглянуть одним глазом – и спать.

Зал был расположен где-то в стороне. Сомс пошел коридором. В конце его вихрем кружились звуки и краски. Танцевали «расфуфыренные» на совесть Мефистофели, испанки, итальянские крестьяне, пьеро. Ошалелый взгляд с трудом охватывал расхаживающую, вертящуюся толпу; ошалелый слух решил, что мелодия пытается изобразить вальс. Он вспомнил, что вальс идет на счет три, вспомнил, как танцевали вальс в прежнее время, слишком ясно вспомнил бал у Роджера и Ирэн, свою жену, вальсирующую в объятиях Босини; до сих пор он не забыл выражения ее лица, и как волновалась ее грудь, и запах гардений, приколотых к ее платью, и лицо этого человека, когда она поднимала на него свои темные глаза, и как ничего для них не существовало, кроме их преступного счастья; вспомнил балкон, на который он бежал от этого зрелища, и полисмена внизу, на красной дорожке, постеленной через тротуар.

– «Вечно» – хороший вальс! – сказал кто-то у него за спиной. И правда неплохой, такой нежный. Из-за плеча крупной дамы, пытающейся, по-видимому, изобразить из себя

фею, он опять стал разглядывать танцующих. Что это? Вот там! Флер! Флер в своем костюме с картины Гойи! Виноградного цвета платье, сбор винограда, – разлетается от колен, лицо почти касается лица шейха. Флер! И этот шейх, этот мавр в широком белом одеянии! Чтобы не застонать. Сомс закашлялся. Эта пара! Так близко, и словно ничего для них не существует. Как Ирэн с Босини, так она с этим Джоном! Они миновали его и не заметили за внушительной фигурой. Сомс старался не потерять их в движущейся, снующей толпе. Вот они опять близко, глаза ее почти закрыты, он еле узнал их; а над легкой косынкой, прикрывающей ее плечи, – глаза Джона, глубокие, напряженные! А жена его где? И в то же мгновение Сомс увидел ее – она тоже танцевала, но все оглядывалась на них – русалка в чем-то длинном, зеленом, с удивленными ревнивыми глазами. И понятно, когда у нее перед носом плывет юбка Флер, волнуется ее грудь, излучают томление глаза! «Вечно!» Неужели никогда не кончится эта проклятая мелодия, не кончат танцевать эти двое, которые с каждым тактом словно все теснее прижимаются друг к другу! И из боязни быть замеченным Сомс повернул прочь и стал медленно подниматься к себе в номер. Взглянул одним глазом. Довольно!

Оркестр на набережной перестал играть, публика расходилась, огни гасли. За окном шумело – должно быть, подходил прилив. Сомс тронул рукой крахмальную сорочку, там, где болело; и замер на месте. «Вечно!» Страх перед неисчислимыми последствиями заливал его сознание, как рокошующий морской прилив. Дочь отверженная; внука у него отняли; память о прошлом отравлена; надежды пошли прахом! «Вечно!» Как бы не так! Не допустит он! Никогда! И мрачное самообладание, которое только два или три раза в жизни изменяло ему, и всегда с плачевным результатом, опять изменило ему на мгновение, так что всякий, кто вошел бы сейчас в полутемный голый номер отеля, счел бы его за безумного. Припадок прошел. Что толку лезть на стену! Еще хуже: только заболеешь, а ему нужны все его силы. Для чего? Чтобы сидеть смирно, ничего не делать; чтобы ждать, что будет. Венера! Не прикасаться к богине – злобной, ревнивой, с пустыми темными глазами! Он прикоснулся к ней в прошлом, и она ответила ударом. Не прикасаться! Владеть наболевшим, тревожным сердцем! И просто ждать, что будет!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. СОМС ДАЕТ СОВЕТЫ

Вернувшись в Нетлфолд после своей вылазки в Лондон, Флер продолжала изнывать у «соленой морской волны». Ни Джон, ни жена его та, к и не приехали ее провести. Никаких сомнений: на нее наклеили ярлычок «яд». Два раза ходила она гулять к ферме Грин-Хилл в надежде, что повторится «забавная встреча». Видела там уютный старый дом и солидные дворовые постройки; сбоку их защищал склон холма, впереди открывался широкий вид на море. Тихий, удобный, гостеприимный уголок вызвал в ней враждебное чувство. Ей тут никогда не быть хозяйкой; значит, и дом этот ей враг, одна из тех сил, что борются против нее. Пока жизнь Джона не устроена, ей есть на что надеяться. Как только он оседет на этом мирном клочке земли, им прочно завладеет его жена, и он уйдет у нее из рук, на этот раз окончательно – уже два раза обжегся! Но как ни болело ее сердце, она все еще не понимала ясно, чего же в конце концов она добивается. Пока не нужно было ничего решать, казалось возможным многое, что в глубине души она считала невозможным. Даже потеря имени и чести не рисовалась ей как последняя степень безумия... Вновь пережить Испанию с Джоном! При этой мысли руки ее сжимались, раскрывались губы. Странствовать вдвоем, а тем временем изменчивое, снисходительное общество наших дней все забудет, а может, и простит! Любой вид общения с ним – от корректной платонической дружбы до полной потери себя; от преступной и тайной связи до спокойных открытых свиданий, пусть коротких, только не слишком редко. Волнение в

крови подсказывало ей, что все возможно, если и не вполне вероятно, лишь бы теперь не потерять его навсегда.

Среди этих лихорадочных метаний точкой опоры явилось письмо от тети Уинифрид:

«... Из письма Вала я узнала, что в Гудвуд они не поедут, – их прелестный двухлеток не в форме. Так обидно! Самые интересные скачки за весь год. Пишет, что они очень заняты переговорами о ферме, которую думает купить этот Джон Форсайт. Вэл с Холли радуются, что они будут жить так близко, но боюсь, как бы американочка не заскучала. Холли пишет, что они собираются на веселый маскарад в Нетлфолдский отель. Энн будет русалкой – ей пойдет, у нее такие прямые ножки; Холли будет *madame Vigee le Brun*, а Вэл говорит, что оденется „жучком“ или совсем не поедет. От всей души надеюсь, что он не сделает себе красный нос. У Джона Форсайта есть костюм араба, который он вывез из Египта».

«... А у меня, – подумала Флер, – есть платье, в котором я приходила в его комнату в Уонсдоне». Как жалела она теперь, что не вышла из этой комнаты его женой, – после этого ничто не могло бы разлучить их. Но они тогда были такими невинными младенцами!

Дело в том, что она сейчас же решила тоже поехать на этот маскарад. Она приехала первая и злорадно наблюдала за лицами Джона и Энн, когда встретила их у входа в зал. Ее виноградное платье! Она увидела, что Джон его помнит, и поскорее стала расхваливать костюм Энн: «Самая настоящая русалка!» А что касается Джона – ему для полного состава не хватает еще одной-двух жен! Вплоть до этого вальса она вела себя безукоризненно; и потом тоже старалась казаться безукоризненной всем, кроме Джона. Для него одного она затаила (так она по крайней мере надеялась) и близость, и ласку, и томление взгляда; но за эти несколько минут она дала ему ясно почувствовать, что любит его.

– Вечно! – только и сказала она, когда они наконец остановились.

И после этого танца Флер ускользнула домой: духу не хватило смотреть, как он будет танцевать со своей русалкой. Вся дрожа, пробралась она к себе, упала на кровать, разрыдалась беззвучно. И в путаных видениях мелькало и мучило загорелое лицо, и глаза, и ноги русалки. Наконец она затихла. Хоть несколько минут она владела им, сердцем к сердцу. Все лучше, чем ничего!

Встала она поздно, бледная и как будто успокоившаяся. В десять часов неожиданное появление автомобиля Сомса заставило ее окончательно укрыться под маской. Она встретила его словами преувеличенной благодарности, которой совершенно не чувствовала.

– Папа! Вот чудесно! Откуда ты?

– Из Нетлфолда. Я там ночевал.

– В отеле?

– Да.

– Подумай, я сама вчера вечером была там на балу.

– О, – сказал Сомс, – на маскараде? Мне о нем говорили. Весело было?

– Так себе; я рано уехала. Если б я знала, что ты там! Что же ты не предупредил, что приедешь за нами?

– Мне просто вздумалось, что для мальчика так будет лучше, чем ехать поездом.

И Флер так и не поняла, что он видел и видел ли вообще что-нибудь.

К счастью, всю дорогу в город Кит болтал без умолку, а Сомс дремал, сильно утомленный целой ночью тревог, колебаний и бессонницы. Вид дома на Саут-сквер, такого спокойно изысканного, горячая радость Майкла и ответные излияния Флер вернули ему некоторую долю душевного равновесия. Что ни говори, а несчастные семьи не так выглядят; это много значило для определения будущего, заглянуть в которое он уже не находил в себе сил.

После завтрака он пошел в кабинет Майкла поговорить о перестройке трущоб. Во

время разговора, сидя перед акварелью Флер, Сомс вновь открыл истину, что отдельные люди интереснее, чем собрание их, именуемое государством. Не благополучие нации владело его мыслями, а творец этих загадочных фруктов. Как помешать ей отвесть их?

– Да, сэр. Ведь правда, совсем не плохо? Хорошо, если бы Флер серьезно взялась за акварель.

Сомс вздрогнул.

– Хорошо, если бы она хоть за что-нибудь взялась серьезно, чтоб голова у нее была занята.

Майкл взглянул на него. «Как собака, когда хочет понять», – подумал Сомс. Вдруг он увидел, что молодой человек провел языком по губам.

– Вы, кажется, хотите мне что-то сказать, сэр? Я помню, что вы мне говорили несколько недель тому назад. Это на ту же тему?

– Да, – ответил Сомс, следя за его глазами. – Не принимайте слишком близко к сердцу, но у меня есть основания полагать, что она так и не отделалась от своего прежнего чувства. Не знаю, много ли вам известно об этом детском увлечении.

– Да как будто все.

Опять он увидел, как Майкл облизнул себе губы.

– О! От нее?

– Нет. Флер ни слова не говорила. От мисс Джун Форсайт.

– Эта женщина! Она-то уж конечно все выложила. Но Флер вас любит.

– Привыкла.

Это слово озадачило Сомса: даже трогательно!

– Ну-с, – сказал он, – я и вида не подал. Может быть, вас интересует, почему мне так кажется?

– Нет, сэр.

Сомс взглянул на него и быстро отвел глаза. Да, горькая минута для мужа его дочери! Стоит ли нарочно приближать критический момент, когда чувство, смутное, но глубокое, подсказывает, что пройти через него так или иначе придется? Сам он умеет ждать, а вот сумеет ли этот представитель молодого поколения, такой легкомысленный, рассеянный? Впрочем, он джентльмен. Хотя в это Сомс уверовал твердо. И тем утешался, глядя на «Белую обезьяну» на стене, которая уж никак не могла претендовать на это звание.

– Ничего не поделаешь, – пробормотал он, – подождем...

– И не «увидим», сэр! Только не это. Я могу ждать и не видеть или уж выяснить все начистоту.

– Нет, – веско произнес Сомс, – не выясняйте. Я мог ошибиться. Все говорит против этого. Она же понимает, что ей выгодно.

– Не надо! – воскликнул Майкл и встал.

– Ну, ну, – тихо сказал Сомс, – я вас расстроил. Все зависит от вашей выдержки.

У Майкла вырвался невеселый смешок.

– Вы второй раз вокруг света не поедете, сэр. Может быть, теперь лучше поехать мне, и притом одному?

Сомс посмотрел на него.

– Нельзя так, – сказал он. – Она к вам сильно привязана; просто она мечется, а может, и этого нет. Будьте мужчиной, сохраняйте спокойствие. – Теперь он обращался к спине молодого человека, это оказалось легче. Она, знаете ли, всегда была избалованным ребенком; мало ли чего избалованные дети не заберут себе в голову, но значения это не имеет. Не могли бы вы заинтересовать ее этими трущобами?

Майкл обернулся.

– Как далеко это зашло?

– Ну вот! – сказал Сомс. – Никуда не зашло, насколько я знаю. Просто я случайно видел вчера, как она танцевала с ним в этом отеле, и обратил внимание на ее... ее лицо.

Слово «глаза» показалось ему слишком сильным.

– А потом не забудьте, – поспешил он добавить, – у него есть жена симпатичная маленькая женщина; и он, я слышал, собирается осесть на своей ферме. Это займет все его время. Может, увезти мне Флер на август и сентябрь в Шотландию? Стачка стачкой, но все же можно найти куда поехать.

– Нет, сэр, к чему оттягивать беду? Так или иначе – надо кончать.

Сомс ответил не сразу.

– Никогда не следует забегать вперед, – сказал он наконец. – Вы, молодежь, всегда торопитесь. Можно такого надеть, что петом не распутаешь. Если б еще что-нибудь новое, – продолжал он робко, – а то на минуту воскресла несчастная старая история; и опять умрет, как и в первый раз, если не вмешиваться. Пусть побольше двигается, да постарайтесь занять ее ум.

На лице молодого человека появилось странное выражение. «И вы, сэр, на опыте убедились в действенности этих средств?» – словно говорило оно. Эта Джун еще, чего доброго, разболтала и его прошлое!

– Обещайте мне все-таки никому ничего не говорить о нашей беседе и не делать ничего опрометчивого.

Майкл покачал головой.

– Обещать ничего не могу, смотря как пойдет дальше; но совет ваш я запомню, сэр.

Этим Сомсу и пришлось удовлетвориться.

Повинуясь рожденному любовью инстинкту, который руководил им во всем, что касалось Флер, он на следующий день простился с нею чуть ли не равнодушно и уехал в Мейплдерхем. Он подробно рассказал Аннет обо всем, кроме самого главного: сказать ей все ему и в голову не пришло.

В эти последние дни июля в его имении было чем насладиться; он, как приехал, отправился в лодке на рыбную ловлю. И созерцая свою удочку и скользящую, зеленую от отражений воду, почувствовал, что отдыхает. Камыши, водяные лилии, стрекозы, коровы на его собственном лугу, неумолчное воркование лесных голубей, их всегдашнее «так ту телку, Дэвид», вдали жужжание косилки садовника; плеснет водяная крыса, удлиняются тени тополей и ветел, стелется запах травы и светлых цветов прибрежной бузины, медленно проплывают белые речные облака – тихо, очень тихо... И что-то от покоя природы снизошло в его душу, так что исчезновение поплавок резким рывком вернуло его к действительности.

«Верно, что-нибудь несъедобное», – подумал, он, вытаскивая удочку.

II. ЗАНЯТИЕ ДЛЯ УМА

Все на свете комедия? Так ли? Майкл и сам не знал. Говоря Сомсу, что он не может ждать и видеть, он выразил вполне естественное отвращение. Следить, шпионить, рассчитывать – невозможно! Пойти к Флер и попросить ее честно рассказать ему о своих чувствах – вот что ему хотелось бы сделать. Но он не мог не знать, как глубоко и тревожно любит ее его тесть и как он умен; к тому же его собственное чувство было слишком сильно, чтобы подвергнуть опасности то, что в одинаковой мере составляло счастье «Старого Форсайта» и его собственное. Старик показал себя таким молодцом, когда вытащил сам себя с корнем и повез Флер вокруг света, что заслуживал всяческого уважения. Итак, оставалось ждать и не пытаться видеть – самая трудная роль, наименее активная. «Постарайтесь занять ее ум!» Легко сказать! Вспоминая собственные ощущения перед свадьбой, он плохо представлял себе, как это можно сделать. К тому же ум Флер было особенно трудно занять чем-нибудь, не ею самой выбранным. Трудно? Нет! По своему сугубо трезвому складу она уклонялась от социальных проблем, считая их бесполезными и отвлеченными. С конкретной задачей вроде столовой, где можно было блеснуть, она справилась бы превосходно; но никогда она не станет работать, не видя

близкой цели и без блеска! Он представлял себе, как ее ясные глаза глядят на трущобы так же, как глядели на фоггартизм и на его эксперимент с безработными. Можно познакомить ее с Хилери и тетей Мэй, но толку из этого не выйдет.

Ночь принесла с собой первый острый вопрос. Какими же будут их отношения, если чувства ее и правда заняты другим? Ждать и не видеть означало продолжение женатой жизни. Он подозревал, что Сомс это и хотел посоветовать. Подхлестываемый желанием, уязвленный и оглушенный ревностью, которую нужно было скрывать, и не желая обидеть Флер, он ждал знака, чувствуя, что она должна понять, почему он ждет. Знак был подан, и он обрадовался, но это его не убедило. Хотя...

Проснулся он в гораздо лучшем настроении. За завтраком он спросил ее, чем она хочет заняться, раз она теперь дома и сезон кончился. Интересует ли ее вообще затея с трущобами, ведь работы там сколько угодно; и Хилери с Мэй должны ей понравиться.

– Ну что ж! Лишь бы какое-нибудь полезное дело, Майкл!

Он поехал с ней в «Луга». Результат превзошел его ожидания.

Дело в том, что его дядя и тетка были человеческими зданиями, подобных которым Флер еще не видывала, – крепко построенные, сцементированные традицией, но широко открытые солнцу и воздуху, увенчанные крышей из хорошего вкуса и пробитые окнами юмора. Майкл, хоть и родной им по складу, не обладал ни их уравновешенностью, ни деятельной уверенностью. Флер сразу поняла, что эта пара живет в большем единении, чем кто-либо из известных ей людей, словно за двадцать лет совместной жизни они сковали себе одно орудие, чтобы с помощью его открыть нечто новое – способ прожить не только для себя. Они были не глупы, но умные разговоры в их присутствии казались лишними, оторванными от жизни. Они – особенно Хилери очень много знали о цветах, типографском деле, архитектуре, горах, сточных трубах, электричестве, ценах на продукты, итальянских городах; умели лечить собак, играть на разных инструментах, оказывать первую и даже вторую помощь, занимать детей и смешить стариков. На любую тему – от религии до нравственности – они говорили свободно и с той терпимостью, которая дается опытом чужих страданий и забвением своих собственных. Умная Флер отдала им должное. Хорошие люди, но не скучные – очень странно! Отдавая им должное, она и сама невольно им подражала. Их позиция в жизни была выше ее собственной – это она признала и готова была хотя бы на словах показать свое восхищение. Но слова невысоко ценились в «Лугах». Руки, ноги, ум и сердце – вот что требовалось в первую очередь. Все же, чтобы занять свой ум, она согласилась взять предложенную ей работу. И тут начались неприятности. Работа была не по ней и не сулила карьеры. Все ее старания поставить себя на место миссис Корриган или маленьких Топмарш были напрасны. Работницы от «Петтер и Поплин», хранившие свои платья в бумажных пакетах, раздражали ее и своим говором, и своим молчанием. Каждый новый тип на один день казался ей занятым, потом просто не нравился. Все же она очень старалась – и для себя, и чтобы обмануть Майкла. Так прошло больше недели, а потом ее осенила мысль.

– Знаешь, Майкл, я чувствую, что мне было бы настолько интереснее самой устроить в деревне что-нибудь вроде дома отдыха, куда могли бы приезжать девушки подышать воздухом и вообще.

Майклу, помнившему ее работу по столовой, мысль показалась блестящей. Флер она скорее казалась удачным выходом из положения, как сказал бы ее отец. Ее, расчетливый ум учел все возможности – Она может уезжать туда без всяких помех и придинок, и никто не будет знать, как она проводит время. Для отношений с Джоном нужна была какая-то база под убедительной вывеской. Она сейчас же начала учиться водить машину – ведь дом отдыха нужно устроить не слишком близко от Джона, чтобы не возбудить подозрений. Она попросила отца финансировать предприятие. Сначала неуверенно, потом почти с радостью Сомс согласился. Если он будет оплачивать аренду и налог, остальное она доложит из своего кармана. Такая политика лучше всяких других доводов помогла ей убедить его в искренности своих намерений: он наотрез отказывался верить, что люди

могут интересоваться чем-нибудь, что не стоит им денег. Внимательно изучав карту, она остановила свой выбор на окрестностях Доркннга. БоксХилл славился воздухом и красивыми окрестностями я был на расстоянии часа быстрой езды от Уоасдона. В три недели она нашла и обставила дешевый нежилой дом – у самого шоссе, в обращенном к Лондону конце Бокс-Хилла; при доме был хороший сад и конюшня, которую ничего не стоило превратить в гараж. Флер закончила свое шоферское образование и подыскивала мужа с женой, которым можно было бы безнаказанно поручить роль сторожей. Она много советовалась с Майклом и Черрелами. – Как кошка старательно скрывает от всех в доме место, где она собирается произвести на свет котят, так Флер скрывала свои сложные планы за этими приготовлениями. К концу августа "Дом отдыха прихода «Луга», как его окрестили, был: открыт.

Все это время Флер пробавлялась самыми скудными сведениями о Джоне. Узнала из письма Холли, что переговоры о ферме Грин-Хилл затягиваются из-за цены, хотя Джон все определеннее склоняется к покупке; что Энн с каждым днем все больше становится англичанкой и сельской жительницей; Рондавелъ опять в форме и должен выиграть в Донкастере – Вэл уже заключил на него рискованное пари на дерби будущего года.

Флер ответила письмом, составленным с таким расчетом, чтобы произвести впечатление, что сейчас ее не интересует ничего на свете, кроме ее работы. Они все должны к ней приехать и убедиться, что ее «Дом отдыха» превзошел столовую. Все «такие милые», все «страшно интересно». Она хотела дать им почувствовать, что не боится за себя, что мысли о Джоне не волнуют ее и что у нее есть серьезный интерес в жизни. Майкл, не свободный от наивности, присущей хорошему характеру, все больше поддавался обману. Ему казалось, что ум ее действительно занят, а тело и вовсе, раз она почти каждый день приезжает из Доркиннга, а конец недели проводит с ним вместе либо в Мейплдерхеме, где жил Кит с дедом и бабушкой, либо в Липпингхолле, где с ней всегда носились. Когда в тихую погоду он катал ее в лодке, к нему возвращалось чувство безопасности. У «Старого Форсайта» просто разыгралось воображение; старик, и правда, что твоя насадка, когда дело касается Флер, – вкочет и встречает разъяренным взглядом каждого, кто подходит близко!

Парламент был распущен, и вся работа Майкла теперь ограничивалась трущобами. Эти дни на реке, навсегда связанной для него с порой сватовства, были самыми счастливыми с начала стачки – стачки, которая в уменьшенном масштабе все тянулась, так утомительно, что о ней перестали говорить, благо погода стояла теплая.

А Сомс? Спокойная приветливость дочери и его успокоила. Он поглядывал на Майкла и помалкивал, соображаясь с лучшими английскими традициями и собственным достоинством Он сам напомнил, что опекаемый Джун «несчастненький» должен был писать портрет Флер. Он чувствовал, что это еще больше займет ее ум. Впрочем, ему бы следовало сначала познакомиться с работами художника, хотя это, очевидно, связано с визитом к Джун.

– Если бы ее не было дома, – сказал он Флер, – я бы, пожалуй, заглянул в его ателье.

– Так устроить это, папа?

– Как-нибудь потактичнее, – сказал Сомс, – а то она еще взбеленится.

И вот, приехав к нему в следующую субботу. Флер сказала:

– Хочешь, милый, поедem вместе в понедельник и зайдем туда. Рафаэлит будет дома, а Джун не будет. Она жаждет видеть тебя не больше, чем ты ее, – она всегда отличалась откровенностью.

– Гм, – сказал Сомс.

Они поехали в город в его машине. Составив себе мнение, Сомс должен был вернуться, а Флер ехать дальше, домой. Рафаэлит встретил их наверху лестницы. Сомс решил, что он похож на матадора (хотя он в жизни ни одного не видел): короткие баки, широкое бледное лицо, на котором было написано: «Если вы воображаете, что способны оценить мою работу, так вы ошибаетесь». А у Сомса на лице было написано: «Если вы

воображаете, что мне так уж интересно оценить вашу работу, так вы ошиблись вдвойне». И, оставив его с Флер, он стал смотреть по сторонам. Признаться, впечатление у него сложилось благоприятное. Судя по картинам, художник совершенно отмахнулся от современности. Поверхность гладкая, перспектива соблюдена, краски богатые. Он уловил новую нотку, или, вернее, воскресшую старую. Талант у этого малого бесспорно есть; долговечен ли он, этого по нашим временам не скажешь, но картины его более приемлемы для общежития, чем все, что он видел за последнее время. Дойдя до портрета Джун, он постоял, нагнув голову набок, потом сказал с бледной улыбкой:

– Хорошо уловили сходство. – Ему приятна была мысль, что Джун, вероятно, не заметила того, что заметил он. Но когда взгляд его упал на портрет Энн, его лицо потемнело, и он быстро взглянул на Флер, а та сказала:

– Да, папа? Как ты это находишь?

У Сомса мелькнула мысль: «Не потому ли она согласна позировать, что хочет встречаться с ним?»

– Готов? – спросил он.

Рафаэлит ответил:

– Да. Завтра отправляю.

Лицо Сомса опять посветлело. Значит, не страшно!

– Очень хорошая работа! – проговорил он. – Лилия сделана превосходно, – и перешел к наброску с женщины, которая открыла им дверь.

– Вполне можно узнать! Совсем не плохо.

Таковыми сдержанными замечаниями он давал понять, что хотя в общем одобряет, но несуразную цену платить не намерен. Улучив момент, когда Флер не могла их услышать, он сказал:

– Так вы хотите писать портрет моей дочери? Ваша цена?

– Сто пятьдесят.

– Многовато по нынешним временам – вы человек молодой. Впрочем, лишь бы было хорошо сделано. Рафаэлит отвесил иронический поклон.

– Да, – сказал Сомс. – Конечно, вы думаете, что все ваши вещи – шедевры. В жизни не встречал художника, который держался бы другого мнения. Не заставляйте ее подолгу позировать, у нее много дела. Значит, решено. До свидания. Не провожайте. Выходя, он сказал Флер:

– Ну, я сговорился. Можешь начинать, когда хочешь. Он работает лучше, чем можно бы предположить по его виду. Строгий, я бы сказал, мужчина.

– Художнику нужно быть строгим, папа, а то подумают, что он заискивает.

– Возможно, – сказал Сомс. – Теперь я поеду домой, раз ты не хочешь, чтобы я тебя подвез. До свидания! Береги себя и не переутомляйся, – и, подставив ей щеку для поцелуя, он сел в автомобиль. Флер пошла на восток, к остановке автобуса, а машина его двинулась к западу, и он не видел, как дочь остановилась, дала ему отъехать и повернула обратно к дому Джун.

III. ТЕРПЕНИЕ

Точно так же, как в нашем старом-престаром мире невозможно разобраться в происхождении людей и явлений, так же темны и причины человеческих поступков; и психолог, пытающийся свести их к какому-нибудь одному мотиву, похож на Сомса, полагавшего, что дочь его хочет позировать художнику, чтобы увидеть свое изображение в раме на стене. Он знал, что рано или поздно – и чаще всего рано – все вешают свое изображение на стену. Но Флер, отнюдь, впрочем, не возражавшей против стены и рамы, руководили куда более сложные побуждения. Эта сложность и заставила ее вернуться к Джун. Та просидела все время у себя в спальне, чтобы не встретить своего родича, и теперь была радостно возбуждена.

– Цена, конечно, невысокая, – сказала она, – по-настоящему Харолд должен бы получать за портреты ничуть не меньше, чем Том или Липпен. Но все-таки для пего так важно иметь какую-то работу, пока он еще не может занять подобающее ему положение. Зачем вы вернулись?

– Отчасти чтобы повидать вас, – сказала Флер, – а отчасти потому, что мы забыли условиться насчет нового сеанса. Я думаю, мне всего удобнее будет приходить в три часа.

– Да, – протянула Джун неуверенно, не потому, что она сомневалась, а потому, что не сама предложила. – Думаю, что Харолду это подойдет. Не правда ли, его работы изумительны?

– Мне особенно понравился портрет Энн. Его, кажется, завтра забирают?

– Да, Джон за ним приедет.

Флер поспешно взглянула в тусклое зеркало, чтобы убедиться, что лицо ее ничего не выражает.

– Как, по-вашему, в чем мне позировать?

Джун всю ее окинула взглядом.

– О, он, наверное, придумает для вас что-нибудь необычное.

– Да, но какого цвета? В чем-нибудь надо же прийти.

– Пойдемте спросим его.

Рафаэлит стоял перед портретом Энн. Он оглянулся на них, только что не говоря: «О боже? Эти женщины?» – и хмуро кивнул, когда ему предложили начинать сеансы в три часа.

– В чем ей приходить? – спросила Джун.

Рафаэлит воззрился на Флер, будто определяя, где у нее кончаются ребра и начинаются кости бедра.

– Серебро и золото, – изрек он наконец.

Джун всплеснула руками.

– Ну не чудо ли? Он сразу вас понял. Ваша золотая с серебром комната. Харолд, как вы угадали?

– У меня есть старый маскарадный костюм, – сказала Флер, – серебряный с золотом и с бубенчиками, только я его не надевала с тех пор, как вышла замуж.

– Маскарадный! – воскликнула Джун. – Как раз подходит. Если он красивый. Ведь бывают очень безобразные.

– О, он красивый и очаровательно звенит.

– Этого он не сможет передать, – сказала Джун. Потом добавила мечтательно: – Но вы могли бы дать намек на это, Харолд, – как Леонардо.

– Леонардо!

– О, конечно! Я знаю, он не...

Рафаэлит перебил ее.

– Губы не мажьте, – сказал он Флер.

– Не буду, – покорно согласилась Флер. – Джун, до чего мне нравится портрет Энн! Вы не подумали, что теперь она непременно захочет иметь портрет Джона?

– Конечно, я его уговорю завтра, когда он приедет.

– Он ведь собирается фермерствовать – этим отговорится. Мужчины терпеть не могут позировать.

– Это все чепуха, – сказала Джун. – В старину даже очень любили. Сейчас и начинать, пока он не устроился. Прекрасная получится пара. За спиной рафаэлита Флер прикусила губу.

– И пусть надевает рубашку с отложным воротничком. Голубую – правда. Харолд? – подойдет к его волосам.

– Розовую, в зеленую крапинку, – пробормотал рафаэлит. Джун кивнула.

– Джон придет к завтраку, так что к вашему приходу его уже здесь не будет.

– Вот и отлично. Au revoir!..

Она протянула рафаэлиту руку, что, казалось, его удивило.

– До свидания, Джун!

Джун неожиданно подошла к ней и поцеловала ее в подбородок. Лицо ее в эту минуту было мягкое и розовое, и глаза мягкие; а губы теплые, словно вся она была пропитана теплом. Уходя, Флер думала: «Может, надо было попросить ее не говорить Джону, что я буду приходить?» Но, конечно, Джун, теплая, восторженная, не скажет Джону ничего такого, что могло бы пойти во вред ее рафаэлиту. Она стояла, изучая местность вокруг «Тополей». В эту тихую заводь можно было попасть только одной дорогой: она ныряла сюда и выходила обратно. Вот здесь ее не будет видно из окон, и она увидит Джона, когда он будет уходить после завтрака, в какую бы сторону он ни пошел. Но ему придется взять такси, ведь будет картина. Ей стало горько от мысли, что она, его первая любовь, теперь должна идти на уловки, чтобы увидиться с ним. Но иначе его никогда не увидишь! Ах, какая она была дурочка в Уонсдоне в те далекие дни, когда их комнаты были рядом. Один шаг – и никакая сила не могла бы отнять у нее Джона: ни его мать, ни старинная распря, ни ее отец – ничто! И не стояли тогда между ними ни его, ни ее обеты, ни Майкл, ни Кит, ни девочка с глазами русалки; ничего не было, только юность и чистота. И ей пришло в голову, что юность и чистота слишком высоко ценятся. Она так и не додумалась до способа увидеть его, не выдав преднамеренного плана. Придется еще немножко потерпеть. Пусть только Джон попадет художнику в лапы, и возможностей найдется много. В три часа она явилась с костюмом и прошла в комнату Джун переодеться.

– В самый раз, – сказала Джун. – Прелесть, как оригинально. Харолд прямо влюбится.

– Не знаю, – сказала Флер. Пока что темперамент рафаэлита казался ей не очень-то любчивым. Они прошли в ателье, ни разу не упомянув о Джоне. Портрета Энн не было. И как только Джун вышла принести "как раз то, что нужно для фона. Флер сказала:

– Ну? Будете вы писать портрет моего кузена Джона? Рафаэлит кивнул.

– Он не хотел, она его заставила.

– Когда начинаете?

– Завтра, – сказал рафаэлит. – Он будет приходить по утрам, одну неделю. Что в неделю сделаешь?

– Если у него только неделя, ему бы лучше поселиться здесь.

– Не хочет без жены, а жена простужена.

– О, – сказала Флер, и мысль ее быстро заработала. – Так тогда ему, вероятно, удобнее позировать днем? Я могу приходить утром; даже лучше чувствуешь себя свежее. Джун могла бы известить его по телефону. Рафаэлит пробурчал что-то, что могло быть истолковано как согласие. Уходя, она сказала Джун:

– Я хочу приходить к десяти утра, тогда день у меня освобождается для моего дома отдыха в Доркинге. Вы из могли бы устроить, чтобы Джон приезжал днем? Ему было бы удобнее. Только не говорите ему, что я здесь бываю, за одну неделю мой портрет вряд ли станет узнаваемым.

– О, – сказала Джун, – Кот это неверно. Харолд всегда с самого начала дает сходство; но он, конечно, будет ставить холст лицом к стене, он всегда так делает, пока работает над картиной.

– Хорошо! Он уже сегодня кое-что сделал. Так если вы беретесь позвонить Джону, я приеду завтра в десять.

И она терпела еще целый день. А через два дня кивнула на холст, прислоненный лицом к стене, и спросила:

– Ну, как ведет себя мой кузен?

– Плохо, – сказал рафаэлит. – Ему не интересно. Наверно, ум не тем занят.

– Он ведь, знаете, поэт, – сказала Флер.

Рафаэлит взглянул на нее глазами припадочного:

– Поэт! Голова у него неправильной формы – челюсть длинна, и глаза сидят слишком глубоко.

– А зато какие волосы! Вы разве не находите, что он приятная натура?

– Приятная! – повторил Рафаэлит. – Я все пишу, будь оно красиво или страшно как смертный грех. Возьмите рафаэлевского папу – видали вы когда-нибудь лучший портрет или более уродливого человека? Уродство неприятно, но оно существует.

– Понятно, – сказала Флер.

– Я всегда говорю понятные вещи. Единственно, что сейчас истинно ново, – это трюизмы. Поэтому мое творчество значительно и кажется новым. Люди так далеко отошли от понятного, что только понятное их и ошарашивает. Советую вам над этим подумать.

– В этом много правды, – сказала Флер.

– Конечно, – сказал рафаэлит, – трюизм нужно выразить сильно и ясно. Если вы на это не способны, лучше ходить и ныть да ломаться по гостиным, как делают гагаисты. Трагикомический они народ – стараются доказать, что коктейль лучше старого бренди. Я вчера встретил человека, который сказал мне, что четыре года писал стихотворение в двадцать две строки, которые никто не может понять. Это ли не трагикомедия? Но он себе на нем составит имя, и о нем будут говорить, пока кто-нибудь и пять лет не напишет двадцать три строки еще более заумные... Голову выше... Молчаливый тип ваш кузен.

– Молчание – большой талант, – сказала Флер.

Рафаэлит ухмыльнулся.

– Вы, верно, думаете, что я им не одарен. Но вы ошибаетесь, сударыня. Я недавно две недели прожил, не открывая рта, кроме как для еды, а если говорил, так «да» или «нет». Она даже испугалась.

– Неважно вы с ней обращаетесь, – сказала Флер.

– Неважно. Ей моя душа нужна. Самая гадкая черта в женщинах – о присутствующих, конечно, не говорят – мало им своей души.

– Может, у них и нет ее, – сказала Флер.

– Магометанская точка зрения – что ж, не так уж глупо. Женщине вечно нужна душа мужчины, ребенка, собаки. Мужчины довольствуются телом.

– Меня больше интересует ваша теория трюизмов, мистер Блэйд.

– Вторая теория не по зубам? А? Попал в точку? Плечо немножко поверните. Нет, влево... Так ведь это тоже трюизм, что женщине вечно нужна чья-то душа, – только люди об этом забыли. Вот хоть Сикстинская мадонна! У младенца своя душа, а мадонна парит над душой младенца. Тем и хороша картина, помимо линий и красок. Она утверждает великий трюизм; но его уже никто не видит. Вернее, никто из профессионалов – у них ум "за разум зашел.

– Какой же трюизм вы собираетесь утвердить в моем портрете?

– А вы не беспокойтесь, – сказал рафаэлит. – Какойнибудь да окажется, когда будет готово, хотя, пока я работаю, я и сам не знаю, какой именно. Темперамент не скроешь. Хотите отдохнуть?

– Ужасно. Какой трюизм вы воплотили в портрете жены моего кузена?

– Мама родная! – сказал рафаэлит. – Ну и допрос!

– Ведь вы не сделали для нее исключения? Какой-нибудь трюизм да есть?

– Во всяком случае, что нужно, я передал. Она не на – стоящая американка.

– То есть как?

– Какие-нибудь предки другие – может быть, ирландцы или бретонцы. И на русалку похожа.

– Она, кажется, росла где-то в глуши, – сухо сказала Флер.

Рафаэлит поглядел на нее.

– Не нравится вам эта леди?

– Нравится, конечно, но вы разве не замечали, что живописные люди обычно

скучны? А мой кузен – какой будет его трюизм?

– Совесть, – сказал рафаэлит. – Этот молодой человек далеко пойдет по пути праведному. Он не спокоен.

Резкое движение встряхнуло все бубенчики на костюме Флер.

– Какое страшное пророчество! Ну, будем продолжать?

IV. РАЗГОВОР В АВТОМОБИЛЕ

И еще один день Флер терпела; потом после утреннего сеанса забыла в ателье сумочку. Она заехала за ней в тот же день, попозже. Джон еще не ушел. Он только что кончил позировать и стоял, потягиваясь и зевая.

– Еще разок, Джон! Я каждое утро жалею, что у меня не твой рот. Мистер Блэйд, я забыла здесь сумочку; в ней у меня чековая книжка, она мне сегодня понадобится в Доркинге. Кстати, завтра я, вероятно, на полчаса опоздаю. Ты знал, Джон, что мы с тобой товарищи по несчастью? Мы будто в прятки играли. Как дела? Я слышала, Энн простужена. Передай, что я очень ей сочувствую. Как подвигается портрет? Можно взглянуть одним глазком, мистер Блэйд, мне интересно, выявляется ли трюизм? О! Будет замечательно! Я уже вижу линию.

– Да ну? – сказал рафаэлит. – А я нет.

– Вот моя несчастная сумочка. Если ты кончил, Джон, могу подвезти тебя до Доркинга; там попадешь на более ранний поезд. Поедем, повеселишь меня дорогой. Я так давно тебя не видела!

На Хэммерсмитском мосту к Флер вернулось самообладание, которого внешне она и не теряла. Ока легко болтала на легкие темы, давая Джону время привыкнуть к ее близости.

– Я езжу туда каждый день к вечеру, делаю там, что нужно, а рано утром возвращаюсь в город. Так что до Доркинга я всегда могу тебя довезти. Почему бы нам не видеться изредка? Мы же друзья, Джон?

– Наши встречи не особенно-то способствуют счастью, Флер.

– Милый мой, что такое счастье? Если можно без вреда наполнить свою жизнь, почему не делать этого?

– Без вреда?

– Рафаэлит считает, что у тебя жуткая совесть, Джон.

– Рафаэлит нахал.

– Да, но умный нахал. Ты и правда изменился, у тебя раньше не было этой морщинки между глазами, и челюсть стала очень уж мощная. Послушай, Джон, милый, будь мне другом, как говорится, и давай больше ни о чем не думать... Всегда с удовольствием проезжаю Уимблдонский луг – за него еще не взялись. Ты купил эту ферму?

– Почти.

– Хочешь, поедем через Робин-Хилл? Посмотрим на него сквозь деревья. Может, вдохновишься, напишешь поэму.

– Никогда больше не буду писать стихов. С этим покончено.

– Глупости, Джон. Тебя только нужно расшевелить.

Правда, я хорошо веду машину? Ведь я только месяц как выучилась.

– Ты все хорошо делаешь, Флер.

– Говоришь, точно тебе это не нравится. Ты знаешь, что мы никогда с тобой не танцевали до этого вечера в Нетлфолде? Доведется ли еще когда-нибудь потанцевать?

– Вероятно, нет.

– Джон-оптимист! Ага, улыбнулся! Смотри-ка, церковь! Тебя тут крестили?

– Меня вообще не крестили.

– Ах да. Ведь это был период, когда к таким вещам относились серьезно. Меня,

кажется, два раза мучили – и в католическую веру, и в англиканскую. Вот я и получилась не такая религиозная, как ты, Джон.

– Я? Я не религиозен.

– А по-моему, да. Во всяком случае, у тебя есть моральные устои.

– В самом деле?

– Джон, ты мне напоминаешь вывески на владениях американцев: «Стой. Гляди. – Берегись. – Не входи!» Ты, наверно, считаешь меня ужасно легкомысленной.

– Нет, Флер. Куда там! Ты имеешь понятие о прямой, соединяющей две точки.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ты знаешь, чего хочешь.

– Это тебе рафаэлит сообщил?

– Нет, он только подтвердил мою мысль.

– Ах, вот как? Не в меру болтлив этот молодой человек. Он развивал тебе свою теорию, что женщине нужна чужая душа, а мужчина довольствуется телом?

– Развивал.

– Он прав?

– Обидно с ним соглашаться, но, пожалуй, отчасти и прав.

– Ну, так я тебе скажу, что теперь есть сколько угодно женщин, которые держат свою душу при себе и довольствуются чужими телами.

– Ты из их числа. Флер?

– Может быть, еще что спросишь? Вон Робин-Хилл! Источник песен и сказаний о Форсайтах стоял среди деревьев, серый и важный; заходящее солнце косо освещало фасад, зеленые шторы были еще спущены.

Джон вздохнул.

– Хорошо мне здесь жилось.

– Пока не явилась я и не испортила все.

– Нет, это кошунство.

Флер дотронулась до его плеча.

– Ужасно мило с твоей стороны, Джон, голубчик. Ты всегда был милый, и я всегда буду любить тебя – совершенно невинно. Роща хороша. Гениальная мысль, осенила бога – создать лиственницы.

– Да. Холли говорит, что дедушка больше всего любил здесь рощу.

– Старый Джолион – тот, который не женился на своей возлюбленной, потому что у нее была чахотка?

– Этого я никогда не слышал. Но он – был чудесный старик, мои родители его страшно любили.

– Я видела его карточки. Пожалуйста, не отращи себе такого подбородка, Джон. У всех Форсайтов они такие. Подбородка Джун я просто боюсь.

– Джун редкий человек.

– Ой, Джон, до чего ты благороден!

– Это плохо?

– Просто придает всему невероятную серьезность в мире, который того не стоит. Нет, Лонгфелло можешь не цитировать. Ты, когда вернешься, скажешь Энн, что ехал со мной?

– А почему бы нет?

– Я и так доставляю ей неприятности, правда? Можешь не отвечать, Джон. Но, по-моему, это нехорошо с ее стороны. Мне так мало нужно, и твоя позиция так надежна.

– Надежна? – Флер показалось, будто он прикусил это слово, и минуту она была счастлива.

– Сейчас ты похож на львенка. У львят есть совесть?

Рафаэлиту будет над чем поработать. И все-таки мне думается, не такая у тебя совесть, чтобы сказать Энн. Зачем ее расстраивать, если у нее природная склонность ко

всяким волнениям? – По молчанию, бывшему ей ответом, она поняла, что сделала ошибку. На этот раз осечка, как говорят в детективных романах.

И через Эпсом и Ледерхед они проехали молча.

– Ты все так же любишь Англию, Джон?

– Больше.

– Что и говорить – страна замечательная.

– Ни за что не применил бы к ней это слово – великая и прекрасная страна.

– Майкл говорит, что ее душа – трава.

– Да, и если у меня будет ферма, я до этой души доберусь.

– Не могу вообразить тебя настоящим фермером.

– Ты, верно, вообще не можешь вообразить меня чемнибудь настоящим. Дилетант!

– Не говори гадостей. Просто у тебя, по-моему, слишком тонкая организация для фермера.

– Нет. Я хочу работать на земле – и буду.

– Это у тебя, наверно, атавизм, Джон. Первые Форсайты были фермерами. Мой отец хочет свезти меня посмотреть, где они жили.

– Ты ухватила за эту мысль?

– Я не сентиментальна; ты разве это не понял? Интересно, ты хоть что-нибудь во мне понял? – И, склонившись над рулем, сказала тихо: – Ах, почему мы должны разговаривать в таком тоне!

– Я говорил, что ничего не выйдет.

– Нет, Джон, изредка я должна тебя видеть. Это не страшно. Время от времени я хочу и буду с тобой встречаться. Это мое право.

Слезы выступили у нее на глазах и медленно покатались по щекам. Джон дотронулся до ее руки.

– Флер! Не надо!

– Теперь я тебя высажу в Норт-Доркинге, и ты как раз поспеешь на пять сорок шесть. Вот мой дом. В следующий раз я тебе его непременно покажу. Я стараюсь быть умницей, Джон; и ты должен мне помочь... Ну, вот и приехали! До свидания, Джон, голубчик, и не расстраивай изза меня Энн, умоляю!

Жесткое рукопожатие, и он ушел. Флер повернула прочь от станции и медленно поехала назад по дороге.

Она поставила машину в гараж и вошла в «Дом отдыха». Еще не кончилось время летних отпусков, и там отдыхали семь молодых женщин, умучившихся на службе у Петтера. Поплина и им подобных.

Они сидели за ужином, и до слуха Флер доносилось веселое жужжанье. У этих девушек ничего нет, а у нее есть все, кроме того единственного, что ей больше всего нужно. Прислушиваясь к ихговору и смеху, она на минуту устыдилась. Нет, она бы с ними не поменялась, а между тем ей казалось, что без этой одной вещи и жить нельзя. И пока она обходила дом, расставляла цветы, отдавала распоряжения на завтра, осматривала спальни, снизу долетал смех, веселый и безудержный, и будто дразнил ее.

V. ОПЯТЬ РАЗГОВОР В АВТОМОБИЛЕ

Джон был не столь высокого мнения о себе, чтобы спокойно дать любить себя одновременно двум хорошеньким и милым молодым женщинам. Из Пулборо, где он теперь каждый день оставлял машину Вэлз, он поехал домой с печалью в сердце и путаницей в мыслях. Его шесть свиданий с Флер, с тех пор как он вернулся в Англию, шли по линии какого-то мучительного crescendo. Танцуя с ней, он понял ее состояние, но все еще не подозревал, что она сознательно его преследует, а собственные его чувства не становились ему яснее, сколько бы он ни копался у себя в сердце. Сказать ли Энн о сегодняшней встрече? – Много раз тихо и мягко она давала ему понять, что боится Флер.

К чему множить ее страхи, когда на то нет реальных оснований? Идея портрета принадлежит не ему, и только в течение ближайших дней он может еще встретиться с Флер. После этого они будут видаться два-три раза в год. «Не говори Энн, умоляю». Ну как после этого сказать? Ведь должен же он в какой-то мере уважать желания Флер. Она не по своей воле отказалась от него; не полюбила Майкла, как он полюбил Энн. Он так ничего и не придумал, пока ехал в Уонсдон. Когда-то мать сказала ему: «Никогда не лги, Джон, лицо тебя все равно выдаст». И теперь, хоть он и не сказал Энн, ее глаза, всюду следовавшие за ним, заметили, что он что-то от нее скрывает. Простуда ее вылилась в бронхит, так что она еще не выходила из своей комнаты, и безделье плохо действовало ей на нервы. Сейчас же после обеда Джон опять пошел наверх и стал ей читать вслух. Он читал «Худшее в мире путешествие», а она лежала на боку, подперев рукой лицо, и смотрела на него. Дым топящегося камина, запах ароматических лекарств, монотонное гудение собственного голоса, повествующего о похождениях яйца пингвина, — все усыпляло его, и наконец книга выпала у него из рук.

— Поспи, Джон, ты устал.

Джон откинулся на стуле, но не уснул. Он твердо знал, что у этой девочки, его жены, есть выдержка. Она умела молчать, когда ей было больно. Наблюдая за ней, он видел: она поняла, что находится в опасности, и теперь — так ему казалось — выжидала. Энн всегда знала, чего хочет. Ей присуща была настойчивость, не усложненная, как у Флер, современными веяниями; и решимость у нее была. Юные годы на родине, в Южной Каролине, она прожила просто и самостоятельно; и, не в пример большинству американских девушек, не слишком весело. Ее больно поразило, что не она была его первой любовью и что его первая любовь до сих пор его любит: это он знал. Она с самого начала не скрыла, что тревожится, но теперь, по-видимому, заняла выжидательную позицию. И еще Джон не мог не знать, что, несмотря на два года брака, она и теперь сильно в него влюблена. Он слышал, что девушки-американки редко знают человека, за которого выходят замуж, но порой ему казалось, что Энн знает его лучше, чем он сам. Если так, что она знает? Что он такое? Он хочет с пользой прожить свою жизнь; он хочет быть честным и добрым. Но, может, он все только хочет? Может, он обманщик? Не то, чем она его считает? Мысли были душные и тяжелые, как воздух в комнате. Что толку думать! Лучше и правда поспать! Он проснулся со словами:

— Алло! Я храпел?

— Нет, но вздрагивал во сне, как собака.

Джон встал и подошел к окну.

— Мне что-то снилось. Хороший вечер. Лучшее время года — сентябрь, если погода ясная.

— Да, я люблю осень. Твоя мама скоро приедет?

— Не раньше, чем мы устроимся. Она, по-моему, считает, что нам без нее лучше.

— Маме всегда, наверно, кажется, что она *de trop*, когда на самом деле этого нет.

— Лучше так, чем наоборот.

— Да. Не знаю, смогла бы я тоже так?

Джон обернулся. Она сидела в постели, смотрела прямо перед собой, хмурилась. Он подошел и поцеловал ее.

— Не раскрывайся, родная! — и натянул одеяло.

Она откинулась на подушку, смотрела на него — и опять он спросил себя, что она видит...

На следующий день Джун встретила его словами:

— Так Флер была здесь вчера и подвезла тебя? Я ей сегодня сказала свое мнение на этот счет.

— Какое же мнение? — спросил Джон.

— Что нельзя начинать все снова-здорово. Она избалована, ей нельзя доверять.

Он сердито повел глазами.

– Оставь, пожалуйста, Флер в покое.
– Я всегда всех оставляю в покое, – сказала Джун, – но я у себя дома и должна была сказать, что думаю.
– Тогда мне лучше прекратить сеансы.
– Нет, Джон, не глупи. Сеансов прекращать нельзя ни тебе, ни ей. Харолд вконец расстроится.
– А не его, Харолда!
Джун взяла его за отворот пиджака.
– Я совсем не то хотела сказать. Портреты получатся изумительные. Я только хотела сказать, что вам не надо здесь встречаться.
– Ты сказала это Флер?
– Да.
Джон рассмеялся, и смех его прозвучал жестко.
– Мы не дети, Джун.
– Ты Энн сказал?
– Нет.
– Вот видишь!
– Что?
Лицо у него стало упрямое и злое.
– Ты очень похож на своего отца и деда, Джон, – они терпеть не могли, когда им что-нибудь говорили.
– А ты?
– Если нужно, отчего же.
– Так вот, прошу тебя, не вмешивайся.
Щеки Джун залились румянцем, из глаз брызнули слезы; она смигнула их, встряхнулась и холодно сказала:
– Я никогда не вмешиваюсь.
– Правда?
Она еще гуще порозовела и вдруг погладила его по рукаву. Это тронуло Джона, он улыбнулся.
Весь сеанс он был не спокоен, а рафаэлит писал, и Джун входила и выходила, и лицо ее то хмурилось, то тосковало. Он думал, как поступить, если Флер опять за ним заедет. Но Флер не заехала, и он отправился домой один. Следующий день был воскресенье, и он не приезжал в город; но в понедельник, выходя от Джун после сеанса, он увидел, что автомобиль Флер стоит у подъезда.
– Сегодня я уж тебе покажу мой дом. Вероятно, Джун с тобой говорила, но я раскаявшаяся грешница, Джон. Полежай! – И Джон полез.
День был серый, ни освещение, ни обстановка не располагали к проявлению чувств, и «раскаявшаяся грешница» играла свою роль превосходно. Ни одно слово не выходило за пределы дружеской беседы. Она болтала об Америке, ее языке, ее книгах. Джон утверждал, что Америка неумеренна в своих ограничениях и в своем бунте против ограничений.
– Одним словом, – сказала Флер, – Америка молода.
– Да; но, насколько я понимаю, она с каждым днем молодеет.
– Мне Америка понравилась.
– О, мне так очень понравилась. А как выгодно я там продал мой фруктовый сад!
– Странно, что ты вернулся, Джон. Ведь ты такой... старомодный.
– В чем?
– Ну хотя бы в вопросах пола – я, хоть убей, не смогла бы обсуждать их с тобой.
– Ас другими можешь?
– О, почти со всеми. Ну, что ты хмуришься? Тебе нелегко пришлось бы в Лондоне или, скажем, в Нью-Йорке.

– Ненавижу, когда без нужды болтают на эти темы, – сердито сказал Джон. – Только французы понимают то, что связано с полом. Нельзя говорить об этом так, как говорят здесь или в Америке; это слишком реальный фактор.

Флер украдкой на него взглянула.

– Так оставим эту скользкую тему. Я даже не знаю, смогла ли бы я говорить с тобой об искусстве.

– Ты видала статую Сент-Годенса в Вашингтоне?

– Да, но это для нас обеих.

– Ах так? – проворчал Джон. – Чего же нужно людям?

– Ты знаешь так же хорошо, как и я.

– То есть – чтобы было непонятно?

– Если хочешь! Главное, что искусство теперь только тема для разговора; а о том, что каждому с первого взгляда понятно, не стоит и говорить – значит, это не искусство.

– По-моему, это глупо.

– Возможно. Но так забавнее.

– Раз ты сама это сознаешь, что же тут для тебя забавного?

– Опять скользкая тема! Попробуем еще! Пари держу, что тебе не по вкусу последние дамские моды.

– Почему? Вполне рациональная мода.

– Ого! Неужели на чем-то сошлись?

– Конечно, вы все были бы лучше без шляп. Голову мыть вам ведь теперь несложно.

– О, не отнимай у нас шляпы. Джон! Что останется от нашего стоицизма? Если бы нам не нужно было искать шляп, которые нам к лицу, жить стало бы слишком легко.

– Но они вам не к лицу.

– Согласна, голубчик; но я лучше тебя знаю женскую натуру. Надо же младенцу точить обо что-то зубки.

– Флер, ты слишком умна, чтобы жить в Лондоне.

– Мой милый мальчик, современная женщина нигде не живет. Она парит в собственном эфире.

– Но иногда все же спускается на землю.

Флер ответила не сразу, потом взглянула на него.

– Да, Джон, иногда спускается на землю. – И взгляд ее словно опять сказал: «Ах, почему мы должны разговаривать в таком тоне!»

Она показала ему дом так, чтобы у него создалось впечатление, будто она считается с удобствами других. Даже ее мимолетные разговоры с отдыхающими носили этот характер. Уходя, Джон чувствовал, как у него покалывает ладонь, и думал: «Ей нравится представляться легкомысленной, но в душе...» Всю дорогу домой он видел Сэссекс как в тумане, вспоминая, как улыбались ему ее ясные глаза, как смешно дрогнули ее губы, когда она сказала: «До свидания, мой хороший!» Как знать, может быть, она того и добивалась?

Холли выехала встретить его в наемном автомобиле.

– Очень обидно, Джон, Вэл забрал машину. Он завтра не сможет отвезти тебя в город и привезти, как обещал. Пришлось поехать сегодня. А если он кончит свои дела в Лондоне, то в среду прямо проедет в Ньюмаркет. Случилась очень неприятная вещь. Старый товарищ по университету подделал его подпись на стофунтовом чеке, а Вэл ему оказал не одну услугу.

– Причина уважительная, – сказал Джон. – Что же он думает предпринять?

– Еще сам не знает, но он уже третий раз делает Вэлу гадость.

– А вы вполне уверены?

– В банке описали его наружность – точь-в-точь сходится, Он, очевидно, думает, что Вэл все стерпит. Но дальше так невозможно.

– Я думаю!

– Да, мой милый, но что делать? Подать в суд на старого товарища? У Вэла странное чувство, что он сам только случайно не свихнулся.

Джон опешил. Если человек не свихнулся – это случайность?

– Был этот тип на войне? – спросил он.

– Вряд ли. По всему видно, человек он никудышный.

Я как-то видела его – вконец развинченный, самодовольный.

– Серьезная неприятность для Вэла, – сказал Джон.

– Он хочет посоветоваться со своим дядей, отцом Флер.

Кстати, ты за последнее время видел Флер?

– Да. Сегодня видел. Она довезла меня до Доркинга и показала мне свой дом.

От взгляда его не ускользнуло выражение лица Холли: тень раздумья, легшая между бровями.

– Мне что, нельзя с ней видаться? – сказал он резко.

– Только тебе об этом судить, милый.

Джон не ответил, но как только увидел Энн, рассказал ей. Ни лицо ее, ни голос не дрогнули, она спросила только, как поживает Флер и как ему понравился дом. В эту ночь, когда она, казалось, уснула, он лежал без сна, снедаемый сомнениями. Так если человек не свихнулся – это случайность, да?

VI. СОМСА ОСЕНЯЮТ ГЕНИАЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Первое, что Сомс спросил племянника, встретившись с ним на Грин-стрит, было:

– Как он мог вообще достать чек? У тебя чековые книжки где попало валяются?

– Боюсь, что так, дядя Сомс, особенно в деревне.

– Гм, – сказал Сомс, – тогда поделом тебе. А твоя подпись?

– Он написал мне из Брайтона, спрашивая, когда можно со мной повидаться.

– Нужно было, чтобы ответ подписала твоя жена.

Вэл застонал:

– Не думал же я, что он пойдет на подделку.

– Раз дошел до такого, на что угодно пойдет. Когда ты отказал ему, он, вероятно, все-таки приехал из Брайтона?

– Да; только меня не было дома.

– Ну конечно; и он стянул бланк. Что ж, если хочешь задержать его, подавай в суд. Получит три года.

– Это убьет его, – сказал Вэл, – на что он похож!

– Еще, может, наоборот – поправится. Он когда-нибудь сидел в тюрьме?

– Насколько мне известно – нет.

– Гм!

За этой глубокомысленной репликой последовало молчание.

– Не могу я подавать в суд, – заговорил вдруг Вэл, – старый товарищ! Конечно, господь уберет и все такое, а ведь не так трудно скатиться по этой дорожке.

Сомс устался на него.

– Да, – сказал он, – тебе, полагаю, было бы нетрудно. Твой отец вечно попадал во всякие истории.

Вэл нахмурился. Ему сразу вспомнился вечер в «Пандемониуме», когда он, в компании с другим товарищем, видел своего отца пьяным.

– Но, так или иначе, – сказал он, – надо что-то сделать, чтобы это не повторилось. Не выгляди он таким дохлым, можно бы просто вздуть его.

Сомс покачал головой.

– Оскорбление действием, к тому же его, вероятно, уже нет в Англии.

– Нет, я по пути сюда справился в его клубе – он в городе.

– Ты его видел?

– Нет, я хотел сначала повидать вас.

Невольно польщенный. Сомс иронически заметил:

– Может быть, у него есть, как говорится, другое, лучшее "я"?

– Честное слово, дядя Сомс, это гениальная мысль!

Сомс покачал головой.

– Впрочем, по лицу этого не скажешь.

– Не знаю, – сказал Вэл, – он как-никак из хорошей семьи,

– Это сейчас ничего не значит. А кстати, пока я не забыл: помнишь ты этого молодого человека, Баттерфилда, в связи с элдерсоновским скандалом? Нет, конечно, не помнишь. Так вот, я хочу взять его из издательства, где он работает, и поставить под начало старого Грэдмена, чтобы он ознакомился с делами по управлению имуществом твоей матери и других членов нашей семьи. Старый Грэдмен тянет из последних, и этот человек сможет со временем сменить его – работа постоянная, и получать будет больше, чем теперь. Я могу на него положиться, а это, по нашим временам, важно. Я хотел, чтобы ты знал об этом.

– Тоже гениальная мысль, дядя Сомс. Но вернемся к первой: вы могли бы повидать Стэйнфорда и выяснить это дело?

– Почему именно я должен этим заниматься?

– Ваш авторитет не сравнить с моим.

– Гм! Как посмотришь, всегда неприятные дела достаются мне. Но, пожалуй, и правда лучше мне с ним поговорить, чем тебе.

Вэл широко улыбнулся.

– Я вздохну свободнее, если вы за это возьметесь.

– А я нет, – сказал Сомс. – Надо полагать, кассир в банке не напутал?

– Кто спутает Стэйнфорда с другим?

– Никто, – сказал Сомс. – Итак, если ты не хочешь подавать в суд, предоставь это дело мне.

Вэл ушел, а он задумался. Вот он до сих пор держит в руках дела всей семьи; интересно, что они будут делать, когда его не станет. Этот Баттерфилд, может, и гениальная мысль, но как знать, – впрочем, он ему необычайно предан, глаза у него, как у собаки! Надо заняться этим теперь же, пока старый Грэдмен не свалился. И нужно подарить старому Грэдмену какую-нибудь серебряную вещь, именную, пока он еще в состоянии оценить ее; а то обычно такие подарки получают, когда умрут или успеют выжить из ума. И еще: Баттерфилд знаком с Майклом – а значит, внимательно отнесется к делам Флер. Но как же быть с этим проклятым Стэйнфордом? Как взяться за это дело? Лучше попробовать пригласить его сюда, чем идти к нему в клуб. Раз у него хватило наглости остаться в Англии после такого бессовестного поступка, значит хватит наглости прийти и сюда – посмотреть, нельзя ли еще что сорвать. И Сомс, кисло улыбаясь, пошел к телефону.

– Мистер Стэйнфорд в клубе? Попросите его зайти на Грин-стрит, к мистеру Форсайту.

Убедившись, что в комнате нет ни одной ценной безделушки, он уселся в столовой и вызвал Смизер.

– Я жду этого мистера Стэйнфорда, Смизер. Если я позвоню, пока он будет здесь, бегите на улицу и зовите полисмена. – И добавил, заметив выражение ее лица: – Может быть, ничего и не случится, но как знать.

– Опасности нет, мистер Сомс?

– Ну разумеется, Смизер. Просто я могу найти нужным, чтобы его арестовали.

– Вы думаете, он опять что-нибудь унесет, сэр?

Сомс улыбнулся и движением руки указал, что все прибрано.

– Скорее всего он и не придет, а если придет, проводите его сюда.

Когда Смизер вышла, он уселся против часов – голландской работы, и такие

тяжелые, что унести их невозможно; их «откопал» в свое время Джемс, они звонили каждые четверть часа, а на циферблате были луна и звезды. Теперь, перед третьей встречей. Сомс уже не так бодрился; два раза этот тип сумел выпутаться и, поскольку Вэл не хочет обращаться в суд, выпутается, очевидно, и в третий. И все же было что-то притягательное в перспективе сразиться с этим «пропащим» и что-то в самом человеке, заставлявшее воспринимать его чуть ли не в романтическом плане. Словно в образе этого томного мошенника еще раз явились ему излюбленный лозунг времен его молодости «скрывать всякое чувство» и вся светскость, присущая дому на Парк-Лейн с легкой руки его матери Эмили. И, наверно, этот тип не явится!

– Мистер Стэйнфорд, сэр.

Когда Смизер, вся красная от волнения, удалилась.

Сомс не сразу нашелся, с чего начать; лицо у Стэйнофорда было как пергаментное, точно он вышел из могилы. Наконец Сомс сказал:

– Я хотел поговорить с вами об одном чеке. Кто-то подделал подпись моего племянника.

Брови поднялись, веки легли на глаза.

– Да. В суд Дарти не обратится.

Сомсу стало тошно.

– Вы так уверены, – сказал он, – а вот мой племянник еще не решил, как поступить.

– Мы вместе учились, мистер Форсайт.

– И вы на этом спекулируете? Есть, знаете ли, предел, мистер Стэйнофорд. А подделка была умелая для новичка.

В лице что-то дрогнуло; и Сомс извлек из кармана подделанный чек. Ну конечно, недостаточно защищен, даже не перечеркнут. Теперь на чеках Вэла придется ставить штамп; «Обращения не имеет; платите такому-то». Но как припугнуть этого типа?

– Я пригласил сюда агента сыскной полиции, – сказал он, – он войдет, как только я позвоню. Так продолжаться не может. Раз вы этого не понимаете... – И он сделал шаг к звонку.

На бледных губах возникла еле заметная горькая улыбка.

– Вы, мистер Форсайт, смею предположить, никогда не бывали в нужде?

– Нет, – брезгливо ответил Сомс.

– А я не выхожу из нее. Это очень утомительно.

– В таком случае, – сказал Сомс, – тюрьма вам покажется отдыхом. – Но уже произнося эти слова, он счел их лишними и, пожалуй, грубыми. Перед ним был вообще не человек, а тень, томная, скорбная тень, Все равно что терроризировать привидение!

– Послушайте, – сказал он, – дайте мне слово джентльмена оставить в покое моего племянника и всю нашу семью, тогда я не буду звонить.

– Очень хорошо, даю вам слово; верить или нет – ваше дело.

– Так, значит, на том и покончим, – сказал Сомс. – Но это последний раз. Доказательство я сохраню.

– Жить нужно, мистер Форсайт.

– Не согласен, – сказал Сомс.

«Тень» издала неопределенный звук – скорее всего смех, – и Сомс опять остался один – Он быстро прошел к двери посмотреть, как тот выйдет на улицу. Жить? Нужно? Разве такому не лучше умереть? Разве большинству людей не лучше умереть? И, поразившись такой несуразной мысли, он прошел в гостиную. Сорок пять лет, как он обставил ее, и вот сейчас она, как и раньше, полна маркетри. На камине стоял небольшой старый дагерротип в глубокой эмалевой рамке – портрет его деда, «Гордого Доссета», чуть тронутый розовым на щеках. Сомс остановился перед ним. Подбородок основателя клана Форсайтов удобно покоился между широко расставленными углами старомодного воротничка. Глаза с толстыми нижними веками – светлые, умные, чуть насмешливые; бакенбарды седые; рот, судя по портрету, может проглотить немало; старинный фрак

тонкого сукна; руки делового человека. Кряжистый старик, сильный, самобытный. Чуть не сто лет этому портрету. Приятно видеть признаки сильного характера после этого томного, пообносившегося экземпляра! Хорошо бы посмотреть на места, где родился и рос этот старик, перед тем как, в конце восемнадцатого века всплыть на поверхность и основать род Форсайтов. Надо взять Ригза и съездить, а если Флер не поедет, еще, может, и лучше! Ей было бы скучно! Корни для молодежи ничего не значат. Да, нужно съездить посмотреть на корни Форсайтов, пока погода не испортилась. Но сначала надо устроить старого Грэдмена. Приятно будет повидать старика после такого переживания, он никогда не уходит из конторы раньше половины шестого. И, водворив дагерротип на место. Сомс поехал на такси в Полтри и по пути размышлял. Трудно стало вести дела, когда вас вечно подстерегают субъекты вроде Элдersonа или этого Стэйнфорда. Вот так же и страна – не успеет выбраться из одной заварухи, как попадает в другую; стачка горняков кончится с зимними холодами, но тогда всплывет еще что-нибудь – война или другие беспорядки. И еще Флер... у нее большое состояние. Неужели он сделал ошибку, дав ей такую самостоятельность? Нет, мысль связать ее при помощи денег всегда ему претила. Как бы она ни поступала – она его единственный ребенок; можно сказать, его единственная любовь. Если ее не удержит от падения любовь к сыну и к нему, не говоря уже о муже, неужели поможет угроза лишить ее наследства? Как бы там ни было, дело с ней обстоит как будто лучше; возможно, что он ошибся.

Сити разгружался от дневной жизни. Служащие разбегались во все стороны, как кролики; хоть бы они утром вот так сбегались, а то стали нынче отлынивать от работы. Начинают в десять, а не в девять, как прежде; кончают в пять, а не в шесть. Положим, есть телефоны и еще всякие усовершенствования, и работы, возможно, выполняется не меньше; не пьют столько пива и хереса, как бывало, и не съедают столько бифштексов. Измельчала порода, как сравнишь с этим стариком, чей портрет он только что рассматривал, – торопливый пошел народ, уколобый; выражение лица нервное, тревожное – точно они вложили свой капитал в жизнь и оказалось, что акции-то падают. И ни одного сюртука не увидишь, ни одного цилиндра. Покрепче надвинув свой собственный. Сомс оставил такси у знакомого тупичка в Полтри и вошел в контору «Кэткот, Кингсон и Форсайт».

Старый Грэдмен только что стянул рабочий пиджак со своей широкой согнутой спины.

– А, мистер Сомс, а я как раз собрался уходить. Разрешите, я сейчас надену сюртук.

Сюртук, судя по покрою, изготовления девятьсот первого года.

– Я теперь ухожу в половине шестого, Работы обычно не так уж много. Люблю соснуть до ужина. Рад вас видеть; вы нас совсем забыли.

– Да, – сказал Сомс, – я редко захожу. Но я вот думал... Случись что-нибудь с вами, или со мною, или с обоими, дела живо запутаются, Грэдмен.

– О-о, не хочется и думать об этом!

– А нужно; мы с вами не молоды.

– Ну, я-то не мальчишка, но вы, мистер Сомс, – разве это старость?

– Семьдесят один.

– Да, да! А кажется, только на днях я отвозил вас в школу в Слау. Я помню то время лучше, чем вчерашний день.

– Я тоже, Грэдмен; и это признак старости. Помните вы этого молодого человека, который заходил сюда сообщить мне об Элдersonе?

– А, да, Славный молодой человек. Баттермилк или что-то в этом роде.

– Баттерфилд, Так вот, я решил дать его вам в помощники и хочу, чтобы вы ввели его в курс всех дел.

Старый клерк стоял тихо-тихо; лицо его, в рамке седых волос и бороды, ничего не выражало. Сомс заторопился:

– Это только на всякий случай. Когда-нибудь вам захочется уйти на покой...

Тяжелым жестом Грэдмен поднял руку.

– Моя надежда – умереть на посту, – сказал он.

– Ну, как хотите, Грэдмен. Вы, как и раньше, всем ведайте; но у нас будет на кого положиться, если вы захвораете, либо захотите отдохнуть, либо еще что.

– Лучше бы не надо, мистер Сомс. Молодой человек, у нас в конторе...

– Хороший человек, Грэдмен. К тому же он кое-чем обязан мне и моему зятю. Он вам не мешает. Знаете, ведь никто не вечен.

Лицо старика странно сморщилось, голос скрипел больше обычного.

– Словно бы и рано вперед загадывать. Я вполне справляюсь с работой, мистер Сомс.

– О, я вас понимаю, – сказал Сомс, – я и сам это чувствую, но время никого не ждет, и надо подумать о будущем.

Из-под седых усов вырвался вздох.

– Что ж, мистер Сомс, раз вы решили, говорить больше нечего; но я недоволен.

– Пойдемте, я подвезу вас до станции.

– Спасибо, я лучше пройду, подышу воздухом. Вот только запру.

Сомс понял, что запирать надо не только ящики, но и чувства, и вышел.

Преданный старик! Проехать сразу же к Полкинфорду, выбрать что-нибудь ему в подарок.

В громадном магазине, так тесно уставленном – серебром и золотом, что являлось сомнение, была ли здесь когда продана хоть одна вещь. Сомс огляделся. Надо подыскать что-нибудь стоящее – ничего вычурного, кричащего. Пунша старик, верно, не пьет – сектант! Может, подойдут эти два верблюда? Серебряные, с позолотой, у каждого по два горба, и из них торчат свечи. И между горбами выгравировать – «Джозефу Грэдмену от благодарной семьи Форсайтов». Грэдмен живет где-то около Зоологического сада. Гм! Верблюды? Нет! Лучше чашу. Если он не пьет пунша, может насыпать в нее розовых лепестков или ставить цветы.

– Мне нужна чаша, – сказал он, – очень хорошая.

– Сию минуту, сэр, у нас как раз есть то, что вам нужно.

Всегда у них есть как раз то, что вам нужно!

– Вот взгляните, сэр, литого серебра – очень строгий рисунок.

– Строгий! – сказал Сомс. – Я бы даром ее не взял.

– Совершенно верно, сэр, это, может быть, не совсем то, что вам нужно. Ну, а вот эта небольшая, но изящная чаша?

– Нет, нет, что-нибудь простое и устойчивое, чтобы вмещала около галлона.

– Мистер Бэнкуэйт, подите-ка сюда. Этому джентльмену нужна старинная чаша.

– Сию минуту, сэр, у нас как раз есть то, что вам нужно.

Сомс издал неясное ворчанье.

– На старинные чаши спрос небольшой; но у нас есть одна, антикварная, из дома Роксборо.

– С гербом? – сказал Сомс. – Не годится. Мне нужна новую или, во всяком случае, без герба.

– А тогда вот эта вам подойдет, сэр.

– О боже! – сказал Сомс и указал кончиком зонта в противоположную сторону. – Вот это что такое?

Приказчик сделал огорченное лицо и достал вещь с застекленной полки.

На выпуклой, стянутой кверху ножке покоилась вместительная серебряная чаша. Сомс постучал по ней пальцем.

– Чистого серебра, сэр, и, как видите, очень гладкие края; форма достаточно скромная, внутри позолота лучшего качества. Я бы сказал, как раз то, что вам нужно.

– Неплохо. Сколько стоит?

Приказчик склонился над кабалистическим знаком.

– Тридцать пять фунтов, сэр.

– Вполне достаточно, – сказал Сомс. Понравится ли подарок старому Грэдмену, он не знал, но вещь не безвкусная, престиж семьи не пострадает. – Так я ее беру, – сказал он. – Выгравировать на ней эти слова, – он написал их. – Пошлите по этому адресу, а счет мне; и, пожалуйста, поскорее.

– Будет исполнено, сэр. Не интересуют ли вас эти бокалы? Очень оригинальные.

– Больше ничего! – сказал Сомс. – До свидания! Он дал приказчику свою карточку, окинул магазин холодным взглядом и вышел. Одной заботой меньше!

Под брызгами сентябрьского солнца он шел по Пикадилли на запад, в Грин-парк. Эти мягкие осенние дни хорошо на него действовали. Ему не стало жарко, и холодно не было.

И платаны, чуть начинавшие желтеть, радовали его – хорошие деревья, стройные. Шагая по траве лужаек. Сомс даже ощущал умиление. Звук быстрых, нагонявших его шагов вторгся в его сознание. Голос сказал:

– А, Форсайт! Вы на собрание к Майклу? Пойдемте вместе!

«Старый Монт», как всегда самоуверенный, болтливый! Вот и сейчас пошел трещать!

– Как вы смотрите на все эти перемены в Лондоне, Форсайт? Помните, широкие панталоны и кринолины – расцвет Лича – старый Пэм на коне? Сентябрь навевает воспоминания.

– Это все поверхностное, – сказал Сомс.

– Поверхностное? Иногда и мне так кажется. Но есть и существенная разница – разница между романами Остин и Тrolлопа и современными писателями. Приходов не осталось. Классы? Да, но грань между ними проводит человек, а не бог, как во времена Тrolлопа.

Сомс фыркнул. Вечно он так странно выражается!

– Если дальше пойдем такими темпами, скоро вообще никакой грани не будет, – сказал он.

– А вы, пожалуй, не правы, Форсайт. Я бы не удивился возвращению лошади.

– При чем тут лошадь? – пробурчал Сомс.

– Ждать нам остается только царства небесного на земле, – продолжал сэр Лоренс, помахивая тросточкой. – Тогда у нас опять начнется расцвет личности. А царство небесное уже почти наступило.

– Совершенно вас не понимаю, – сказал Сомс.

– Обучение бесплатное; женщины имеют право голоса; даже у рабочего есть – или скоро будет – автомобиль; трущобы обречены на гибель – благодаря вам, Форсайт; развлечения и новости проникают под каждую крышу; либеральная партия сдана в архив; свобода торговли стала величиной переменной; спорт доступен в любых количествах; догматам дали по шее; генеральной стачке тоже; бойскаутов что ни день, то больше; платья удобные; и волосы короткие – это все признаки царства небесного.

– Но при чем тут все-таки лошадь?

– Символ, дорогой мой Форсайт! Лошадь нельзя подвести ни под стандарт, ни под социализм. Начинается реакция против единообразия. Еще немножко царства небесного – и мы опять начнем заниматься своей душой и ездить цугом.

– Что это за шум? – сказал Сомс. – Будто кто-то вызывает о помощи.

Сэр Лоренс вздернул бровь.

– Это пылесос в Букингемском дворце. В них много человеческого.

Сомс глухо заворчал – не умеет этот человек быть серьезным! Ну-ну, скоро, может быть, придется. Если Флер... Но не хотелось думать об этом «если».

– Что меня восхищает в англичанах, – вдруг заговорил сэр Лоренс, это их эволюционизм. Они подаются вперед и назад, и снова вперед. Иностранцы считают их безнадежными консерваторами, но у них есть своя логика – это великая вещь, Форсайт.

Как вы думаете поступить с вашими картинами, когда соберетесь на тот свет? Завещаете их государству?"

– Смотри по тому, как оно со мной обойдется. Если они еще повысят налог на наследство, я изменю завещание.

– По принципу наших предков, а? Либо добровольная служба, либо никакой! Молодцы были наши предки.

– Насчет ваших не знаю, – сказал Сомс, – мои были просто фермеры. Я завтра еду взглянуть на них, – добавил он с вызовом.

– Чудесно! Надеюсь, вы застанете их дома.

– Мы опоздали, – сказал Сомс, заглядывая в окно столовой, из которого выглядывали члены комитета. – Половина седьмого! Ну и забавный народ!

– Мы всегда забавный народ, – сказал сэр Лоренс, входя за ним в дверь, – только не в собственных глазах. Это первая из жизненных основ, Форсайт.

VII. ЗАВТРА

Флер встретила их в холле. Оставив Джона в Доркинге, она с недозволенной скоростью прикатила обратно в Лондон, чтобы создать впечатление, что мысли ее заняты исключительно благоустройством трущоб. «Помещик» уехал стрелять куропаток, и председательствовал епископ. Флер прошла к буфету и стала разливать чай, пока Майкл читал протокол предыдущего собрания. Епископ, сэр Годфри Бедвин, мистер Монтросс, ее свекор и сама она пили китайский чай; сэр Тимоти – виски с содовой; Майкл – ничего; маркиз, Хилери и ее отец – цейлонский чай; и каждый утверждал, что остальные портят себе пищеварение. Отец постоянно говорил ей, что она пьет китайский чай только потому, что он в моде: нравиться он ей, конечно, не может. Наливая каждому положенный напиток, она пыталась представить себе, что бы они подумали, если б знали, чем, кроме чая, заняты ее мысли. Завтра у Джона последний сеанс, и она делает решительный шаг! Два месяца – с тех пор как они танцевали с ним в Нетлфолде – она терпела, завтра это кончится. Завтра в этот час она потребует своего. Она знала, что для всякого контракта нужны две стороны, но это ее не смущало. Она верила верой красивой, влюбленной женщины. Ее воля исполнится, но никто не должен узнать об этом. И, передавая чашки, она улыбалась неведению этих умных старых людей. Они не узнают, никто не узнает; уж конечно, не этот молодой – человек, который прошлой ночью обнимал ее! И, думая о том, кому это еще только предстояло, она села у камина с чашкой чая и блокнотом, а сердце у нее колотилось, и полузакрытые глаза видели лицо Джона, обернувшееся к ней с порога вокзала. Свершение! Она, как Иаков, семь лет выслуживала свою любовь – семь долгих, долгих лет! И пока она сидела, слушая нудное гудение епископа и сэра Годфри, бессвязные восклицания сэра Тимоти, редкие, сдержанные замечания отца, – ясное, четкое, упрямое сознание, которым наделила ее французская кровь, было занято усовершенствованием механизма тайной жизни, которую они начнут завтра, вкусив запретного плода. Тайная жизнь – безопасная жизнь, если отбросить трусливые колебания, щепетильность и угрызения совести! Она так была в этом уверена, словно раз десять жила тайной жизнью. Она сама все устроит. У Джона не будет никаких забот. И никто не узнает!

– Флер, запиши это, пожалуйста.

– Хорошо.

И карандаш забегал по блокноту: «Спросить Майкла, что нужно было записать».

– Миссис Монт!

– Да, сэр Тимоти?

– Вы бы нам не устроили такой... ну как это называется?

– Утренник?

– Нет, нет! Ну, базар, что ли.

– С удовольствием.

Чем больше базаров она для них устроит, тем безупречнее ее репутация, тем больше свободы, и тем вернее она заслужит свою тайную жизнь и сможет ею наслаждаться и смеяться над ними.

Заговорил Хилери. А он что подумал бы, если бы знал?

– По-моему, Флер, нам и утренник необходим. Публика такая добрая, всегда заплатит гинею, чтобы пойти туда, куда ее в другое время даром не затащишь. Вы как полагаете, епископ?

– Утренник – ну конечно!

– Утренники – какая гадость!

– А мы подберем хорошую пьесу, мистер Форсайт, что-нибудь чуть старомодное – одну из вещей Л.С.Д. Составило бы нам рекламу. Ваше мнение, лорд Шропшир?

– Моя внучка Марджори могла бы вам помочь – и ей пошло бы на пользу.

– Гм! Если она этим займется, старомодно не будет.

И Флер увидела, что, говоря это, отец посмотрел на нее. Если б он только знал, как мало это ее теперь трогает; до чего мелкими кажутся ей тогдашние чувства.

– Мистер Монтросс, у вас есть на примете театр?

– Достать смогу, мистер Черрел.

– Отлично! Так поручим это дело вам с лордом Шропшир и моему племяннику. Флер, расскажите нам, как у вас дела в доме отдыха?

– Очень хорошо, дядя Хилери. Переполнено. Девушки такие милые.

– Распущенная, верно, публика?

– О нет, сэр Тимоти, они ведут себя примерно.

Если б мог этот усатый старик прочесть в мыслях у «примерной» леди, которая их опекает!

– Ну, значит, так. Мы как будто кончили, сэр, вы разрешите? У меня свидание с одним американцем насчет муравьев. Мало мы, по-моему, встряхнули этих домовладельцев. Спокойной ночи!

Флер сделала Майклу знак остаться и пошла провожать сэра Тимоти.

– Который ваш зонтик, сэр Тимоти?

– Не знаю; вот этот как будто лучше других. Если будете устраивать базар, миссис Монт, хорошо бы вам продать на нем епископа. Терпеть не могу, когда люди мямлят, да еще на месте председателя.

Флер улыбнулась, он галантно приподнял шляпу. Все они были с ней галантны, и это ей льстило. Но если б они узнали?! Темнеют деревья сквера, только что зажгли фонари. Хорошо еще, что такая погода – сухая, теплая. Она стояла в дверях, глубоко дыша. Завтра в это время она будет неверной женой! Ну что ж, не больше, чем всегда была в тайных мечтах.

"Хорошо, что Кит в «Шелтере», – подумала она. Онто никогда не узнает, никто не узнает! Никаких перемен ни в чем – только в ней и в Джоне. Сила жизни прорвется незаметным ручейком и потечет – куда? Не все ли равно?

– Мой милый Монт, с материальной точки зрения честность никогда не была лучшей политикой. Это мнение типично для времен Виктории. Удивительно в то время умели находить квадратуру круга.

– Согласен, маркиз, согласен; они лучше, чем кто-либо другой, умели думать, что хотели. В тучные годы это удастся.

Эта пара в холле, за ее спиной, – старые, высохшие! Не переставая улыбаться, она обернулась.

– Дорогая миссис Монт, здесь свежо! Вы не простудитесь. Нет, благодарю вас, сэр, мне тепло. Вот славно-то!

– Разрешите подвезти вас, милорд?

– Благодарствуйте, мистер Монтросс. Все мечтаю о собственном автомобиле. Вам с

нами по дороге, Монт? Мистер Монтросс, вы знаете эту песенку: «Мы в дом к Алисе все зайдем»? Мой мальчик-молочник ею прямо увлечен. Я все думаю, что это за Алиса? Подозрительная, по-моему, особа. Спокойной ночи, миссис Монт. У вас прелестный дом!

– Спокойной ночи, сэр!

Его рука, рука «моржа»; рука свекра.

– Кит здоров. Флер?

– Цветет.

– Спокойной ночи, милая!

Милая – мать его внука! «Завтра, завтра, завтра!» Дряхлый груз укрыт пледом, дверца захлопнулась – какая мягкая, бесшумная машина. Опять голоса.

– Привести вам – такси, дядя Хилери?

– Нет, спасибо, Майкл, мы с епископом пройдемся.

– Я дойду с вами до угла. Идемте, сэр Годфри? До свидания, родная. Твой отец остался обедать. Я вернусь от Блайта часов в десять.

И вышли звери из ковчега по четыре!

– Не стой здесь, озябнешь! – Голос отца! Единственный, с кем ей страшно встретиться глазами. Нельзя снимать маску.

– Ну, папа, что сегодня делал? Пойдем в гостиную, скоро обедать.

– Как твой портрет? Не преувеличивает этот молодчик? Нужно бы мне зайти посмотреть.

– Подожди еще, папа. Он очень обидчивый.

– Все они такие. Я думал завтра поехать на Запад, поглядеть, откуда вышли Форсайты. Тебе вряд ли удалось бы вырваться и поехать со мной?

Флер слушала, не выдавая чувства облегчения.

– На сколько ты уезжаешь, папа?

– Вернусь на третий день. Туда меньше двухсот миль.

– Боюсь, что мой художник расстроится.

– Я и не думал, что это тебя соблазнит. Блеска ни малейшего. А я уже давно собирался. И погода стоит хорошая.

– Я уверена, что будет страшно интересно, милый; ты мне все потом расскажи. Но с этими сеансами и с домом отдыха я сейчас очень связана.

– Так я буду ждать тебя в воскресенье. Твоя мать уехала в гости только и знают, что играть в бридж; пробудет там до понедельника. Ты ведь знаешь, я всегда хочу тебя видеть, – добавил он просто.

И чтобы уйти от его взгляда, она встала.

– Сейчас, папа, я только сбегаю наверх переодеться.

После этих собраний комитета я всегда чувствую, что нужно помыться. Не знаю почему.

– Пустая трата времени, – сказал Сомс. – Трущобы всегда будут. А все-таки занятие вам обоим.

– Да, Майкл наслаждается.

– Вот старый дурак этот сэр Тимоти! – И Сомс подошел к Фрагонару. Ту картину Морланда я повесил, Маркиз – приятный старик. Я тебе, кажется, говорил, что оставлю свои картины государству? Тебе они не нужны. Когда-нибудь переедешь жить в этот Липпингхолл. Там картины не ко двору. Предки, да олени рога, да лошади – вот там что. Да.

Тайная жизнь и Липпингхолл? Пусть еще долго, долго этого не будет!

– О, папа, Барт никогда не умрет!

– Н-да! Что и говорить, живуч. Ну, беги к себе!

Смывая пудру и пудрясь опять. Флер думала: «Милый папа! Какое счастье! Он будет далеко».

Теперь, когда она окончательно решилась, было сравнительно легко обманывать и

спокойно улыбаться свеженапудренным лицом над тарелками челсийского фарфора.

– Где ты думаешь повесить свой портрет, когда он будет готов? – заговорил Сомс.

– О, ведь он твой, милый.

– Мой? Ну конечно; но ты его повесь у себя. Майкл захочет.

Майкл – в неведении! Эта мысль ее больно кольнула. Что же, она будет с ним по-прежнему ласкова. К чему старомодная щепетильность?

– Спасибо, милый. Думаю, что он захочет повесить его в гостиной. Как раз подойдет: серебро и золото – мой маскарадный костюм. – Помню, – сказал Сомс, – что-то с колокольчиками.

– Эта часть картины, по-моему, очень хорошо вышла.

– Что? А лицо ему разве не удалась?

– Не знаю, мне как-то не очень нравится.

И правда, в тот день, после сеанса, она стала сомневаться. В лице появилось что-то жадное, словно рафаэлит почуял, как в ней крепнет решение.

– Если плохо выйдет, я не возьму, – сказал Сомс.

Флер улыбнулась. У рафаэлита найдется, что сказать на это.

– О, я уверена, что будет хорошо. Собственным портретом никто, наверно, не бывает доволен.

– Не знаю, – сказал Сомс, – не пробовал.

– А следовало бы, милый.

– Пустая трата времени! Он отослал портрет этой молодой женщины?

Флер не сморгнула.

– Жены Джона Форсайта? О да, уже давно.

Она ждала, что он скажет: «Ты с ними виделась это время?» – но он промолчал. И это смутило ее больше, чем смутил бы вопрос.

– Ко мне сегодня заходил твой кузен Вэл.

У Флер замерло сердце. Неужели говорили о ней?

– Его подпись подделали.

Какое счастье!

– Есть люди, абсолютно лишенные нравственных устоев, – продолжал Сомс. Она невольно вздернула белые плечи; но он не заметил. – Самая обыкновенная честность – куда она девалась, не знаю.

– Я сегодня слышала, папа, как лорд Шропшир говорил, что «честность лучшая политика» – это просто пережитое викторианства.

– Хотя он и старше меня на десять лет, не понимаю, с чего он это взял. Все теперь вывернуто наизнанку.

– Но если это лучшая политика, так особой добродетелью это никогда и не было, так ведь?

Сомс резко взглянул на ее улыбающееся лицо.

– Почему?

– Ой, не знаю! Куропатки из Липпингхолла, папа.

Сомс потянул носом.

– Мало повисели. Ножки куропатки должны быть куда сочнее.

– Да, я говорила кухарке, но у нее свой взгляд на вещи.

– А в хлебном соусе должно быть чуть побольше лука. Викторианство, подумаешь!

Он, верно, и меня назвал бы викторианцем!

– А разве это не так, папа? Ты сорок шесть лет при ней прожил.

– Прожил двадцать пять без нее и еще проживу.

– Долго, долго проживешь, – мягко сказала Флер.

– Ну, это вряд ли.

– Нет, непременно! Но я рада, что ты не считаешь себя викторианцем. Я их не люблю:

слишком много на себя надевали.

– Не скажи.

– Во всяком случае, завтра ты будешь в царствовании Георга.

– Да, – сказал Сомс. – Там, говорят, есть кладбище. Кстати, я купил место на нашем кладбище, в углу. Чего еще искать лучшего? Твоя мать, верно, захочет, чтобы ее отвезли хоронить во Францию.

– Кокер, налейте мистеру Форсайту хереса.

Сомс не спеша понюхал.

– Это еще из вин моего деда. Он дожил до девяноста лет.

Если они с Джоном доживут до девяноста лет, так никто и не узнает?.. В десять часов, коснувшись губами его носа, она ушла к себе.

– Я устала, папа; а тебе завтра предстоит длинный день. Спокойной ночи, милый!

Счастье, что завтра он будет в царствовании Георга!

VIII. ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Неожиданно затормозив машину на дороге между фермой Гейджа и рощей в Робин-Хилле, Флер сказала:

– Джон, милый, мне пришла фантазия. Давай выйдем и погуляем здесь. Вельможа в Шотландии. – Джон не двинулся, и она прибавила: – Мы теперь долго с тобой не увидимся, раз твой портрет готов.

Тогда Джон вышел, и она отворила калитку, за которой начиналась тропинка. В роще они постояли, прислушиваясь, не заметил ли кто их незаконного вторжения. Ясный сентябрьский день быстро меркнул. Последний сеанс затянулся, было поздно, и среди берез и лиственниц рощи сгущались сумерки. Флер ласково взяла его под руку.

– Слушай! Правда, тихо? Как будто и не прошло семи лет, Джон. А тебе хотелось бы? Опять были бы невинными младенцами?

Он ответил сердито:

– К чему вспоминать – все случается так, как нужно.

– Птицы ложатся спать. Тут совы водились?

– Да; скоро, наверно, услышим их.

– Как пахнет хорошо!

– Деревья и коровники!

– Ваниль и тмин, как говорят поэты. А коровники близко?

– Да.

– Тогда не стоит идти дальше.

– Вот упавшее дерево, – сказал Джон, – Можно сесть подождать, пока закричит сова. Они сели рядом на старое дерево.

– Росы нет, – сказала Флер. – Скоро погода испортится. Люблю, когда веет засухой.

– Люблю, когда пахнет дождем.

– Мы с тобой никогда не любим одно и то же, Джон. А между тем – мы любили друг друга. – Она плечом почувствовала, как он вздрогнул.

– Вот и часы бьют! Уж поздно. Флер! Слышишь? Сова!

Крик раздался неожиданно близко, из-за тонких ветвей. Флер встала.

– Попробуем ее отыскать.

Она двинулась прочь от упавшего дерева.

– Ну, где ты? Побродим немножко, Джон.

Джон поднялся и побрел рядом с ней между лиственниц.

– Кажется, сюда – верно? Как быстро стемнело. Смотри – березы еще белеют. Люблю березы, – она положила ладонь на бледный ствол. – Какой он гладкий, Джон, словно кожа, – и, наклонившись вперед, приникла к стволу щекой. – Вот потрогай мою щеку, а потом кору. Правда, не отличишь, если бы не тепло?

Джон поднял руку. Она повернулась и коснулась ее губами.

– Джон, поцелуй меня один раз.

– Ты ведь знаешь, я не могу поцеловать тебя «один раз». Флер.

– Тогда целуй меня без конца, Джон.

– Нет, нет, нет!

– Все случается так, как нужно, – это ты сказал.

– Флер, не надо! Я не вынесу.

Она засмеялась – нежно, еле слышно.

– И не нужно. Я семь лет этого ждала. Нет! Не закрывай лицо. Смотри на меня! Я все беру на себя. Женщина тебя соблазнила. Но, Джон, ты всегда был мой. Ну вот, так лучше. Теперь я вижу твои глаза. Бедный Джон! Поцелуй меня! – В долгом поцелуе она словно лишилась чувств; не знала даже, открыты его глаза или закрыты, как у нее.

И опять прокричала сова.

Джон оторвался от ее губ. Он дрожал в ее объятиях, как испуганная лошадь.

Она прижалась губами к его уху, шептала:

– Ничего, Джон, ничего. – Услышала, как у него захватило дыхание, и ее теплые губы продолжали шептать: – Обними меня, Джон, обними меня!

Теперь не оставалось ни проблеска света; между темных перистых веток глядели звезды, и далеко внизу, там, где начинался подъем, дрожало и подбиралось к ним сквозь деревья неверное мерцание восходящей луны. Легкий шорох нарушил безмолвие, стих, раздался снова. Ближе, ближе Флер прижималась к нему.

– Не здесь, Флер, не здесь. Я не могу... не хочу...

– Нет, Джон, здесь, сейчас. Ты ведь мой.

Когда они снова сидели на упавшем дереве, сквозь деревья светила луна.

Джон сжимал руками виски, и ей не были видны его глаза.

– Никто никогда не узнает, Джон.

Он уронил руки и посмотрел ей в лицо.

– Я должен ей сказать.

– Джон!

– Должен!

– Не можешь, пока я не позволю. А я не позволяю.

– Что мы сделали? О Флер, что же мы сделали?

– Так суждено было. Когда я тебя увижу, Джон?

Он вскочил на ноги.

– Никогда, если только она не узнает. Никогда, Флер, никогда! Я не могу продолжать тайком!

В мгновение и Флер была на ногах. Они стояли, положив, руки друг другу на плечи, точно в борьбе. Потом Джон вырвался и как безумный ринулся назад в рощу.

Она стояла дрожа, не решаясь позвать. Стояла ошеломленная, ждала, что он вернется к ней, но он не шел.

Вдруг она застонала и опустила на колени; и опять застонала. Он должен услышать и вернуться! Не мог, не мог он уйти от нее в такую минуту!

– Джон!

Ни звука. Она встала с колен, стояла, вглядываясь в побелевший сумрак. Прокричала сова; и Флер с ужасом увидела, что луна зацепилась за верхушки деревьев, следит за ней как живая. Задохнувшись рыданием, она заплакала тихо, как обиженный ребенок. Стояла, слушала изо всех сил. Ни шороха, ни шагов, ни крика совы – ни звука, только далеко и тихо проезжают по лондонской дороге машины. Что он, пошел к автомобилю или прячется от нее в этой роще, жуткой, полной теней?

– Джон! Джон!

Не отвечает! Она побежала к калитке. Вот машина – пуста! Она села и склонилась над рулем, чувствуя, что вся онемела. Что это значит? Что же, она проиграла в самый час

победы? Не мог, не мог он оставить ее здесь! Машинально зажгла она фары. Прошли двое пешком, проехал велосипедист. А Флер так и сидела онемев. И это – свершение? Свершение, о котором она мечтала? Несколько мгновений торопливой, иступленной страсти – и это? К обиде и растерянности примешивался стыд, что в такую минуту он мог убежать от нее, и страх, что, добившись его, она его потеряла!

Наконец она пустила машину и тоскливо поехала вперед, посматривая на дорогу, безнадежно надеясь догнать Джона. Ехала очень медленно и, только добравшись до поворота на Доркинг, окончательно потеряла надежду. Как она вела машину остальную часть пути, она и сама не знала. Жизнь словно разом ее покинула.

IX. ПОХМЕЛЬЕ

Джон, ринувшись назад в рошу, повернул налево, миновал пруд и, выйдя на опушку, полем побежал в гору, к дому, как будто он все еще там жил. Дом высился над террасой и газонами – неосвященный, призрачный в лунном сиянии. За кустом рододендронов, где маленьким мальчиком Джон играл в прятки или с луком и стрелами охотился на жука-оленья, он опустился на землю, так как ноги вдруг отказались его держать, и сжал пылающие щеки горячими кулаками. Он давно уже знал и не знал, мечтал и боялся мечтать об этом! Подавляюще, внезапно, неотступно! «Так суждено было!» – сказала она. Ее можно всячески оправдать; но где оправдание для него? Он не находил его среди этих озаренных луной рододендронов. А, между тем, дело сделано! Чей он теперь? Он встал и, словно ища ответа, поглядел на дом, где родился, рос и играл. Побеленный луной, без огней, дом казался призраком, хранил какую-то тайну. «А я не позволяю тебе сказать!.. Когда мы опять увидимся?» Значит, она хочет тайного любовника? Невозможно! Единственный абсолютно невозможный выход. Он будет принадлежать или одной, или другой, но не обеим. Все его существо разрывалось, но это решение было твердо. Он пошел, пригибаясь, позади кустов рододендрона, тянувшихся вдоль нижнего края лужайки, добрался до стены владения, через которую так часто перелезал в детстве, и, подтянувшись на руках, соскочил на верхнее шоссе. Никто его не заметил, и он поспешил прочь. Он глухо, смятенно жаждал попасть домой, в Уонсдон, – хотя что он будет делать, когда попадет туда, он и сам не знал. Он повернул на Кингстон.

Два часа в наемном автомобиле Джон напряженно думал. Как бы он теперь ни поступил, он изменит либо одной, либо другой. И, еще не овладев собой после пережитых страстных мгновений, он никак не мог разобраться в себе, а, между тем, – нужно!

В Уонсдон он попал в одиннадцать часов и, отпустив машину на шоссе, пошел к дому. Все легли спать, решив, очевидно, что будет еще один сеанс и он остался ночевать у Джун. Он увидел, что в комнате, служившей им с Энн спальней, горит свет, и впервые ощутил всю тяжесть стыда за содеянное. У него не хватило духу окликнуть ее, и он бесшумно двинулся в обход дома, ища, где бы войти. Наконец он заметил открытое окно в одной из запасных комнат второго этажа, принес садовую лестницу, взобрался по ней и очутился в комнате. Этот поступок, достойный заправского вора, отчасти вернул ему самообладание. Он спустился в холл, вышел из дому, отнес лестницу на место, опять вошел и бесшумно пробрался наверх. Но, дойдя до спальни, замер. Щель под дверью не светила. Энн, видно, легла. И вдруг он понял, что не смеет войти. Ощутить себя Иудой, целуя ее?! Он снял ботинки, взял их в руки и опять пошел вниз, в столовую. Он с часу дня не ел, только выпил чашку чая, и теперь достал печенья и вина. Настроение изменилось. Ни один мужчина не устоял бы против поцелуев Флер в залитой луною роще – ни один! Так неужели нужно одну из них больно обидеть? Почему не сделать, как хочет Флер, – не сохранить тайну? Оставаясь ее тайным любовником, он не обидит Флер. Скрыв от Энн, он не обидит Энн. Он ходил взад-вперед по комнате, как леопард в клетке. И все, что было в нем честного и разумного, возмущалось. Разве можно остаться мужем двух женщин, если одна из них знает? Разве Флер это выдержит? А ложь, увертки! А Майкл Монт – хороший,

порядочный человек! Он и так причинил ему достаточно зла. Нет! Так или иначе – но честно! Он остановился у камина, облокотился о каменную доску. Как тихо! Только тикают старые часы, принадлежавшие еще его деду, – тикают, и проходит время, которое все исцеляет, которому так мало дела до земных треволнений; тикают, и идут люди и события к своим назначенным пределам. Прямо перед ним на камине стоял портрет его деда, старого Джолиона, – самая последняя фотография, запечатлевшая старое лицо с огромным лбом, белые усы, впалые щеки, глубоко запавшие строгие глаза и мощный подбородок. Джон долго смотрел на него. «Наметь себе путь и не отступай!» – словно говорил глубокий ответный взгляд... Он прошел к письменному столу и сел писать:

«Прости, что я сегодня убежал, но, право же, так было лучше. Мне нужно было подумать. Я подумал. Пока я уверен только в одном. Продолжать тайком – невозможно. О сегодняшнем я, конечно, не скажу ни слова, если ты мне не позволишь. Но, Флер, если я не смогу все рассказать, значит конец. Ведь и ты не хотела бы другого, правда? Ответь, пожалуйста, на адрес почтового отделения в Нетлфолдс. Джон».

Он запечатал письмо, надписал адрес Флер в Доркинге и, натянув ботинки, тихо вышел опустить его. Вернувшись, он почувствовал такую усталость, что заснул в кресле, закутавшись в старое пальто. В щелях занавесок резвился лунный свет, тикали старые часы, но Джон спал без сновидений.

Он проснулся, когда светало, прокрался в ванную, бесшумно выкупался и побрился и вышел в окно, чтобы не оставлять парадную дверь незапертой. Пошел вверх по лошине, мимо заброшенной каменоломни, на холмы, как шел с Флер семь лет назад. До получения ее ответа он не знал, что делать, и боялся встретить взгляд Энн, пока не улеглось его смятение. Он шел к Чанктонбери-Рингу. Короткая трава была заткана обильной росой. Солнце только что взошло, и бесконечно прекрасно было вокруг, безлюдно и тихо. Красота терзала его. Он всей душой полюбил холмы, в них было особое обаяние, подобного которому он не находил нигде. Неужели ему теперь предстоит их покинуть, снова покинуть Англию, покинуть все и прилепиться к Флер? Если она заявит на него права, если решит предать их союз гласности, тогда, наверно, так и будет. И Джон шел в таком смятении, какого раньше и вообразить не мог. От Ринга он свернул в сторону, чтобы не набрести на утреннюю тренировку лошадей. И эта первая увертка поставила его перед необходимостью немедленно принять решение. Что ему делать, пока не придет ответ от Флер? Письмо ее попадет в Нетлфолд не раньше вечера или даже следующего утра. С тяжелым сердцем он решил вернуться домой к завтраку и сказать, что опоздал на поезд и ночью пробрался в дом, как вор, чтобы не тревожить их.

Этот день, когда он мучился и неустанно следил за собой, был одним из самых несчастных дней в его жизни; и он не мог отделаться от чувства, что Энн читает его мысли. Словно они провели этот день, украдкой наблюдая друг за другом, – невыносимо! Часа в четыре он попросил лошадь, чтобы съездить на ферму Грин-Хилл, и сказал, что вернется поздно. Он поехал в Нетлфолд и зашел на почту. Его ждала телеграмма:

"Нужно увидеться. Буду на ферме Грин-Хилл завтра в полдень.

Не обмани. Ф. "

Джон разорвал телеграмму и поехал обратно. Еще восемнадцать часов тоски и напряжения! Есть ли что в мире хуже неизвестности? Он ехал медленно, чтобы меньше времени пробыть дома, страшился ночи. У придорожной гостиницы остановился, закусил и поехал дальше, через ферму Грин-Хилл, чтобы хоть формально оправдать свои слова. Домой он приехал около десяти, когда луна уже стояла высоко в небе.

– Чудесная ночь, – сказал он, входя в гостиную.

– Луна прямо изумительна, – ответила Холли.

Энн, сидевшая у камина, даже не подняла голову. «Знает, – подумал Джон, – что-то знает». Через несколько минут она сказала, что хочет спать, и встала. Джон остался поболтать с Холли. Вэл из Лондона проехал в Ньюмаркет, его ждали не раньше пятницы. Они сидели по обе стороны горящего камина. И, глядя в лицо сестры, прелестное и

задумчивое, Джон почувствовал искушение. Она такая умная и отзывчивая. Рассказать ей все и стало бы легче. Но удержало приказание Флер – тайна была не его.

– Ну, Джон, с фермой все в порядке?

– Получил еще кой-какие цифры. Сегодня ими займусь.

– Уж скорей бы это решалось, чтобы нам знать, что вы будете здесь близко. Страшно будет обидно, если это сорвется.

– Да; но на этот раз надо действовать наверняка.

– Энн спит и видит, как бы там жить. Она мало говорит, но это ничего не значит.

Такой чудесный старый уголок.

– Мне лучшего и не нужно, только пусть будет выгодно.

– Ты поэтому и тянешь, Джон?

– А почему бы еще?

– Мне казалось... может, ты в душе боишься опять прочно осесть? Но ведь ты глава семьи, Джон, тебе нужно осесть.

– Глава семьи!

– Да, единственный сын единственного сына старшего сына – и так до самого первого Джолиона.

– Хорош глава! – горько вымолвил Джон.

– Да, хорошая голова, – и Холли быстро встала, наклонилась и поцеловала его в макушку.

– Спокойной ночи! Не засиживайся! Энн что-то невеселая.

Джон погасил лампу и остался сидеть, сгорбившись, в кресле у камина. Глава семьи! Достойно он ведет себя! А если... Ха! Вот это и правда будет весело! Что сказал бы на это старик, чей портрет он разглядывал вчера вечером? Ох, какая путаница! Ведь в глубине души он знал, что Энн ему больше товарищ, что с ней, а не с Флер он может жить и работать и обрести себя. Безумие, мимолетное безумие нахлынуло на него из прошлого, прошлое и ее воля, стремящаяся забрать и держать его! Он встал и раздвинул занавески. Там, между двумя вязами, светила луна, загадочная и всесильная, и в свете ее все словно уплывало вверх, на гребень холмов. Красота какая, тишина! Он распахнул стеклянную дверь и вышел; как темная жидкость, разлитая по побелевшей траве, резная тень вяза почти доходила до его ног. Наверху светилось окно их комнаты. Довольно трусить, надо идти. Он не был с ней вдвоем с тех пор, как... Если бы только знать наверное, как поступить. И тут он понял, что ошибся, поддавшись внезапному желанию убежать от Флер, надо было остаться и тут же все выяснить. А, между тем, кто в его положении мог бы поступить разумно и здраво? Он сделал шаг назад к двери и замер на месте. Между лунным светом и отсветом камина стояла Энн. Тоненькая, в плотно запахнутом легком халатике, она искала его глазами. Джон закрыл дверь и задернул занавеску.

– Прости, родная, не простудись, меня лунный свет выманил. – Она проскользнула к дальнему концу камина и стояла, не сводя с него глаз.

– Джон, у меня будет ребенок.

– Что!..

– Да. В прошлом месяце я тебе не сказала, потому что не была уверена.

– Энн!

Она подняла руку.

– Подожди минутку!

Джон стиснул спинку стула, он знал, что она сейчас скажет.

– Что-то произошло между тобой и Флер.

Затаив дыхание, Джон смотрел ей в глаза: темные, испуганные, немигающие, они отвечали на его взгляд.

– Все произошло, да?

Джон опустил голову.

– Вчера? Не объясняй, не оправдывай ни себя, ни ее. Только – что же теперь будет?

Не поднимая головы, Джон ответил:

– Это зависит от тебя.

– От меня?

– После того, что ты только что сказала. Ах, Энн, почему ты не сказала мне раньше?

– Да, я опоздала.

Он понял, что она хотела сказать, – она приберегала это как средство защиты. И, чувствуя, что ему нет прощения, он сказал:

– Прости меня, Энн, прости!

– О Джон, я не знаю.

– Клянусь, что больше ее не увижу.

Теперь он поднял глаза и увидел, что она опустилась на колени перед огнем, тянется к нему рукой, словно озябла. Он упал на колени с нею рядом.

– По-моему, – сказал он, – любовь самое жестокое, что есть на свете.

– Да.

Она закрыла лицо рукой; и бесконечно долго, казалось, он стоял на коленях, ожидая движения, знака, слова. Наконец она опустила руку.

– Ничего. Прошло. Только подожди целовать меня.

Х. ГОРЬКОЕ ЯБЛОКО

Утром, за повседневными делами. Флер ожила. Стоя под лучами солнца среди мальв и подсолнухов сада при «Доме отдыха», она с лихорадочной энергией переживала прошлое и будущее. Понятно, что Джон растерялся. Она взяла его с бою. Он старинного склада, болезненно-честный; он не может легко смотреть на вещи. Но раз уж он согрешил против совести, он поймет, что случившееся важнее всего, что может еще случиться. Важен только первый шаг! Они всегда принадлежали друг другу. Ее совесть не мучает; что же ему страдать, когда его смятение уляжется? Может, и лучше, что он убежал от нее, он сам увидит безвыходность своего положения. Пережитое волнение ничуть не поколебало ее планов. Джон теперь завоеван, он не выдаст их тайны, если не получит на то ее разрешения. Ему ничего не остается, как пойти на единственно возможное – на тайную связь. Измена налицо; а один раз или много – не все ли равно? Но взамен за потерю самоуважения она даст ему всю свою любовь, все силы своего ума. Она выведет его в люди. Несмотря на эту американскую малышку, он должен добиться успеха в своем хозяйстве, стать видным человеком в графстве, а может, и во всей стране. Она будет сама осмотрительность ради него и себя, ради Майкла, и Кита, и отца.

С большим букетом осенних цветов, за которые цеплялась пчела, она вернулась в дом, чтобы поставить их в воду. На столе в передней жена сторожа приготовила кучу пакетиков с порошком от моли, которой много развелось в доме, пустовавшем целый год. Флер стала рассовывать их по ящикам.

Со второй почтой пришло письмо Джона.

Она прочла его, и два красных пятна запылали у нее на щеках. Он написал это раньше, чем уснул, это все его смятение! Но надо увидаться с ним сейчас же – сейчас же! Она вывела из гаража машину, поехала в деревню, где ее не знали, и отправила Джону телеграмму в Нетлфолд до востребования. Какой ужас, что надо ждать до завтра! Но она знала, что он заедет на почту только вечером или даже на следующее утро.

Никогда еще так не тянулось время. Теперь ее опять одолевали сомнения. Неужели она переоценила свои силы, слишком положила на свою мгновенную победу, одержанную в минуту забытья, недооценила твердость решений Джона? Она вспомнила, как в те далекие дни ей не удалось переломить его решения отказаться от нее. И, не в силах сидеть на месте, она одна поднялась на Бокс-Хилл и там среди тисов и зарослей брусники, бродила до изнеможения, пока солнце не склонилось к западу. В бледнеющем свете лесное безлюдье стало ей в тягость, у нее не было настоящей любви к природе, да и

плохой природа утешитель, когда на сердце тревожно. Приятно было очутиться в доме, послушать болтовню девушек за ужином. Интересы это не представляло, но хоть не наводило уныния, как простор и тени за окнами. Она вдруг вспомнила, что пропустила сеанс и не дала о себе знать. Рафаэлит, верно, злится; может быть, он надел ее костюм на манекен и пишет с него звук серебряных бубенчиков... Бубенчики! Майкл! Бедный Майкл! Но стоит ли жалеть его, когда он годами владел ею, хотя она в душе принадлежала другому? Спать она легла рано. Хоть бы проспать подольше, а потом сразу ехать! Что это за сила играет сердцами, рвет их на части, бросает трепетные – велит им ждать и болеть, и болеть и ждать! Интересно, приходилось ли благонаправленной викторианской мисс, о которой теперь опять так много кричат, – приходилось ли ей переживать то, что пережила она с тех пор, как в первый раз перед этой нелепой Юноной – или Венерой? – в галерее на Корк-стрит увидела посланного ей судьбой? Викторианская мисс с ее устоями! Допустим – о, безусловно! – что у нее. Флер Монт, устоев нет; а все-таки она не изливалась всем и каждому. Не противилась, не буянила. Разве не заслужила она немножко счастья? Пусть немножко, больше она и не требует. Все проходит, сердца изнашиваются! Но прижиматься сердцем к желанному сердцу, как вчера, а потом сразу потерять его? Быть не может. Заснула она не скоро, и луна – свидетель ее победы заглядывала в щели занавесок, нагоняла сны.

Она проснулась, лежала и думала повышенно интенсивно, как всегда бывает рано утром. Люди осудят ее, если узнают; а возможно ли, собственно, устроить так, чтобы не узнали? Что если Джон так и не согласится на тайную связь? Что же тогда? Готова она бросить все и идти за ним? Для нее это было бы страшнее, чем для других. Это остракизм. Ведь за всем этим непрестанно маячила все та же преграда семейной распри: ее отец и его мать, и неприемлемость для них союза между ней и Джоном. И все, что было в ней светского, содрогнулось и отпрянуло перед суровой действительностью. Деньги? Денег у них будет достаточно. Но положение, друзья, поклонники – как добиться всего этого вновь? А Кит? Его она потеряет. Монты возьмут его себе. Она села в постели, с потрясающей ясностью видя во мраке истину, никогда раньше не являвшуюся ей в таком неприкрытом виде, что всякая победа требует жертв. Потом она возмутилась. Нет, Джон поймет, Джон образумится! Тайком они изведуют, должны изведать счастье или хотя бы не изголодаться свыше меры. Он будет не целиком с нею, она не целиком с ним, но каждый будет знать, что другое – только притворство. Но будет ли он только притворяться? Всем ли существом он тянется к ней? Разве не так же сильно тянется он к жене? До ужаса ясно вставало перед ней лицо Энн, странный, такой красивый разрез темных живых глаз. Нет! Не нужно о ней думать! От этого слабеешь, труднее будет отвоевать Джона. Лениво потянулась, просыпаясь, заря; чирикнула птица; в комнату вполз рассвет. Флер легла на спину, снова покорившись тупой боли ожидания. Встала не отдохнувшая. Утро ясное, сухое, только роса на траве! В десять можно выезжать. В движении ждать будет легче, как бы медленно ни пришлось ехать. Она дала нужные распоряжения на день, вывела машину и пустилась в путь. Сверялась с часами, чтобы приехать ровно в полдень. Листья желтели, осень наступала ранняя. Так ли она одета? Понравится ли ему мягкий тон ее платья цвета переспелых яблок? Красное красивее, но красный цвет привлекает внимание. А сегодня привлекать внимание нельзя. Последнюю милю она еле тащилась и наконец остановила машину на обсаженной деревьями дороге, там, где кончался фруктовый сад фермы Грин-Хилл и начинались поля. Очень внимательно изучила свое лицо в маленьком зеркальце из сумочки. Где это она читала, что зеркало отражает лицо в самом невыгодном свете? Счастье, если это так. Она вспомнила, что Джон как-то говорил, что терпеть не может губную помаду; и, не подкрасив губ, убрала зеркальце и вышла из машины. Она медленно двинулась к воротам. Отсюда шла широкая дорога, отделявшая дом от сеновала и других надворных построек, расположенных за ним по склону холма. Они вытянулись в ряд на мягком осеннем солнце – внушительные, сухие, заброшенные; ни скота не видно, ни одной курицы. Даже для

непосвященной Флер было ясно, что нелегкая работа ждет того, кто возьмется за эту ферму. Сколько раз она слышала от Майкла, что в теперешней Англии нет дела более достойного мужчины, чем сельское хозяйство! – Она позволит Джону купить эту ферму, пусть хоть на этот счет его несчастная совесть будет спокойна. Она вошла в ворота и остановилась перед старым домом, смотрела на острые крыши, на красные листья дикого винограда. Когда она проезжала последнюю деревню, било двенадцать. Не может быть, чтобы он обманул ее! Пять минут ожидания показались пятью часами. Потом с быстро бьющимся сердцем она подошла к двери и позвонила. Звонок отозвался где-то далеко в пустом доме. Шаги женские шаги!

– Что угодно, мэм?

– Я должна была в двенадцать часов встретиться здесь с мистером Форсайтом по поводу фермы.

– Ах да, мэм. Мистер Форсайт заезжал рано утром. Он очень сожалел, что должен уехать. Оставил вам письмо.

– Он больше не приедет?

– Нет, мэм, он очень сожалел, но сегодня приехать не сможет.

– Благодарю вас.

Флер вернулась к воротам. Стояла" вертела в руках конверт. Потом сломала печать и прочла:

«Вчера вечером Энн сама сказала мне, что знает о случившемся. И еще сказала, что ждет ребенка. Я обещал ей больше с тобой не видеться. Прости и забудь меня, как я должен забыть тебя, Джон».

Медленно, словно не сознавая, что делает, она разорвала бумагу и конверт на мелкие кусочки и засунула их глубоко в изгородь. Потом медленно, словно ничего не видя, Прошла к автомобилю и села. Сидела, окаменев, возле фруктового сада; солнце грело затылок, пахло упавшими, гниющими яблоками. Четыре месяца, с тех пор как она увидела в столовой усталую улыбку Джона, все ее помыслы были о нем. И это конец! О, скорее уехать, уехать отсюда!

Она пустила машину и, выбравшись на шоссе, дала полный ход. Если она сломает себе шею – тем лучше! Но судьба, опекающая пьяных и пропащих, хранила ее, расчищала ей путь. И шеи она не сломала. Больше двух часов Флер мчалась, сама не зная куда. В три явилось первое здоровое ощущение страшно захотелось курить, выпить чаю. Она перекусила в гостинице и повернула машину к Доркингу. Теперь она убавила скорость и домой попала в пятом часу. Почти шесть часов за рулем! И первое, что она увидела перед «Домом отдыха», был автомобиль ее отца. Он! А ему что нужно? Почему не оставят ее в покое? Она готова была опять пустить машину, но в эту минуту он появился в дверях дома и стал смотреть на дорогу. Что-то ищущее в этом взгляде тронуло ее, она вышла из машины и пошла к нему.

XI. «БОЛЬШОЙ ФОРСАЙТ»

Наутро после заседания комитета по перестройке трущоб Сомс рано пустился в путь. Он решил переночевать «где-нибудь там», на другой день посмотреть корни Форсайтов и проделать часть обратной дороги; а еще через день вернуться в Лондон и попытаться увезти Флер к себе в Мейплдерхем на весь конец недели. Часов в шесть он прибыл в приморскую харчевню в десяти милях от местожительства предков, съел неважный обед, выкурил привезенную с собой сигару и лег спать, для верности застелив кровать пледом из верблюжьей шерсти.

Он все обдумал и запасся военной картой большого масштаба. Свои исследования он собирался начать с осмотра церкви, руководясь, как единственной вехой, воспоминанием, что когда-то здесь побывал его отец Джемс и, вернувшись, говорил, что видел церковь над морем и что, «вероятно, есть приходские записи и все такое, но

времени прошло много, и он не знает».

После раннего завтрака он велел Ригзу ехать к церкви. Она стояла у самого моря, как и сказал Джемс, и была открыта. Сомс вошел. Старая серая церковка, смешные скамьи, запах сырости. Вряд ли будут на стенах дощечки с его фамилией. Дощечек не оказалось, и он вышел на кладбище, и там, среди могильных плит, его охватило чувство нереальности – все скрыто под землей, могильным плитам больше ста лет, ни одной надписи не прочесть. Он уже собрался уходить, как вдруг споткнулся, Неодобрительно вперив глаза в плоский камень, он увидел на его выветренной, замшелой поверхности заглавное Ф. Минуту постоял, вглядываясь, потом что-то дрогнуло в нем, и он опустился на колени. Два слова – первое, несомненно, начинается на Д, и есть в нем лин; во втором – то самое заглавное Ф, а в середине что-то вроде с, и у последней буквы хвостик, как у г. Дата? Э, дату можно прочесть! 1777. Он тихонько поскреб первое имя и откопал букву о. Четыре буквы из слова «Джолион», три – из слова «Форсайт». Почти не оставалось сомнений, что он споткнулся о своего прапрадеда! Если старик дожил до обычного возраста Форсайтов, значит он родился в начале восемнадцатого века. Глаза Сомса жестким серым взглядом буравили камень, словно пытаясь добраться до глубоко зарытых костей, давно уже, вероятно, чистых, как палочки. Потом он поднялся с колен и отряхнул с них пыль. Теперь у него есть дата. И, полный непонятной бодрости, он вышел с кладбища и подозрительным взглядом окинул Ригза. Не видел ли тот, как он стоял на коленях? Но шофер сидел, как всегда, повернувшись спиной ко всему на свете, покуривая неизменную папиросу. Сомс сел в машину.

– Теперь мне нужен дом священника, или как его там.

– Хорошо, сэр.

Всегда он отвечает «Хорошо, сэр», а сам понятия не имеет, куда ехать.

– Вы бы лучше спросили дорогу, – сказал он, когда машина двинулась по изрытому колеями проселку. Этот тип скорее в Лондон вернется, чем спросит. Спрашивать, впрочем, было некого. Полное безлюдье прихода, где покоились его корни, поражало Сомса. Кругом были холмы и простор, большие поля, налево в овраге – лес, и почва, видно, неважная – не красная, и не белая, и не то чтобы бурая; вот море – то было синее, а скалы, насколько он мог разглядеть, – полосатые. Дорога свернула вправо, мимо кузницы.

– Эй, – сказал Сомс, – остановитесь-ка!

Он сам вышел спросить дорогу. Ригз все равно перепутал бы.

Кузнец бил молотом по колесу, и Сомс подождал, пока он заметит его присутствие.

– Где дом священника?

– Прямо по дороге, третий дом направо.

– Благодарю вас, – сказал Сомс и, подозрительно оглядев кузнеца, добавил:

– Что, фамилия Форсайт здесь еще известна?

– Что такое?

– Вы когда-нибудь слышали фамилию Форсайт?

– Фарсит? Нет.

Сомс испытал смешанное чувство разочарования и облегчения и вернулся на свое место. Вдруг бы он сказал: «Ну да, это моя фамилия!»

Быть кузнецом – почтенная профессия, но он чувствовал, что в его семье она не обязательна. Машина двинулась.

Дом священника задыхался в зарослях ползучих растений. Священник, наверно, тоже задохнулся! Сомс потянул ржавый звонок и стал ждать. Дверь отворила краснощекая девушка. Все было просто, по-деревенски.

– Мне нужно видеть священника, – сказал Сомс. – Он дома?

– Да, сэр. Как о вас сказать?

Но в эту минуту в дверях появился жидкий мужчина в жиденьком костюме и с жидкой бородкой.

– Это ко мне, Мэри?

– Да, – сказал Сомс, – вот моя карточка.

Наверно, думалось ему, можно расспросить о своем происхождении в каких-то особых, изысканных фразах; но они не подвернулись, и он сказал просто:

– Мои предки жили в этих местах несколько поколений назад. Мне хотелось поглядеть эти края и кой о чем расспросить вас.

– Форсайт? – сказал священник, глядя на карточку. – Имя мне незнакомо, но, полагаю, что-нибудь найдем.

Одежда на нем была старая, поношенная, и Сомсу подумалось, что глаза его обрадовались бы, если б умели. «Чует деньги, – подумал он, – бедняга!»

– Зайдите, пожалуйста, – сказал священник. – У меня есть кой-какие записи и старая десятинная карта. Можно посмотреть. Церковные книги ведутся с тысяча пятьсот восьмидесятого года. Я мог бы проглядеть их для вас.

– Не знаю, стоит ли, – сказал Сомс и прошел за ним в комнату, неопишимо унылую.

– Присядьте, – сказал священник, – я сейчас достану карту, Форсайт? Теперь я как будто вспоминаю.

Любезен до крайности и, наверно, непрочь заработать!

– Я был возле церкви, – сказал Сомс. – Она очень близко от моря.

– Да; в кафедре, говорят, в прежнее время прятали контрабандную водку.

– Я нашел на кладбище дату – тысяча семьсот семьдесят семь; могилы сильно запущены.

– Да, – сказал священник, роясь в шкафу, – это все морской воздух виноват. Вот карта, о которой я говорил. – Он принес большую потемневшую карту, разложил ее на столе, а углы придавил жестяной с табаком, чернильницей, книгой проповедей и плеткой. Плетка была слишком легкая, и карта, медленно свертываясь, удалялась от Сомса.

– Иногда, – сказал священник, водворяя угол на место и глазами ища, чем бы придавить его, – из этих старых карт можно извлечь много полезного.

– Я подержу, – сказал Сомс, наклоняясь над картой. – К вам, верно, приезжает много американцев в поисках предков?

– Нет, не много, – сказал священник, и брошенный им искоса взгляд не понравился Сомсу. – Я помню двоих. А, вот, – и палец его опустил на карту, – мне так и казалось, что имя знакомое, – оно запоминается. Смотрите! На этом участке, у самого моря, пометка – «Большой Форсайт».

Снова что-то дрогнуло в Сомсе.

– Какого размера участок?

– Двадцать четыре акра. Вот тут, я помню, были развалины дома. Камни взяли во время войны на устройство тира. «Большой Форсайт» – подумайте, как интересно!

– Мне было бы интереснее, если бы камни остались на месте, – сказал Сомс.

– Там есть отметка – старый крест, об него всегда скотина чешется. У самой изгороди, на правой стороне оврага.

– Туда можно Подъехать на машине?

– О да; в объезд оврага. Желаете, я проеду с вами?

– Нет, благодарю, – сказал Сомс. Мысль обследовать свои корни при свидетелях не улыбалась ему. – Но если вы будете так добры, что пороетесь пока в записях, я бы заехал после завтрака узнать результаты. Мой прадед, Джолион Форсайт, умер в Стэдмуте. Под камнем, который я нашел, лежит Джолион Форсайт, похоронен в тысяча семьсот семьдесят седьмом году – по-видимому, мой прапрадед. Вам, вероятно, удастся отыскать дату его рождения и, может быть, рождения его отца – порода была долговечная. К имени Джолион они, по-видимому, питали особую слабость.

– Я сейчас же возьмусь за дело. Это займет несколько часов. Сколько вы полагаете за труд?

– Пять гиней? – рискнул Сомс.

– О, это щедро. Я очень тщательно просмотрю записи. Теперь пойдемте, я объясню вам, как проехать. – Он пошел вперед, и Сомса кольнуло: джентльмен, а брюки сзади лоснятся.

– Поедете этой дорогой до разветвления, свернете влево мимо почты и дальше, в объезд оврага, все время забирая влево, увидите ферму «Верхний Луг». Дальше – до спуска; на правой руке есть ворота – войдите и окажетесь на верхнем конце того поля; впереди увидите море. Я так рад, что мог кое-что найти. Может, на обратном пути позавтракаете у нас?

– Благодарю вас, – сказал Сомс, – вы очень добры, но я захватил завтрак с собой. – И сейчас же устыдился своей мысли: «Что же, он думает, что я скроюсь не заплатив?» Он приподнял шляпу и сел в машину, держа наготове зонт, чтобы тыкать им в спину Ригза, если тот, по привычке, свернет не в ту сторону.

Он сидел довольный, время от времени тихонько пуская в ход зонтик. Так! В дни крестин и похорон они перебирались через овраг. Двадцать четыре акра – участок порядочный. «Большой Форсайт!» Наверно, были и «Маленькие Форсайты».

Упомянутая священником ферма оказалась беспорядочным скоплением старых построек, свиней и домашней птицы.

– Поезжайте дальше, пока не начнется спуск, – сказал он Ригзу, – да не спешите, справа будут ворота.

Ригз, по своему обыкновению, гнал, а дорога уже шла под гору.

– Стойте! Вот они! – Машина остановилась на довольно неудобном повороте.

– Проскочили! – сказал Сомс и вышел. – Подождите здесь! Я, возможно, задержусь.

Он снял пальто, перекинул его через руку и, пройдя обратно по дороге, вошел через ворота на луг. Спустившись влево, к изгороди, он пошел вдоль нее и скоро увидел море, спокойное в пронизанном солнцем тумане, и дымок парохода вдали. С моря дул ветер, свежий, крепкий, соленый. Ветер предков! Сомс глубоко потянул в себя воздух, смакуя его, как старое вино. У него слегка закружилась голова от этой свежести, насыщенной озоном или йодом – или как это теперь называют? А потом пониже, шагах в ста, он заметил камень над углублением возле изгороди, и опять что-то в нем дрогнуло. Он оглянулся. Да! С дороги его не видно, никто не подглядит его чувства! И, дойдя до камня, он заглянул в углубление, отделявшее его от изгороди. Дальше поле спускалось к самой воде, а из оврага к камню вело смутное подобие бывшей дороги. Значит, дом был в этом углублении, здесь они жили, старые Форсайты, из поколения в поколение, просоленные этим воздухом; и не было вблизи другого дома, ничего не было – только травяной простор, и море, да чайки на той скале, да разбивающиеся об нее волны. Здесь они жили, пахали землю, наживали ревматизм и ходили через овраг в церковь и, может быть, промышляли даровой водкой. Он осмотрел камень – стоячий, с перекадиной наверху – верно, кусок от сарая – никакой надписи. Спустился в углубление и зонтом стал ковырять землю... Остатки дома, сказал священник, увезли во время войны. Только двенадцать лет прошло, а ни следа не найти! Заросло травой, даже не разобрать, где были стены. Он продвинулся к изгороди. Хорошо подчистили, что и говорить, только трава да поросль папоротника и молодых кустов дрока – эти всегда цепляются за покинутые пепелища. И, постелив пальто. Сомс сел, прислонившись к камню, и задумался. Сами ли его предки построили этот дом здесь, на отлете, первыми ли осели на этом клочке овечьей ветром земли? И что-то в нем шевельнулось, точно он таил в себе долю соленой независимости этого безлюдного уголка. Старый Джолион, и его отец, и другие его дяди – не удивительно, что они были независимые, когда в крови у них жил этот воздух, это безлюдье; и крепкие, просоленные, неспособные сдаться, уступить, умереть. На мгновение он даже самого себя как будто понял. Юг, и пейзаж южный, без всякой эдакой северной суровости, но вольный и соленый, и пустынный с восхода до заката, из года в год, как та пустынная скала с чайками, – навсегда, навеки. И, глубоко вдыхая воздух, он подумал: «Нечего и удивляться, что старый Тимоти дожил до ста лет!» Долго просидел

он, погруженный в своего рода тоску по родине; очень не хотелось уходить. Никогда в жизни, казалось, не дышал он таким воздухом. То была еще старая Англия, когда они жили в этих краях, – Англия, где ездили на лошадях и почти не знали дыма, жгли торф и дрова, и жены никогда не бросали мужей – потому, наверно, что не смели. Тихая Англия ткачей и земледельцев, где миром для человека был его приход, и стоило зазеваться, как угодишь в церковные старосты. Вот хоть его дед, зачатый и рожденный сто пятьдесят шесть лет назад на лучшей в доме кровати, в каких-нибудь двадцати шагах от места, где он сидит. Как все с тех пор изменилось! К лучшему? Почем знать? А вот эта трава, и скала, и море, и воздух, и чайки, и старая церковь за оврагом – все осталось, как было. Если бы этот участок продавался, он, пожалуй, не прочь был бы купить его, как музейную редкость. Но кто захочет сидеть здесь спокойно? Затеют гольф или еще что. И, вовремя поймав себя на грани чувствительности, Сомс опустил руку и пощупал траву. Но сырости не было, и он согрешил бы против совести, заподозрив, что схватит здесь ревматизм; он еще долго сидел, подставив щеку солнцу, устремив взгляд на море. Вдали проплывали в обе стороны пароходы; контрабандисты перевелись, и за водку платят бешеные деньги! В старину здесь росли без газет, без всякой связи с внешним миром и, наверно, не задумывались над понятием государства и прочими сложными вещами. Знал человек свою церковь и библию и ближайший рынок, и с июня до июня работал, ел, и спал, и дышал воздухом, и пил сидр, и обнимал жену, и смотрел, как подрастают дети. А что же, не плохо! Прибавилось ли в наши дни к этому что-нибудь истинно ценное? «Перемены – это все внешнее, – думал Сомс, – корни те же, что были. От итога не уйдешь, сколько ни старайся». Прогресс, культура – к чему они? Порождают прихоти, увлечения – например, страсть к собиранию картин. Вряд ли здешние старики чем-нибудь увлекались, разве что пчелами. Увлечения? Только для этого – только чтобы дать людям возможность увлекаться? Надо сказать, картины доставили ему много приятных часов; без прогресса этого не было бы. Нет, он скорее всего так и жил бы здесь, стриг овец и ходил за плугом, а у дочки его были бы толстые щиколотки и одна новая шляпа. Может, и лучше, что нельзя остановить ход времени. Да, и пора, пожалуй, возвращаться на дорогу, пока этот тип не пришел искать его. И Сомс встал и опять спустился в углубление. На этот раз у самой изгороди он заметил какой-то предмет – очень старый башмак, такой старый, что почти утерял всякое подобие башмака. Бледная улыбка искривила губы Сомса. Он словно услышал, как кудахчет покойный кузен Джордж с кислым, чисто форсайтским юмором: «Башмак предков! Эй, слуги мои верные, поднимайте мосты, закрывайте решетки!» Да, в семье над ним посмеялись бы, узнав, что он ездил смотреть на их корни. Не стоит об этом рассказывать. И вдруг он подошел к башмаку и, поддев его кончиком зонта за носок, брезгливо швырнул через изгородь. Башмак осквернял безлюдье, то чувство, которое он испытал, впитывая этот воздух. И медленно-медленно, чтобы не вспотеть перед тем, как сесть в машину, он двинулся вверх к дороге. Но у ворот остановился как вкопанный. Что случилось? К задку его машины были привязаны цугом две большие мохнатые лошади, а рядом с ними стояли трое мужчин, из которых один Ригз, и две собаки, из которых одна хромая. Сомс мигом сообразил, что во всем виноват «этот тип». Попробовал дать задний ход в гору, с которой и съезжать-то не надо было, и так засадил машину, что не мог ее сдвинуть. Вечно он что-нибудь натворит! Однако в эту минуту Ригз сел на место и взялся за руль, а один из фермеров щелкнул кнутом. «Хоп!» Мохнатые лошади тронули. Сомса поразило что-то в их сильном, неспешном движении. Прогресс! Пришлось идти за лошадьми, чтобы тащить прогресс из канавы!

– Хорошая лошадь, – сказал он, указывая на самую большую.

– Ага. Мы и зовем ее Лев – здорово тянет. Хоп!

Машина выбралась на ровное место, и лошадей отвязали. Сомс подошел к фермеру, который говорил «хоп».

– Вы с ближайшей фермы?

– Да.

– Это ваше поле?
– Арендованное.
– Как вы его зовете?
– Зовем? Большое поле.
– На десятинной карте оно помечено «Большой Форсайт». Вам эта фамилия знакома?
– Форсит? Их никого не осталось. Моя бабка была Форсит.
– В самом деле, – сказал Сомс, и опять в нем что-то дрогнуло.
– Ага, – сказал фермер.
Сомс взял себя в руки.
– А ваша как фамилия, разрешите спросить?
– Бир.
Сомс долго глядел на него, потом достал бумажник.
– Разрешите, – сказал он, – за лошадей и за труды. – И он протянул фунтовую бумажку.
Фермер покачал головой.
– Не надо. Какой там труд. Нам не впервые на эту гору машины втаскивать.
– Не могу же я даром принять услугу, – сказал Сомс, – уж пожалуйста!
– Ну что же, – сказал фермер, – очень благодарен, – и взял деньги. Хоп!
Лошади налегке двинулись вперед, люди и собаки пошли следом. Сомс сел в машину, развернул пакет с сэндвичами и стал закусывать.
– Поезжайте опять к дому священника, да потише. – И за едой дивился, почему его так взволновало открытие, что кровь его предков течет в жилах этого деревенского парня по фамилии Бир.
К домику священника они попали в два часа, тот вышел к нему с полным ртом.
– Записей нашлось много, мистер Форсайт; это имя попадает с самого начала книги. Составить полный список удастся не так-то скоро. Этот Джолион родился, по-видимому, в тысяча семьсот десятом году, сын Джолиона и Мэри; в тысяча семьсот пятьдесят седьмом году не заплатил десятинную подать. Был еще Джолион, рождения тысяча шестьсот восьмидесятого года очевидно, его отец, – тот с тысяча семьсот пятнадцатого года был церковным старостой; прозывали его «Фермер с Большого Луга», женился на Бир.
Сомс задумчиво взглянул на него и полез за бумажником.
– Бир? Вот и фермер тут один так же назвался. Говорит, что его бабка была Форсайт и что после нее их здесь не осталось. Может, вы заодно пришлете мне записи семьи Бир, все вместе за семь гиней?
– О, вполне достаточно и шести.
– Нет, пусть будет семь. Моя карточка у вас есть. Камень я видел. Местность здоровая, отовсюду далеко. – Он выложил на стол семь гиней и опять уловил радость в глазах священника. – А теперь мне пора домой в Лондон. До свидания!
– До свидания, мистер Форсайт. Непременно пришлю вам все, что сумею найти.
Сомс пожал ему руку и вышел – с уверенностью, что корни его будут выкорчеваны добросовестно. Как-никак, священник.
– Поезжайте, – сказал он Ригзу. – Успеем сделать больше половины обратного пути.
И, откинувшись на спинку машины, порядком усталый, он дал волю мыслям. «Большой Форсайт!» Что ж, хорошо, что он собрался сюда съездить.

XII. ДОЛГАЯ ДОРОГА

Сомс переночевал в Уинчестере, о котором часто слышал, хотя никогда там не бывал. Здесь учились Монты, поэтому он не хотел, чтобы сюда отдали Кита. Лучше бы в Молборо, где он сам учился, или в Хэрроу – в одну из школ, которые участвуют в

соревнованиях на стадионе Лорда; но только не Итон, где учился молодой Джолион. А впрочем, не дожить ему до тех времен, когда Кит будет играть в крикет; так что оно, пожалуй, и безразлично.

«Город старей, – решил он. – К тому же соборы – вещь стоящая». И после завтрака он направился к собору, У алтаря было оживление – по-видимому, шла спевка хора. Он вошел, неслышно ступая в башмаках на резиновой подошве, надетых на случай сырости, и присел на кончик скамьи. Задрал подбородок, он рассматривал своды и витражи. Темновато здесь, но разукрашено богато, как рождественский пудинг. В этих старинных зданиях испытываешь особенное чувство. Вот и в соборе св. Павла всегда так бывает. Хотя в чем-то нужно найти логичность стремлений. До известного предела: дальше начинается непонятное. Вот стоит эдакая громада, в своем роде совершенство; а потом землетрясение или налет цеппелинов – и все идет прахом! Как подумаешь – нет постоянства ни в чем, даже в лучших образцах красоты и человеческого гения. То же и в природе! Цветет земля, как сад, а глядь – наступает ледниковый период. Логика есть, но каждый раз новая. Поэтому-то ему и казалось очень мало вероятным, что он будет жить после смерти. Он где-то читал – только не в «Таймсе», – что жизнь есть одухотворенная форма и что когда форма нарушена, она уже не одухотворена. Смерть нарушает форму – на том, очевидно, все и кончается... Одно верно – не любят люди умирать: всячески стараются обойти смерть, пускаются на лесть, на уловки. Дурачье! И Сомс опустил подбородок. Впереди, в алтаре, зажгли свечи, еле заметные при свете дня. Скоро их погасят. Вот и опять – все и вся рано или поздно погаснет. И нечего пытаться отрицать это. На днях он читал, и тоже не в «Таймсе», что конец света наступит в 1928 году, когда земля окажется между луной и солнцем, что якобы это было предсказано во времена пирамид, – вообще какая-то научная ерунда. А если и правда – ему не жалко. Особенно удачным это предприятие никогда не было, а если одним махом с ним покончить, то ничего и не останется. Смерть чем плоха? Уходишь, а то, что любил, остается. Да стоит только жизни прекратиться, как она снова возникнет в каком-нибудь другом образе. Потому, наверно, ее и называют «... и жизнь бесконечная. Аминь». А, запели! Иногда он жалел, что не наделен музыкальным слухом. Но он и так понял, что поют хорошо. Голоса мальчиков! Псалмы, и слова он помнит. Забавно! Пятьдесят лет, как он перестал ходить в церковь, а помнит, точно это вчера было. «Ты послал источники в долины: между горами текут воды». «Поют всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою». «При них обитают птицы небесные; из среды ветвей издают голос». Певчие бросали друг другу стих за стихом, точно мяч. Звучит живо, и язык хороший, крепкий. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими». «Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем». Левиафан! Помнится, ему нравилось это слово, «Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера». Да, выходит, конечно, но занимается ли делом, работой – это в наши дни еще вопрос. «Буду петь господа во всю жизнь мою, буду петь богу моему доколе есмь». Так ли? Сомнительно что-то. «Благослови, душа моя, господа!» Пение смолкло, и Сомс опять поднял подбородок. Он сидел тихо-тихо, не думая, словно растворившись в сумраке высоких сводов. Он испытывал новое, отнюдь не тягостное ощущение. Точно сидишь в украшенной драгоценными камнями, надушенной шкатулке. Пусть мир снаружи гудит, и ревет, и смердит – пошлый, режущий слух, показной и ребячливый, дешевый и гадкий сплошной джаз и жаргон – сюда не доходят ни звуки его, ни краски, ни запахи. Эту объемистую шкатулку построили за много веков до того, как началась индустриализация мира; она ничего общего не имеет с современностью. Здесь говорят и поют на классическом английском языке; чуть пахнет стариной и ладаном; и все вокруг красиво. Он отдыхал, словно обрел наконец, убежище.

Прошел церковный служитель, с любопытством взглянул на него, точно поднятый подбородок был ему в диковинку; за спиной у Сомса слабо зазвенели его ключи. Сомс чихнул, потянулся за шляпой и встал. Ему совсем не улыбалось ходить следом за этим

человеком и за полкроны осматривать то, чего он не желал видеть. И с коротким: «Нет, благодарю вас; в другой раз» – он прошел мимо служителя на улицу.

– Напрасно вы не зашли, – сказал он Ригзу, – тут раньше короновали английских королей. Теперь в Лондон.

Верх машины был откинут, солнце ярко светило, ехали быстро, и только на новой дороге, срезавшей путь прямо на Чизик, Сомсу явилась идея, и он сказал:

– Остановитесь у того дома с тополями, куда вы нас возили на днях.

Еще не настало время завтрака; по всей вероятности, Флер позирует так почему не забрать ее прямо к себе на конец недели? Платья у нее в «Шелтере» есть, Несколько лишних часов проведет на свежем воздухе. Однако иностранка, которая вышла на звонок, сообщила ему, что леди не приезжала позировать ни вчера, ни сегодня.

– О, – сказал Сомс, – это почему?

– Никто не знал, сэр. Она не прислала письмо. Мистер Блэйд очень сердитый.

Сомс пожевал губами.

– Ваша хозяйка дома?

– Да, сэр.

– Так узнайте, пожалуйста, может ли она принять меня. Мистер Сомс Форсайт.

– Будьте добры в столовой подождать, сэр.

В тесной комнатке Сомс ждал и терзался. Флер сказала, что не может с ним поехать из-за сеансов; а сама не позировала. Что же она, заболела?

От беспокойного созерцания тополей за окном его оторвали слова:

– А, это вы! Хорошо, что приехали.

Такая сердечная встреча еще усилила его беспокойство, и он сказал, протягивая руку:

– Здравствуйте, Джун. Я заехал за Флер. Когда она была здесь в последний раз?

– Во вторник утром. И еще я видела ее в окно во вторник к вечеру, в ее машине. – Сомс заметил, что глаза ее – бегают, и знал, что сейчас она скажет что-нибудь неприятное. Так и случилось. – Она забрала с собой Джона.

Чувствуя, что у него спирает дыхание. Сомс воскликнул:

– Как! Вашего брата? А он что здесь делал?

– Позировал, разумеется.

– Позировал! Чего ради... – Он сдержался и не сказал: "ему понадобилось позировать! «, а уставился на густо покрасневшую кузину.»

– Я ей говорила, чтобы она с ним здесь не встречалась. И Джону говорила.

– Так она и раньше это делала?

– Да, два раза. Она, знаете, так избалована.

– А! – Реальность нависшей опасности обезоружила его. Говорить резкости перед лицом катастрофы казалось излишней роскошью.

– Где она?

– Во вторник утром она сказала, что едет в Доркинг.

– И забрала его? – повторил Сомс.

Джун кивнула.

– Да, после его сеанса. Его портрет готов. Если вы думаете, что я больше вас хочу, чтобы они...

– Никто в здравом уме не захотел бы, чтобы они... – холодно сказал Сомс. – Но зачем вы устроили ему сеансы, пока она здесь бывала? Джун покраснела еще гуще.

– Вы-то не знаете, как трудно приходится настоящим художникам. Я не могла не заботиться о Харолде. Не залучи я Джона до его отъезда на ферму...

– Ферма! – сказал Сомс. – Почему вы знаете, может быть, они... – Но он опять сдержался. – Я ждал чего-то в этом роде с тех самых пор, как узнал, что он вернулся. Ну, я сейчас поеду в Доркинг. Вам известно, где его мать?

– В Париже.

А-а, но теперь ему не придется просить эту женщину отдать своего сына его дочери! Нет, скорее придется просить ее отнять его.

– До свидания, – сказал он.

– Сомс, – заговорила вдруг Джун, – не давайте Флер... это все она...

– Не желаю слышать о ней ничего дурного.

Джун прижала стиснутые ручки к плоской груди.

– Люблю вас за это, – сказала она, – и простите...

– Ничего, ничего, – буркнул Сомс.

– До свидания, – сказала Джун. – Дайте руку!

Сомс протянул руку, она судорожно ее сжала, потом разом выпустила.

– В Доркинг, – сказал он Ригзу, садясь в машину.

Лицо Флер, каким он видел его на балу в Нетлфолде и каким никогда не видел раньше, неотступно преследовало его, пока он ехал по Хэммерсмитскому мосту. Ох и своевольное создание! Вдруг – вдруг она на все решилась? Вдруг случилось самое страшное? Боже правый! Что же нужно, что же можно тогда предпринять? Какая расчетливая, цепкая страсть ею владела, как она скрывала ее ото всех, от него... или пыталась скрыть! Было в этом что-то страшное и что-то близкое ему, всколыхнувшее память о том, как сам он преследовал мать этого юноши, – память о страсти, которая не хотела, не могла отпустить; которая взяла свое и, взяв, потерпела крушение. Он часто думал, что Флер нелогична, что, как все теперешние «ветрогонки», она просто мечется без цели и направления. И как насмешку воспринял он теперь открытие, что она, когда знает, чего хочет, способна на такое же упорство, как он сам и его поколение. Нельзя, видно, судить по наружности! Под спокойной поверхностью страсти те же, что были, и когда они просыпаются и душат, та же знойная тишина застывает в пронизанных ветром пространствах... Ригз свернул на Кингстон! Скоро они проедут РобинХилл. Как изменились эти края с того дня, когда он привез сюда Босини выбирать место для постройки! Сорок лет, не больше – но сколько перемен! *Plus sa change*, – сказала бы Аннет, – *plus c'est la meme chose!*" Любовь и ненависть – они-то не кончаются! Пульс жизни продолжает биться за шумом автомобильных колес, за музыкой джаз-бандов. Что это, судьба бьет в барабан или просто бьется человеческое сердце? Бог знает! Бог? Удобное слово. Что понимают под ним? Он не знает, никогда не узнает. Утром в соборе ему показалось было... а потом – этот служитель! Вот мелькнули тополя, и башня с часами, и крыша дома, который он построил и в котором так и не жил. Знай он заранее, какой поток автомобилей день за днем будет течь в четверти мили от дома, он не стал бы его строить и, может быть, не было бы всей этой трагедии. А впрочем – не все ли равно, что делать? Так или иначе, жизнь возьмет тебя за шиворот и швырнет, куда ей вздумается. Он нагнулся вперед и тронул шофера за плечо.

– Вы какой дорогой едете?

– Через Ишер, сэр, а потом налево.

– Ну хорошо, – сказал Сомс, – как знаете. Время завтрака прошло, но он не был голоден. Он не проголодается, пока не узнает худшего. А вот Ригэ, наверно, другое дело.

– Вы где-нибудь остановитесь, – сказал он, – да перекусите и выкурите папиросу.

– Хорошо, сэр.

Остановился он скоро. Сомс остался сидеть в машине, лениво разглядывая вывеску «Красный лев». Красные Львы, Ангелы и Белые Кони – ничто их не берет. Чего доброго, в Англии скоро попытаются ввести сухой закон но этот номер не пройдет – экстравагантная выдумка! Нельзя заставить людей повзрослеть, обращаясь с ними, как с детьми: они и так слишком ребячливы. Взять хоть стачку горняков, которая все тянется и тянется, чистое ребячество, всем во вред, а пользы никому! Дурачье! Размышлять о глупости своих сограждан было отдыхом для Сомса пред лицом будущего, грозившего катастрофой. Ибо разве не катастрофа, что в таком состоянии Флер катает этого молодого человека в своем автомобиле? Чего мешкает этот Ригз? Он вышел из машины и стал ходить взад и вперед.

Впрочем, и доехав до места, он вряд ли что сможет сделать, Сколько ни люби человека, как ни тревожись о нем – ты бессилен: может быть, тем бессильнее, чем сильнее любовь, Но мнение свое он должен высказать, если только представится случай. Нельзя дать ей скатиться в пропасть и не протянуть руку. Солнце светило ему прямо в лицо, он поднял голову, прищурившись, словно благодарный за тепло. Близкий конец света, конечно, вздор, но лучше бы уж он настал, пока его самого горе не свело в могилу. Ему были до отвращения ясны размеры надвинувшегося несчастья. Если Флер сбежит, у него не останется ничего на свете: ведь Кита заберут Монты. Придется доживать жизнь среди картин и коров, теперь абсолютно не нужных. «Не допущу, – подумал он, – если еще не поздно, не допущу». Да, но как помешать? И, ясно видя никчемность своего решения, он пошел назад к машине. Ригз был на месте, курил папиросу.

– Едем, – сказал Сомс, – поживее!

Он приехал в три часа и узнал, что Флер уехала на машине в десять. Уже то, что она здесь ночевала, было огромным облегчением. И он сейчас же стал звонить во междугородному телефону. Тревога вспыхнула снова. Дома ее не было; у Джун тоже. Где же она, если не с этим молодым человеком? Но она ничего не взяла с собой – это он установил, и это придало ему сил выпить чаю и ждать. Он уже в четвертый раз вышел на дорогу, когда наконец увидел, что она идет к нему."

Выражение ее лица – голодное, жесткое, лихорадочное – произвело на Сомса смешанное впечатление; сердце его заныло и тут же подпрыгнуло от радости. Не торжествующую страсть выражало это лицо! Оно было трагически несчастно, иссушено, искажено. Словно все черты обострились с тех пор, как он в последний раз ее видел. И, повинаясь инстинкту, он ничего не сказал и подставил ей лицо для поцелуя. Губы ее были сухие и жесткие.

– Так ты приехал, – сказала она.

– Да, и хочу, чтобы ты поехала со мною прямо в «Шелтер», как только выпьешь чаю; Ригз уберет твою машину.

Она пожала плечами и прошла мимо него в дом. Ему показалось, что ей все равно, что он в ней видит, что думает о ней. Это было так не свойственно ей, что он растерялся. Что же она, попыталась и обожглась? Это было бы слишком хорошо. Он стал рыться в памяти, вызвал ее образ, каким видел его шесть лет назад, когда привез ей весть о поражении. Да! Но в то время она была так молода, такое круглое у нее было лицо – не похожее на это жесткое, заострившееся, опаленное лицо, от которого ему делалось страшно. Увезти ее к Киту, увезти поскорее! И, послушный инстинкту, выручавшему его, лишь когда дело шло о Флер, он вызвал Ригза, велел ему поднять верх машины и подавать.

Флер была наверху, в своей комнате. Спустя несколько времени Сомс послал сказать ей, что машина ждет. Скоро она пришла. Она густо напудрила лицо и накрасила губы; и опять Сомса ужаснула эта белая маска, и сжатая красная полоска губ, и живые, измученные глаза. И опять он ничего не сказал и достал карту.

– Заедет он куда не надо, если не сидеть с ним рядом. Дорога путаная, – и он сел к шоферу.

Он знал, что она не может говорить, а смотреть на ее лицо у него не было сил. Они покатали. Бесконечно долгим показался ему путь. Только раз или два он оглянулся на нее; она сидела как мертвая: белая и неподвижная. И два чувства – облегчение и жалость – продолжали бороться в его сердце. Ясно, что это конец, – ока сделала ход я проиграла! Как, где, когда? Этому ему никогда не узнать – но проиграла! Бедняжка! Не виновата она, что любила этого мальчика, не могла забыть его – не более виновата, чем был он сам, когда любил его мать. Не вина, а громадное несчастье! Словно сжатыми накрашенными губами бледной женщины, сидящей позади него на подушках машины, пела свою предсмертную лебединую песню страсть, рожденная сорок шесть лет назад от роковой" встречи в борнмутской гостиной и перешедшая к дочери с его кровью.

«Благослови, душа моя, господи!» Гм! Легко сказать! Они ехали по мосту в Стэйнсе; теперь Ригз не собьется. Когда они приедут домой, как вдохнуть жизнь в ее лицо? Слава богу, что мать ее в отъезде! Конечно, поможет Кит. И, может быть, ее старая собака. И все же, как ни утомили его три долгих последних дня. Сомс с ужасом ждал минуты, когда машина остановится. Для нее, может быть, лучше было бы ехать и ехать. Да и для всех, пожалуй. Уйти от чего-то, что с самой войны преследовало неотступно, – ехать все дальше! Когда желанное не дается в руки и не отпускает ехать и ехать, чтобы заглушить боль. Покорность судьбе – как и живопись – утраченное искусство; так думалось Сомсу, когда они проезжали кладбище, где со временем он предполагал покоемся.

Близок дом, а что он ей скажет, приехав? Слова бесполезны. Он высунул голову и глубоко потянул в себя воздух. Он всегда находил, что здесь, у реки, пахнет лучше, чем в других местах, – смолистей деревья, сочной трава. Не то, конечно, что воздух на поле «Большой Форсайт», но ближе к земле, уютнее. Конек крыши и тополя, потянуло дымом, слетаются на ночлег голуби – приехали! И, глубоко вздохнув, он вышел из машины.

– Ты переутомилась, – сказал он, открывая дверцу. – Хочешь сразу лечь, когда поводишь Кита? Обед я пришлю тебе в твою комнату.

– Спасибо, папа. Мне немножко супу. Я, кажется, простудилась.

Сомс задумчиво посмотрел на нее и покачал головой; потом коснулся пальцем ее белой щеки и отвернулся.

Он пошел во двор и отвязал ее старую собаку. Может, ей нужно побегать, прежде чем идти в дом; и он пошел с ней к реке. Солнце зашло, но еще не стемнело, и, пока собака носилась в кустах, он стоял и смотрел на воду. Проплыли на свой островок лебеди. Лебедята подросли, стали почти совсем белые – как призраки в сумерках, изящные создания и тихие. Он часто подумывал завести одного-двух павлинов, они придают саду законченность, но от них много шума; он не мог забыть, как однажды рано утром на Монпелье-сквер слышал их страстные крики из Хайд-парка.

Нет, лебеди лучше; так же красивы и не поют. Эта собака погубит его земляничное дерево!

– Идем к хозяйке, – сказал он и повернул к освещенному дому. Он поднялся в картинную галерею. На столе его ждали газеты и письма. Полчаса он просидел над ними. В жизни он не рвал бумаг с таким удовольствием. Потом прозвучал гонг, и он пошел вниз, готовый провести вечер в одиночестве.

XIII. ПОЖАРЫ

Но Флер обедать пришла. И для Сомса начался самый смутный вечер в его жизни. В сердце его жила великая радость и великое сострадание, то и другое нужно было скрывать. Теперь он жалел, что не видел портрета Флер, – была бы тема для разговора. Он робко заикнулся о ее доме в Доркинге.

– Полезное учреждение, – сказал он, – эти девушки...

– Я всегда чувствую, что они меня ненавидят. И не удивительно. У них ничего нет, а у меня все.

Смех ее больно резнул Сомса.

Она почти не прикасалась к еде. Но он боялся спросить, мерил ли она температуру. Она еще, чего доброго, опять засмеется. Вместо этого он стал рассказывать, как разыскал у моря участок, откуда вышли Форсайты, и как он был в Уинчестерском соборе; он говорил и говорил, а сам думал: «Она ни слева не слышала».

Его тревожила и угнетала мысль, что она пойдет спать, снедаемая скрытым огнем, до которого он не мог добраться. Вид у нее был такой, словно... словно она могла наложить на себя руки! Надо надеяться, что у нее нет веронала или чего-нибудь в этом роде. И он не переставал гадать, что же произошло. Если б у нее еще оставались сомнения, надежды, она металась бы, не находила себе места, но, конечно, не выглядела

бы так, как сейчас! Нет, это поражение. Но что было? И неужели все кончено и он навсегда свободен от гнетущей тревоги последних месяцев? Он

взглядом допрашивал ее, но лицо, отражавшее, несмотря на слой пудры, ее взвинченное состояние, было театральное и чужое. Жестокое, безнадежное выражение ее разрывало ему сердце. Хоть бы она заплакала и все рассказала! Но он понимал, что ее приход к обеду и видимость нормального разговора с ним означали: «Ничего не случилось!» И он сжал губы. Любовь нема – словами ее не выразишь! Чем глубже его чувство, тем труднее ему говорить. Как это люди изливают свои чувства и тем облегчают себе душу – он никогда не мог понять!

Обед кое-как дотянулся до конца. Флер бросала отрывочные фразы, опять звенел ее смех, от которого ему было больно, потом они пошли в гостиную.

– Жарко сегодня, – сказала она и открыла дверь на балкон. Вдали, из-за прибрежных кустов, всходила луна; по воде бежала светящаяся дорожка.

– Да, тепло, – сказал Сомс, – но если ты простужена, лучше не выходи.

Он взял ее под руку и ввел в комнату. Страшно было пустить ее бродить так близко от воды.

Она подошла к роялю.

– Можно побренчать, папа?

– Пожалуйста. У твоей матери есть тут какие-то французские романсы.

Пусть делает что хочет, лишь бы исчезло с ее лица это выражение. Но музыка волнует, а французские песни все о любви! Только бы не попалась ей та, что вечно напевает Аннет:

Aupres de ma blonde il fait bon – fait bon – fait bon,

Aupres de ma blonde il fait bon dormir.

Волосы этого мальчика! Давно, когда он стоял рядом с матерью. Вот у кого были волосы! Такие светлые, и темные глаза. И на мгновение ему почудилось, что не Флер, а Ирэн сидит у рояля. Музыка! Прямо загадка, как можно ценить музыку настолько, насколько ценила ее Ирэн. Да! Больше людей, больше денег ценила! А его музыка никогда не волновала, не понимал он ее! Так неудачно! Вот она у рояля, какой он помнит ее в маленькой гостиной на Монгкельесквер; какую видел в последний раз в вашингтонском отеле. Такой она и останется, наверно, до самой смерти, и все еще будет красива. Музыка!

Он вострепнулся.

Высокий, резкий голосок Флер долетел до него сквозь дым сигары. Грустно! Она храбро сопротивляется. С желанием, чтобы она сдалась, боролся страх. Он не знал, что предпринять, если это случится.

Она замолчала, не допев романса, и закрыла рояль. Лицо у нее было чуть ли не старое – такой она будет в сорок лет. Потом она прошла и села по другую сторону камина. Она была в красном, и это было неприятно усиливало чувство, что она горит под своей напудренной маской. Она сидела очень тихо, делая вид, что читает. А он держал в руках «Тайме» и старался не замечать ее. Неужели ничем нельзя отвлечь ее внимание? А картины? Кто ей больше всего нравится, спросил он, Констэбл, Стивене, Коро, Домье?

– Коллекцию я оставляю государству, – сказал он. – Но штуки четыре ты отбери себе; и копия с «Vindimnia» Гойи, конечно, тоже твоя. – Потом вспомнил, что платье с «Vindimnia» было на ней на балу в Нетлфолде, и заспешил: – Вкусы теперь новые, может, государство и откажется от картин; тогда уж не знаю. Вероятно, сможешь сбыть их Думетриусу, он и так на большинстве их хорошо заработал. Если выберешь подходящий момент, без стачек и всего такого, распродажа может дать порядочную сумму. Я вложил в них добрых семьдесят тысяч – выручить можно не меньше ста.

Она как будто и слушала, но он не знал наверно.

– Мое мнение, – продолжал он из последних сил, – что через десять лет от современной живописи ничего не останется – нельзя же до бесконечности – фокусничать.

К тому времени им надоест экспериментировать, если только опять не будет войны.

– Не в войне дело.

– То есть как это – не в войне? Война внесла в жизнь уродство, всех научила торопиться. Ты не помнишь, как было до войны.

Она пожала плечами.

– Правда, – продолжал Сомс, – началось это раньше. Я помню первые лондонские выставки пост-импрессионистов и кубистов. После войны все просто взбесились, хотят того, до чего не могут дотянуться.

Он осекся. В точности, как и она!

– Я, пожалуй, пойду спать, папа.

– Да, да, – сказал Сомс, – и прими аспирин. Не надо шутить с простудой.

Простуда! Это еще было бы полбеды. Сам он опять подошел к открытой двери, стоял, смотрел на луну. Из помещения прислуги неслись звуки граммофона. Любят они заводить эту кошачью музыку, а то еще громкоговоритель включают! Он никак не мог решить, что хуже.

Он дошел до края террасы и протянул вперед руку.

Ни капли росы! Сухо, замечательная погода! За рекой завывала собака. Есть, верно, люди, которые сказали бы, что это не к добру! Чем больше он узнает людей, тем неразумнее они кажутся: либо гонятся за сенсацией, либо вообще ничего не видят и не слышат. Сад хорош в лунном свете: красивый и призрачный. Бордюр из подсолнухов и осенних маргариток, и поздние розы на круглых клумбах, и низкая стена старого кирпича – с таким трудом он раздобыл его! – даже газон – в лунном свете все было похоже на декорации. Только тополя нарушали театральный эффект, темные и четкие, освещенные сзади луной. Сомс сошел в сад. Белый дом, увитый ползучими растениями, тоже стоял призрачный, точно припудренный; в спальне Флер был свет. Тридцать два года он здесь прожил. Он привязался к этому месту, особенно с тех пор, как купил заречную землю, так что никто не мог там построиться и подглядывать за ним. Подглядывание, физическое и моральное, – от этого он как будто уберется в жизни.

Он докурив сигару и бросил окурки на землю. Ему хотелось дожидаться, когда свет в ее окне погаснет, – знать, что она уснула, как в те дни, когда она девочкой уходила спать с зубной болью. Но он был очень утомлен. Автомобильная езда плохо действует на печень. Надо идти домой и запира́ть двери. В конце концов, он ничего не в силах изменить, что останется в саду, он вообще не в силах ничего изменить. Старые не могут помочь молодым – да и никто никому не может помочь – по крайней мере там, где замешано сердце. Чудная вещь – сердце! И подумать, что у всех оно есть. Это должно бы служить утешением, а вот не служит. Не утешало его, когда он дни и ночи страдал из-за матери этого мальчика, что она тоже страдала! И что проку Флер от того, что страдает сейчас этот молодой человек – и, наверно, жена его тоже! И Сомс запер балконную дверь и пошел наверх. Он постоял у ее двери, но ничего не было слышно; он разделся, взял «Жизнь художников» Вазарки и, сидя в постели, стал читать. Чтобы уснуть, ему всегда хватало двух страниц этой книги, и обычно это были все те же две страницы – он так хорошо знал, книгу, что никогда не помнил, на чем остановился.

Скоро он проснулся, сам не зная отчего, и лежал, прислушиваясь. В доме будто происходило какое-то движение. Но если он встанет и пойдет смотреть, опять начнутся терзания, а этого не хотелось. Кроме того, заглянув к Флер, он, чего доброго, разбудит ее. Он повернулся в постели, задремал, но опять проснулся, лежал и думал лениво: «Плохо я сплю – надо больше двигаться». Сквозь щели занавесок пробивалась луна. И вдруг ноздри его дрогнули. Как будто потянуло гарью. Он сел, понюхал. Ну да! Что там, короткое замыкание или горит соломенная крыша голубятни? Он встал, надел халат и туфли и подошел к окну.

Из верхнего окна струился красноватый свет. Боже великий! Его картинная галерея! Он побежал к лестнице на третий этаж. Неясный звук, запах гари, теперь уже

несомненный, — он едва устоял на ногах. Взбежал по лестнице, дернул дверь. Силы небесные! Дальний конец галереи, в левом крыле дома, был охвачен пламенем. Красные язычки лизали деревянную обшивку стен; занавески на дальнем окне уже обуглились и почернели, от корзины для бумаг, стоявшей возле письменного стола, остались одни угли! На паркете он заметил пепел папирасы. Кто-то здесь курил. Он стоял растерянный и вдруг услышал потрескивание пламени. Бросился вниз, распахнул дверь в комнату Флер. Она спала, лежала на кровати, совсем одетая! Одетая! Так это... Неужели она? Она открыла глаза, посмотрела на него, ничего не понимая.

— Вставай! — сказал он. — В картинной галерее пожар. Сейчас же убери Кита и прислугу! Пошли за Ригзом! Позвони в Рэдинг, вызови пожарных живо! Смотри, чтобы в доме никого не осталось!

Он подождал, пока она вскочила, побежал назад к лестнице и схватил огнетушитель; потащил его наверх — тяжелая, громоздкая штука! Он смутно знал, что нужно ударить его крышкой об пол и обрызгивать пламя. От двери он заметил, что огонь сильно распространился. О боже! Загорелся Фред Уокер и обе картины Давида Кокса! Огонь добрался до плинтуса, который шел вдоль всей галереи, отделяя верхний ряд картин от нижнего; да, и верхний плинтус тоже горит! Констэбль! Секунду он колебалось". Спешить к нему, спасти хоть одну картину? Может быть, огнетушитель не действует! Он бросил его и, пробежав через всю галерею, схватил Констэбля как раз в ту минуту, когда пламя по стене поползло до него. Пока он срывал картину с крюка, горячее дыхание обожгло ему лицо; он отбежал, распахнул окно, приходившееся против двери, и поставил картину на подоконник. Потом опять схватил огнетушитель и с силой ударил его об пол. Брызнула струя жидкости, он поднял ее выше и направил струю на огонь. Теперь комната была полна дыма, у него кружилась голова. Жидкость оказалась хорошей, и он с радостью увидел, что пламени она не по сердцу. Оно заметно сдавало. Но Уокер погиб — а-а, и Коксы тоже! Он отогнал огонь к стене с окнами, но тут струя кончилась, и он заметил, что горит деревянная обшивка дальше того места, где он начал обрызгивать. Горел и письменный стол со всеми бумагами. Что же теперь, бежать вниз, через весь дом, за вторым огнетушителем? Где этот Ригз пропадает?! Альфред Стивене! Нет, шалишь! Не допустит он, чтобы погиб его Стивене, или Гогэны, или Коро!

И в Сомса словно демон вселился. Его вкус, труды, деньги, гордость все пойдет прахом? Так нет же! И сквозь дым он опять бросился к дальней стене. Он срывал Стивенса, а пламя лизало ему рукав; прислоняя картину к косяку окна, рядом с Констэблем, он ясно различил запах горелой материи.

Язык пламени прошелся по Добиньи, со звоном вылетело стекло — теперь картина незащищена, и пламя по ней так и ползает, так и вспыхивает! Он бросился обратно, ухватил картину Гогэна — голая таитянка. Она не желала слезать со стены; он взялся за проволоку, но отпустил — проволока раскалилась докрасна; вцепился в раму, дернул — и, оторвав картину, сам упал на спину. Но любимый Гогэн спасен! Он и его поставил к остальным и побежал к той из картин Коро, к которой ближе всех подобралось пламя. Серебристый прохладный пейзаж обжег ему руки, но и его удалось спасти! Теперь Монэ! Пожарные раньше чем через двадцать минут не приедут. Если этот Ригз сейчас не придет... Надо растянуть внизу одеяло, и он стал бы бросать картины из окна. И тут у него вырвался стон. Горел второй Коро. Бедный! Сорвав со стены Монэ, он поспешил к лестнице. По ней бежали к нему две перепуганные горничные, наскоро накинувшие пальто поверх ночных рубашек.

— Ну-ка! — крикнул он. — Возьмите эту картину и не теряйте голову. Мисс Флер и мальчик вышли?

— Да, сэр.

— Пожарных вызвали?

— Да, сэр.

— Принесите мне огнетушитель, а сами растяните одеяло вот там, под окном, и

держите крепко, я буду сбрасывать картины. Да не сходите с ума – никакой опасности нет! Где Ригз?

Он вернулся в галерею. О-о! Гибнет маленькая любимая картина Дега! И с яростью в сердце Сомс опять ринулся к стене и вцепился в другого Гогэна. Пестрая штука – единственная, кажется, покупка, на которой ему удалось обставить Думетриуса. Словно из благодарности, картина легко далась ему в обожженные, дрожащие руки. Он отнес ее на окно и постоял, задохнувшись, переводя дыхание. Пока можно дышать здесь, на сквозняке между открытым окном и дверью, надо продолжать снимать их со стены.

Сбросить их вниз недолго. Бонингтон и Тернер – не стал бы Тернер так любить закаты, если б знал, что за штука пожар. Каждый раз, подходя к стене. Сомс чувствовал, что еще один рейс – и легкие не выдержат. А нужно!

– Папа!

Флер с огнетушителем!

– Ступай вниз! Уходи! – закричал он. – Слышишь? Уходи из дома! Скажи, пусть растянут одеяло, да смотри, чтобы держали покрепче.

– Папа! Позволь мне! Я не могу!

– Уходи! – снова крикнул Сомс, толкая ее к лестнице. Он подождал, пока она спустилась, потом ударил крышку огнетушителя об пол и опять стал обрызгивать пламя. Потушил бюро и обрушился на дальнюю стену. Огнетушитель был страшно тяжелый, и когда он, пустой, выпал у него из рук, Сомсу застлало глаза. Но опять он немного сбил огонь. Только бы продержаться!

А потом он увидел, что погиб Гарпиньи – такая красота! Эта бессмысленная потеря придала ему сил. И, снова кинувшись к стене – на этот раз к длинной, – он стал снимать картины одну за другой. Но огонь опять подползал, упорный, как пламя ада. До Сислея и Пикассо не дотянуться, они висели высоко в углу, он не решался лезть в самый огонь, ведь если поскользнуться, упасть – кончено! Эти пропали, но Домье он спасет! Любимая, пожалуй, самая любимая картина. Есть! Задыхаясь, жадно впивая воздух, он увидел в окно, что внизу четыре горничные растянули одеяло и держат его за углы.

– Крепче держите! – крикнул он и сбросил Домье. Проследил, как он падал. Какое варварское обращение с картиной! Одеяло провисло под тяжестью, но выдержало.

– Крепче! – закричал он. – Ловите! – И таитянка Гогэна полетела следом. Одну за другой он сбрасывал картины с подоконника, и одну за другой их вынимали из одеяла и складывали на траве. Сбросив последнюю, он оглянулся, чтоб оценить положение. Пламя уже захватило пол и быстро продвигалось по обшивке стен.

Правую стену успеют спасти пожарные. Левая погибла, но почти все картины он успел снять. Непосредственная опасность угрожает длинной стене; надо браться за нее. Он подбежал как только мог ближе к углу и схватил Морланда. Руки обжигало, но он снял его – белого пони, ставшего ему в шестьсот фунтов. Он обещал ему хорошее жилище! Он столкнул его с окна и видел, как картина с размаху упала на одеяло.

– Ну и ну!

За ним в дверях этот Ригз – наконец-то! – в рубаше и брюках, с двумя огнетушителями и открытым ртом.

– Закройте рот, – прохрипел он, – и поливайте вот эту стену!

Он смотрел на струю и на отступавшее перед нею пламя. Как он ненавидит эти неотвязные красные языки! Ага! Теперь присмирели!

– Давайте другой! Спасайте Курбэ! Живо!

Опять ударила струя, и пламя отступило. Сомс кинулся к Курбэ. Стекла и в помине нет, но картина еще цела. Он сорвал ее с гвоздя.

– Огнетушители, черт их дери, все вышли" сэр, – донесся до него голос Ригза.

– Идите сюда, – позвал он. – Снимайте картины с этой стены и выбрасывайте из окна, по одной – да не промахнитесь! – в одеяло. Поворачивайтесь!

Он и сам поворачивался, видя, как оробевшее было пламя опять разгорается. Они

вдвоем бегали, задыхаясь, к стене, срывали картины, бежали опять к окну и опять к стене – а пламя все приближалось.

– Вон ту, верхнюю, – сказал Сомс. – Обязательно! Возьмите стул. Живо! Нет, лучше я сам. Поднимите меня, не достану!

Вознесшись в крепких руках Ригза, Сомс достал свой экземпляр Якоба Мариса, купленный в тот самый день, когда весь мир охватило пожаром. «Убийство эрцгерцога!» – он и сейчас помнил эти выкрики. Ясный день; солнце светит в окно кэба, и он едет с веселым сердцем, держит покупку на коленях. И вот она теперь летит из окна! Ах, разве можно так обращаться с картинами!

– Идем! – прохрипел он.

– Лучше уходить, сэр! Здесь жарко становится.

– Нет, – сказал Сомс. – Идем!

Еще три картины спасены!

– Если вы не уйдете, сэр, я вас на руках снесу – вы и так слишком долго тут пробыли.

– Ерунда, – хрипел Сомс. – Идем!

– Ура! Пожарные!

Сомс замер. Оглушительно стучало в сердце и в легких, но он различил и другой звук. Ригз схватил его за плечо.

– Идемте, сэр. Когда они начнут работать, тут такое будет...

Сомс указал пальцем сквозь дым.

– Вот еще эту, – прошептал он. – Помогите мне. Она тяжелая.

Копия с «Vindimnia» стояла на мольберте. Шатаясь, Сомс направился к ней. То приподнимая, то волоча по полу, он дотащил до окна испанского двойника Флер.

– Подымайте!

Они подняли ее, установили на окне.

– Эй там, уходите! – раздался голос от двери.

– Бросайте! – прохрипел Сомс, но чьи-то руки схватили его и, почти задохнувшегося, потащили к двери, снесли по лестнице, вынесли на воздух.

Он очнулся в кресле на террасе. Мелькали каски пожарных, шипела вода. Легкие болели, нестерпимо щипало глаза, руки были в ожогах, но, несмотря на боль, его клонило ко сну, как спяну, а в душе жило чувство победы.

Трава, деревья, холодная река под луной! Какой кошмар он пережил там, среди картин, – бедные картины! Но он их спас! Пепел от папиросы! Корзина у стола? Флер! Причина ясна. Надо же было ему навести ее на мысль о картинах именно в этот вечер, когда она сама не знала, что делает. Вот несчастье! Не нужно говорить ей, а может... может, она знает? Впрочем, потрясение – потрясение могло пойти ей на пользу. А погибший Дега! Гарпиньи! Он закрыл глаза, прислушиваясь к шипению воды. Хорошо! Приятный звук! Остальное они спасут. Могло быть хуже. Что-то холодное ткнулось в его руку. Морда собаки. Напрасно ее выпустили. И вдруг Сомсу показалось, что он опять должен распорядиться. Налют они зря воды! Он с трудом встал на ноги. Теперь зрение прояснилось. Флер? А, вот она, стоит совсем одна – слишком близко к дому! А в саду что творится – пожарные – машины – прислуга, этот Ригз – кишка протянута к реке – в воде недостатка нет! Дурачье! Он так и знал! Ну да, поливают нетронутую стену. Льют через оба окна. Это же лишнее! Только правое окно, правое! Он, спотыкаясь, пошел к пожарному.

– Не ту стену, не ту! Та не горит. Испортите мне картины! Цельте правее! – Пожарный переменил положение руки, и Сомс увидел, как струя ударила в правый угол окна. «Vindimnia!» Его сокровище! Сдвинутая потоком воды, она клонилась вперед. А Флер! Боже правый! Стоит под самым окном, подняла голову. Не может не видеть – и не уходит! В сознании пронеслось, что она ищет смерти.

– Падает! – закричал он. – Берегись! Берегись! И, словно она на его глазах

готовилась броситься под автомобиль, он ринулся вперед, толкнул ее протянутыми руками и упал.

Картина сбила его с ног.

XIV. ТИШИНА

Старый Грэдмен, сидя в Полтри над неизменной бараньей котлетой, взял первый выпуск вечерней газеты, которую ему принесли вместе с едой, и прочел:

ПОЖАР В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ, Известный знаток живописи получил серьезные увечья.

Вчера вечером от неизвестной причины произошел пожар в картинной галерее дома мистера Сомса Форсайта в Мейплдерхеме. Прибывшая из Рэдинга пожарная часть ликвидировала огонь, и большинство ценных картин уцелело.

Мистер Форсайт до самого прибытия пожарных боролся с огнем и спас целый ряд картин, сбрасывая их из окна галереи на одеяло, которое держали на весу стоящие под окном. К несчастью, уже после прибытия пожарных его ударила по голове рама картины, упавшей из окна галереи, которая помещается на третьем этаже, и он потерял сознание. Принимая во внимание его возраст и непосильное переутомление во время пожара, трудно верить, что он сможет поправиться. Больше пострадавших нет, и на другие части дома огонь не распространился.

Старый Грэдмен положил вилку и провел салфеткой по лбу, на котором выступила испарина. Бросил салфетку на стол, отодвинул тарелку и опять взял газету. Конечно, не всему надо верить, но заметка была составлена необычайно деловито; и, выронив газету, он всплеснул руками.

«Мистер Сомс, – подумал он, – мистер Сомс!» Его две жены, дочь, внук, вся семья, он сам! Старик встал, хватаясь за край стола. Такой несчастный случай! Мистер Сомс! Да ведь он молодой человек, относительно, конечно. Но может, они что-нибудь перепутали? Он машинально пошел к телефону. С трудом отыскал номер – в глазах стоял туман.

– Это дом миссис Дарти? Говорит Грэдмен. Это правда, мэм?.. Но ведь надежда есть? Ай-ай-ай! Спасая жизнь мисс Флер? Да что вы! Вы туда едете? Я думаю, и мне лучше поехать. Все в полном порядке, но вдруг ему что-нибудь понадобится, если он очнется... Ай, батюшки!.. Да, конечно... Жестокий удар, жестокий!

Он повесил трубку и стоял неподвижно. Кто же теперь будет вести дела? По сравнению с мистером Сомсом никто в семье ничего в них не смыслит, никто не помнит прежнее время, не понимает толку в недвижимом имуществе. Нет, котлеты ему больше не хочется – это ясно! Мисс Флер! Спасая ей жизнь? Вот дела-то! Он всегда любил ее больше всех. Каково-то ей теперь? Он помнил ее девочкой; и на свадьбе у нее был. Подумать только! Теперь будет богатой женщиной. Он взялся за шляпу. Надо сначала зайти домой, кое-что захватить – может быть, придется пробыть там несколько дней! Но добрых три минуты он еще простоял на месте – коренастая фигура с лицом мопса, обрамленным круглой седой бородой, – укреплялся в сознании горя. Если б погиб Английский банк, ему и то не было бы тяжелее. Право же.

Когда с полным чемоданом платья и бумаг он прибыл в наемном экипаже в «Шелтер», было около шести часов. В холле его встретил этот молодой человек, Майкл Монт, который, помнится, всегда шутил на серьезные темы, только бы он и теперь не начал!

– А, мистер Грэдмен! Вот хорошо, что приехали! Нет! Думают, что в сознание он вряд ли придет: удар был страшно сильный. Но если он очнется, то непременно захочет вас видеть, даже если не сможет говорить. Комната ваша готова. Чаю хотите?

Да, от чашки чая он не откажется, не откажется!

– Мисс Флер?

Молодой человек покачал головой, глаза у него были печальные.

– Он спас ей жизнь.

Грэдмен кивнул головой.

– Слышал. Ох, подумать, что ему... Отец его дожил до девяноста лет, а мистер Сомс всегда берег себя. Айай-ай!

Он с удовольствием выпил чашку чая, потом увидел, что в дверях кто-то стоит – сама мисс Флер. Ой, какое лицо! Она подошла и взяла его за руку. И невольно старый Грэдмен поднял другую руку и задержал ее руку в своих.

– Голубушка моя, – сказал он, – как я вам сочувствую! Я вас маленькой помню.

Она ответила только: «Да, мистер Грэдмен», и это показалось ему странным. Она провела его в приготовленную для него комнату и там оставила. Ему еще не доводилось бывать в такой красивой спальне – цветы, и пахнет приятно, и отдельная ванная – это уж даже лишнее. И подумать, что через две комнаты лежит мистер Сомс – все равно что покойник!

– Еле дышит, – сказала она, проходя перед его дверью. – Оперировать бояться. С ним моя мать.

Ну и лицо у нее – такое белое, такое жалкое! Бедненькая! Он стоял у открытого окна. Тепло, очень тепло для конца сентября. Хороший воздух пахнет травой. Там, внизу, вероятно, река! Тихо – и подумать... Слезы скрыли от него реку; он смिгнул их. Только на днях они говорили, как бы чего не случилось, а вот и случилось, только не с ним, а с самим мистером Сомсом. Пути господни! Ай-айай! Подумать только! Он очень богатый человек. Богаче своего отца. Какие-то птицы на воде – гуси или лебеди, не разберешь... Да! Лебеди! Да сколько! Плывут себе рядом. Не видел лебедя с тех пор, как в год после войны возил миссис Грэдмен в парк Голдерс-Хилл. И говорят – никакой надежды! Ужасный случай – вот так вдруг, и помолиться не успеешь. Хорошо, что завещание такое простое. Ежегодно столько-то для миссис Форсайт, а остальное дочери, а после нее – ее детям поровну. Пока только один ребенок, но, без сомнения, будут и еще, при таких-то деньгах. Ох, и уйма же денег у всей семьи, если подсчитать, а все-таки из нынешнего поколения мистер Сомс – единственный богач. Все разделено, а молодежь что-то не наживает. Придется следить за имуществом в оба, а то еще вздумают изымать капитал, а этого мистер Сомс не одобрил бы! Пережить мистера Сомса! И что-то неподкупно преданное, что скрывалось за лицом мопса и плотной фигурой, то, что в течение двух поколений служило и никогда не ждало награды, так взволновало старого Грэдмена, что он опустил на стул у окна и сказал:

– Я совсем расстроился!

Он все еще сидел, подперев рукой голову, и за окном уже стемнело, когда в дверь постучал этот молодой человек со словами:

– Мистер Грэдмен, обедать придете в столовую или предпочитаете здесь?

– Лучше здесь, если вас не затруднит. Мне бы холодного мяса да каких-нибудь солений и стакан портера, если найдется.

Молодой человек подошел ближе.

– Для вас ужасное горе, мистер Грэдмен, вы та-с давно его знали. Его нелегко было узнать, но чувствовалось, что...

Что-то в Грэдмене прорвалось, и он заговорил:

– А-а, я помню его с детства – возил его в школу, учил составлять контракты – ни одного темного дела за ним не познаю; очень сдержанный был мистер Сомс, но никто лучше его не умел поместить капитал – разве что его дядюшка Николае. У него были свои неприятности, но он о них никогда не говорил; хороший сын, хороший брат, хороший отец – это, молодой человек, и вы знаете.

– О да! И очень добр был ко мне.

– В церковь ходить, правда, не любил, но честный был как стеклышко. Откровенностью не отличался; может, иногда суховат был, зато положиться на него можно было. Жаль мне вашу жену, молодой человек, очень жали. Как это случилось?

– Она стояла под окном, когда картина упала, по-видимому, не заметила. Он оттолкнул ее, и удар достался ему.

– Ну, вы подумайте!

– Да. Она никак не придет в себя.

В полумраке Грэдмен взглянул в лицо молодому человеку.

– Вы не убивайтесь, – сказал он. – Она обойдется. С кем не случалось. Родных, вероятно, известили? Вот только что, мистер Майкл, его первая жена, миссис Ирэн, та, что вышла потом за мистера Джолиона; она, говорят, еще жива; может, ей захотелось бы передать ему, на случай, если он очнется, что прошлое забыто и все такое.

– Не знаю, мистер Грэдмен, не знаю.

– «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем...» Он очень был к ней привязан когда-то.

– Да, я слышал, но есть вещи, которые... Впрочем, миссис Дарти знает ее адрес, можно у нее спросить. Она ведь здесь.

– Я это обдумую. Я помню свадьбу миссис Ирэн – очень она была бледная; а какая красавица!

– Да, говорят.

– Теперешняя-то – француженка – наверно, не скрывает своих чувств. Хотя – если он без сознания... – В лице молодого человека ему почудилось что-то странное, и он добавил: – Я мало о ней знаю. Боюсь, не очень ему везло с женами.

– Некоторым, знаете ли, не везет, мистер Грэдмен. Думаю, это потому, что люди слишком много видят друг Друга.

– Всяко бывает, – сказал Грэдмен. – Вот у нас с миссис Грэдмен за пятьдесят два года ни одной размолвки не было, а это, как говорится, срок немалый. Ну, не буду вас задерживать, идите к мисс Флер. Надо ее подбодрять. Так мне холодного мяса с огурчиком. Если я понадоблюсь, дайте мне знать – днем ли, ночью, все равно. А если миссис Дарти захочет меня видеть, я к ее услугам.

Разговор успокоил его. Этот молодой человек симпатичнее, чем ему казалось. Он почувствовал, что огурчик съест с удовольствием. После обеда ему передали: не сойдет ли он в гостиную к миссис Дарти.

– Подождите меня, милая, – сказал он горничной, – я дороги не знаю.

Вымыв руки и лицо, он пошел за ней вниз, по лестнице притихшего дома. Ну и комната! Пустовато, но порядок образцовый, кремовые панели, фарфор, рояль.

Уинифрид Дарти сидела на диване перед горящим камином. Она" встала и взяла его за руку.

– Так хорошо, что вы здесь, Грэдмен, – сказала она, – вы наш самый старый друг.

Лицо у нее было странное, точно она и хотела бы заплакать, да разучилась. Он помнил ее ребенком и молоденькой модницей, участвовал в составлении ее брачного контракта и не раз сокрушался по поводу ее супруга; а каких трудов стоило выяснить, сколько в точности задолжал этот джентльмен к тому времени, когда слетел с лестницы в Париже и сломал себе шею! И до сих пор он ежегодно подготавливал ей расчет подоходного налога.

– Вам бы поплакать хорошенько, – сказал он, – стало бы легче. Но ведь еще не все пропало, у мистера Сомса здоровье крепкое, и пить он как будто не пил; еще, может, вытянет.

Она покачала головой. Угрюмое, решительное выражение ее лица напомнило ему ее старую тетку Энн. При всей ее светскости пережить ей пришлось немало – немало пришлось пережить.

– Удар пришелся ему вот сюда, – сказала она, – наискось, в правый висок. Мне будет страшно одиноко без него; только он...

Грэдмен погладил ее по руке.

– Да, да! Но не будем терять надежды. Если он очнется, я буду здесь. – Он сам не

мог бы объяснить, что в этом утешительного. – Я все думал: хотел бы он, чтоб известили миссис Ирэн? Тягостно думать, что он может умереть с непрощенной обидой в сердце. Дело, конечно, давнишнее, но на страшном суде...

Слабая улыбка затерялась в резких морщинах вокруг рта Уинифрида.

– Не стоит его этим тревожить, Грэдмен; это теперь не принято.

Грэдмен издал неясный звук, словно внутри его столкнулись его вера и уважение к семье, которой он служил шестьдесят лет.

– Ну, вам виднее, – сказал он. – Нехорошо, если что-нибудь останется у него на совести.

– У нее на совести, Грэдмен.

Грэдмен перевел взгляд на дрезденскую пастушку.

– Трудно сказать, когда дело идет о прощении. И еще я хотел поговорить с ним об его стальных акциях; они могли бы давать больше. Но, видно, ничего не поделаешь. Счастье, что ваш батюшка до этого не дожил, – и убивался бы мистер Джемс! Не та уже будет жизнь, если мистер Сомс...

Она поднесла руку к губам и отвернулась. Вся светскость слетела с ее отяжелевшей фигуры. В сильном волнении Грэдмен двинулся прочь.

– Я не буду раздеваться, на случай если окажусь нужным. У меня все с собой. Спокойной вам ночи!

Он поднялся по лестнице, на цыпочках прошел мимо двери Сомса и, войдя в свою комнату, зажег свет. Огурцы убрали; постель его была приготовлена на ночь, байковый халат вынут из чемодана. Сколько внимания! И он опустился на колени и стал молиться вполголоса, меняя положенные слова, и закончил так: «И за мистера Сомса, господи, прими душу его и тело. Остави ему прегрешения его и избави его от жестокосердия и греха, прежде чем уйти ему из мира, и да будет он как агнец невинный, и да обретет милосердие твое. Твой верный слуга. Аминь». Кончив, он еще постоял на коленях на непривычно мягком ковре, вдыхая знакомый запах байки и минувших времен. Он встал успокоенный. Снял башмаки – на шнурках, с квадратными носками – и старый сюртук, надел егеровскую фуфайку, затворил окно. Потом взял с кровати пуховое одеяло, накрыл лысую голову огромным носовым платком и, потушив свет, уселся в кресле, прикрыв одеялом колени.

Ну и тишина здесь после Лондона, прямо собственные мысли слышишь! Почему-то вспомнились ему первые юбилейные торжества королевы Виктории, когда он был сорокалетним юнцом и мистер Джемс подарил им с миссис Грэдмен по билету. Они все решительно видели – места были первый сорт гвардию и шествие, кареты, лошадей, королеву и августейшую семью. Прекрасный летний день – настоящее было лето, не то что теперь. И все шло так, точно никогда не изменится; и трехпроцентная рента, сколько помнится, котиновалась почти по паритету; и все ходили в церковь. А в том же самом году, чуть попозже, с мистером Сомсом стряслось первое несчастье. И еще воспоминание. Почему это сегодня вспомнилось, когда мистер Сомс лежит, как... кажется, это случилось вскоре же после юбилея. Он понес какую-то срочную бумагу на дом к мистеру Сомсу на Монпелье-сквер, его провели в столовую, и он услышал, что кто-то поет и играет на фортепьянах. Он приотворил дверь, чтобы было слышнее. Э, да он и слова еще помнит! Было там «лежа в траве», «слабею, умираю», «ароматы полей», что-то «к твоей щеке» и что-то «бледное». Вот видите ли. И вдруг дверь открылась, и вот она – миссис Ирэн – и платье на ней – ах!

– Вы ждете мистера Форсайта? Может быть, зайдете выпить чаю? – и он зашел и выпил чаю, сидя на кончике стула, золоченого и такого легкого, что, казалось, вот-вот сломается. А она-то на диване, в этом своем платье, наливает чай и говорит:

– Так вы, оказывается, любите музыку, мистер Грэдмен?

Мягко так, и глаза мягкие, темные, а волосы – не рыжие и не то чтобы золотые – вроде сухой листва? – красивая, молодая, а лицо печальное и такое ласковое. Он часто

думал о ней – и сейчас помнит прекрасно. А потом вошел мистер Сомс, и лицо у нее сразу закрылось – как книжка. Почему-то именно сегодня вспомнилось... Ой-ой-ой!.. Вот когда стало темно и тихо! Бедная его дочка, из-за которой все это вышло! Только бы ей уснуть! Д-да! А что сказала бы миссис Грэдмен, если б увидела, как он сидит ночью в кресле и даже зубы не вынул. Ведь она никогда не видела мистера Сомса и семейства не видела. Но какая тишина! И медленно, но верно рот старого Грэдмена раскрылся, и тишина была нарушена.

За окном вставала луна, полная, сияющая; притихшая в полумраке природа распадалась на очертания и тени, и ухали совы, и где-то вдалеке лаяла собака; и каждый цветок в саду ожил, включился в неподвижный ночной хоровод; и на каждом сухом листе, который уносила светящаяся река, играл лунный луч; а на берегу – стояли деревья, спокойные, четкие, озаренные светом, – спокойные, как небо, ибо ни одно дуновение не шевелило их.

XV. СОМС УХОДИТ

В Сомсе чуть теплилась жизнь. Ждали две ночи и два дня, смотрели на неподвижную, забинтованную голову. Приглашенные специалисты вынесли приговор: «Оперировать бесполезно», – и уехали. Наблюдение взял на себя доктор, который когда-то присутствовал при рождении Флер. Хотя Сомс так и не простил «этому типу» тревоги, причиненной им в связи с этим событием, все же «тип» не отстал и лечил всю семью. Он оставил инструкции следить за глазами больного; при первом признаке сознания за ним должны были послать.

Майкл, видя, что к Флер подходить безнадежно, целиком посвятил себя Киту, гулял и играл с ним, старался, чтобы ребенок ничего не заметил. Он не ходил навещать неподвижное тело – не от безразличия, а потому, что чувствовал себя там лишним. Он унес из галереи все оставшиеся в ней картины, убрал их вместе с теми, которые Сомс успел выбросить из окна, и аккуратно переписал. В огне погибло одиннадцать картин из восьмидесяти четырех.

Аннет поплакала и чувствовала себя лучше. Жизнь без Сомса представлялась ей странной и – возможной; точно так же в общем, как и жизнь с ним. Ей хотелось, чтобы он поправился, но если нет – она собиралась жить во Франции.

Уинифрид, дежуря у постели брата, подолгу и печально жила в прошлом. Сомс был ей оплотом все тридцать четыре года, отмеченные яркой личностью Монтегью Дарти, и оставался оплотом последующие, менее яркие тринадцать лет. Она не представляла себе, что жизнь может снова наладиться. У нее было сердце, и она не могла смотреть на эту неподвижную фигуру, не пытаясь хотя бы вспомнить, как люди плачут. Она получала от родных письма, в которых сквозило тревожное удивление: как это Сомс допустил, чтобы с ним такое случилось?

Грэдмен принял ванну, надел черные брюки и погрузился в расчеты и переписку со страховой конторой. Гулять он уходил в огород, подальше от дома; он никак не мог отделаться от мысли, что мистер Джемс дожил до девяноста лет, а мистер Тимоти до ста, не говоря уж о других. И качал головой, устремив мрачный взгляд на сельдерей или брюссельскую капусту.

Смизер тоже приехала, чтобы не расставаться с Уинифрид, но все ее услуги сводились к причитаниям: «Бедный мистер Сомс! Бедный, милый мистер Сомс! Подумать только! А он так всегда берегся и других берег!»

В том-то и дело! Не зная, как давно украдкой подбиралась страсть и в какое состояние привела она Флер; не зная, как Сомс наблюдал за ней, как на его глазах она, единственно любимая часть его самого, понесла поражение, дошла до края и стала, готовая упасть; не зная об отчаянии, толкнувшем ее навстречу падающей картине, – не зная ничего этого, все пребывали в грустном недоумении. Словно не тайное, неизбежное

завершение старой-старой трагедии, а гром с ясного неба поразил человека, меньше чем кто бы то ни было подверженного случайностям. Откуда им было знать, что не так уж это все случайно!

Но Флер-то, знала, что причиной несчастья с отцом было ее отчаянное состояние, знала так же твердо, как если бы бросилась в реку и он утонул бы, спасая ее. Слишком хорошо знала, что в ту ночь способна была броситься в воду или стать перед мчащейся машиной, сделать что угодно, без плана и без большой затраты сил, только бы избавиться от этой неотступной боли. Она знала, что своим поступком заставила его кинуться к ней на помощь. И теперь, когда потрясение отрезвило ее, она не находила себе оправдания.

С матерью, теткой и двумя сиделками она делила дежурства, так что в спальне Аннет, где лежал Сомс, их постоянно было двое, из которых одной почти всегда была она. Она сидела час за часом, почти такая же неподвижная, как отец, не спуская с его лица тоскливых, обведенных темными кругами глаз. Страсть и лихорадка в ней умерли. Словно безошибочный отцовский инстинкт подсказал Сомсу единственное средство избавить дочь от снедавшего ее огня. Джон был далек от нее, когда она сидела в этой комнате, затемненной шторами и ее раскаянием.

Да! Она хотела, чтобы картина убила ее. Она стояла под окном, охваченная отчаянным безразличием, видела, как картина зашаталась, хотела, чтобы все поскорее кончилось. Ей и теперь не было ясно, что в тот вечер, совсем обезумев, она сама вызвала пожар, бросив непотушенную папиросу; вряд ли помнила, даже, где курила. Зато до ужаса ясно было, что оттого, что тогда ей хотелось умереть, теперь отец лежит при смерти. Как добр он всегда был к ней! Невозможно представить себе, что он умрет и унесет с собой эту доброту, что никогда больше не услышит она его ровного голоса, не почувствует на лбу или щеке прикосновения его усов, что никогда он не даст ей случая показать ему, что она, право же, любила его, по-настоящему любила за всей суетой и эгоизмом своей жизни. Теперь, у его постели, ей вспоминались не крупные события, а мелочи. Как он являлся в детскую с новой куклой и говорил: «Не знаю, понравится ли тебе; увидел по дороге и захватил». Как однажды, когда мать ее высекла, он вошел, взял ее за руку и сказал: «Ну, ну, ничего. Пойдем посмотрим, там, кажется, есть малина». Как после ее венчания он стоял на лестнице дома на Грин-стрит, смотрел через головы толпившихся в холле гостей, ждал, бледный и ненавязчивый, чтобы она в последний раз оглянулась на него. Ненавязчивый! Вот именно, он никогда не навязывался. Ведь если он умрет, на память о нем не останется ни одного портрета, почти ни одной фотографии. Только и снят он, что ребенком на руках у матери; маленьким мальчиком, скептически разглядывающим, свои бархатные штанишки; в 76-м году молодым человеком в сюртуке, с короткими бачками; да несколько любительских карточек, когда он не знал, что его снимают. Вряд ли кто снимался реже его, будто он не желал, чтобы его оценили или хотя бы запомнили. Флер, всегда жадной до похвал, это казалось непонятным. Какая тайная сила, скрытая в художавом теле, которое сейчас лежит перед ней так неподвижно, давала ему эту независимость? Он рос в такой же роскоши, как и она сама, никогда не знал бедности или работы по принуждению, но каким-то образом сохранил стоическую отрешенность от других людей и их мнений о себе. А между тем никто лучше ее не знал этого – он тосковал по ее любви. Теперь это было ей больнее всего. Он тосковал по ее любви, а она так мало ее выказывала. Но она любила его, право же, всегда любила. Что-то в нем самом противилось чувству, охлаждало его проявления. Притягательной силы не было в нем. И часто, неслышно приблизившись к постели – постели ее матери, где сама она была зачата и рождена, – Флер стояла возле умирающего и, глядя на исхудавшее, серое лицо, чувствовала такую пустоту и муку, что едва сдерживала себя.

Так проходили ночи и дни. На третий день, около трех часов, стоя возле него, она увидела, что глаза открылись – вернее, распались веки, а мысли не было; но сердце ее сильно забилося. Сиделка, которую она поманила пальцем, подошла, взглянула и быстро вышла к телефону. И Флер стояла, глядя изо всех сил, стараясь взглядом пробудить его

сознание. Сознание не приходило, и веки опять сомкнулись. Она пододвинула стул и села, не сводя глаз с его лица. Сиделка вернулась с известием, что доктор уехал к больным; как только он вернется, его пошлют сюда. Как сказал бы ее отец: «Ну, конечно, когда этот тип нужен, его нет дома!» Но значения это не имело. Они знали, что делать. Часа в четыре веки опять поднялись, и на этот раз что-то проглянуло. Флер не была уверена, видит ли он, узнает ли ее и комнату, но что-то было, какой-то мерцающий свет, стремление сосредоточиться. Крепло, нарастало, потом опять погасло. Ему сделали укол. И опять она села и стала ждать. Через полчаса глаза открылись. Теперь он видел. И Флер мучительно следила, как человек силится быть, как сознание старается подчиниться инстинктивной силе воли. Наклонившись так, чтобы этим глазам, которые теперь уже наверно узнали ее, потребовалось как можно меньше усилий, она ждала, и губы у нее дрожали, как в поцелуе. Невероятное упорство, с каким он старался вернуться, ужасало ее. Он хотел обрести сознание, хотел знать, и слышать, и говорить. Казалось, одно, это усилие могло убить его. Она тихо с ним заговорила. Подложила руку под его холодную ладонь, чтобы почувствовать малейшее движение. В отчаянии следила за его губами. Наконец эта борьба кончилась, полупустой, полусердитый взгляд сменился чем-то более глубоким, губы зашевелились. Они ничего не сказали, но они шевелились, и еле заметная дрожь прошла из его пальцев в ее.

– Ты узнаешь меня, милый?

Глаза ответили: «Да».

– Ты помнишь?

Опять глаза ответили: «Да».

Губы его все время подрагивали, словно он примеривался, чтобы заговорить, взгляд становился все глубже. Она заметила, как он чуть-чуть сдвинул брови, будто ему мешало, что лицо ее слишком близко; немножко отодвинулась, и нахмуренное выражение исчезло.

– Милый, ты поправишься.

Глаза ответили: «Нет»; и губы шевелились, но звука она не могла уловить. На мгновение она потеряла самообладание, всхлипнула, сказала:

– Папа, прости меня!

Взгляд смягчился, и на этот раз ей послышалось что-то вроде:

– Простить? Глупости!

– Я так тебя люблю.

Тогда он, казалось, бросил попытку заговорить, и вся его жизнь сосредоточилась в глазах. Глубже и глубже становился их цвет и смысл, он словно понуждал ее к нему-то. И вдруг, как маленькая девочка, она сказала:

– Да, папа; я больше не буду!

Она почувствовала ладонью, как дрогнули его пальцы; губы, казалось, силились улыбнуться, голова шевельнулась, как будто он хотел кивнуть, а взгляд становился все глубже.

– Здесь Грэдмен, милый, и мама, и тетя Уинифрид, и Кит, и Майкл. Хочешь кого-нибудь видеть?

Губы зашевелились:

– Нет, тебя.

– Я все время с тобой. – Опять она почувствовала, как задрожали его пальцы, увидела, как губы шепнули:

– Ну, все.

И вдруг глаза погасли. Ничего не осталось! Он еще некоторое время дышал, но не дождался, пока приехал «этот тип», сдал – умер.

XVI. КОНЕЦ

Сообразуясь со вкусами Сомса, пышных похорон не устраивали. Вся семья, за

исключением его самого, давно уже утратила интерес к этой церемонии.

Все прошло очень тихо, присутствовали только мужчины.

Приехал сэр Лоренс, такой серьезный, каким Майкл никогда его не видел.

– Я уважал «Старого Форсайта», – сказал он сыну, возвращаясь пешком с кладбища, где Сомс теперь лежал в им самим выбранном углу, под дикой яблоней. – У него были устарелые взгляды, и он не умел себя выразить; но честный был человек – без глупостей. Как Флер держится?

Майкл покачал головой.

– Ей страшно тяжело сознание, что он...

– Мой милый, нет лучшей смерти, чем умереть, спасая самое свое дорогое. Как только сможешь, привези Флер к нам в Липпингхолл – там ни ее отец, ни родные не бывали. Я приглашу погостить Хилери с женой – их она любит.

– Она меня очень беспокоит, папа, – что-то сломалось.

– Это с большинством из нас случается, пока мы не дожили до тридцати лет. Сдает какая-то пружина, а потом приходит «второе дыхание», как говорят спортсмены. То же самое случилось и с нашим веком – что-то сломано, а «второе дыхание» еще не пришло. Но придет. И к ней тоже. Какой вы думаете поставить памятник на могиле?

– Вероятно, крест.

– По-моему, он предпочел бы плоский камень; в головах эта дикая яблоня, а кругом тисовые деревья, чтобы никто не подглядывал. Никаких «Любимому» и «Незабвенному». Он купил этот участок в вечное пользование? Ему приятно было бы принадлежать своим потомкам на веки вечные. Во всех нас больше китайского, чем можно предположить, только у них на роли собственников предки. Кто этот старик, который плакал в шляпу?

– Старый мистер Грэдмен – своего рода деловая нянька всего семейства.

– Верный старый пес! Да, вот не думал я, что «Старый Форсайт» отправится на тот свет раньше меня. Он выглядел бессмертным, но мир наш зиждется на иронии. Могу я что-нибудь сделать для тебя и Флер? Поговорить с правительством относительно картин? Мы с маркизом могли бы это вам устроить. Он питал слабость к «Старому Форсайту», и Морланд его уцелел. Кстати, нешуточная, видно, была у него схватка с огнем – совсем один, во всей галерее. Кто бы заподозрил, что он способен на такое!

– Да, – сказал Майкл. – Я расспрашивал Ригза. Он никак не опомнится.

– Разве он видел?

Майкл кивнул.

– Вот он идет!

Они замедлили шаг, и шофер, козырнув, поравнялся с ними.

– А, Ригз, – сказал сэр Лоренс, – вы, я слышу, были там во время пожара.

– Да, сэр Лоренс. Мистер Форсайт прямо чудеса творил – пылу, как у двухлетка, мы его чуть не силой увели. Так всегда боялся попасть под дождь или сесть на сквозняке, а тут – и в его возрасте... Дым валит, а он мне одно: «Идемте» да «идемте» – прямо герой! В жизни я не был так удивлен, сэр Лоренс! Такой беспокойный был джентльмен, а тут... И нужно же было! Не вздумай, он непременно спасти эту последнюю картину, она бы не упала и его бы не сшибла.

– Как же возник пожар?

– Никто не знает, сэр Лоренс, разве что мистер Форсайт знал, а он так ничего и не сказал. Жаль, не поспел я туда раньше, да я убирал бензин. И что он там один делал, да после какого дня! Вы подумайте! Мы в то утро прикатили из Уинчестера в Лондон, оттуда в Доркинг, забрали миссис Монт – и сюда! И теперь он уж никогда мне не скажет, что я поехал не той дорогой.

Гримаса исказила его худое лицо, темное и обветренное от постоянной езды; и, притронувшись к шляпе, он отстал от них у калитки.

– «Прямо герой», – вполголоса повторил сэр Лоренс. – Почти что эпитафия. Да, на иронии зиждется мир!

В холле они расстались – сэр Лоренс возвращался в город на машине. Он взял с собой Грэдмена, так как завещание уже было вскрыто. Смизер плакала и спускала шторы, а в библиотеке Уинифрид и Вэл, приехавший с Холли на похороны, принимали немногочисленных посетителей. Аннет была в детской у Кита. Майкл пошел наверх к Флер, в комнату, где она жила девочкой; комната была на одного, и спал он отдельно.

Она лежала на постели изящная и словно неживая.

Взгляд, обращенный на Майкла, придавал ему, казалось, не больше и не меньше значения, чем потолку. Не то чтобы в мыслях она была далеко вернее, ей некуда было идти. Он подошел к постели и прикрыл ее руку своей.

– Радость моя!

Опять Флер взглянула на него, но как понять этот взгляд, он не знал.

– Как только надумаешь, родная, повезем Кита домой.

– Когда хочешь, Майкл.

– Я так понимаю, что в тебе творится, – сказал Майкл, сознавая, что ничего не понимает. – Ригз рассказывал нам, как изумительно держался твой отец там, в огне.

– Не надо!

Выражение ее лица совсем сбilo его с толку – в нем было что-то неестественное, как бы ни горевала она об отце.

Вдруг она сказала:

– Не торопи меня, Майкл. В конце концов все, вероятно, пустяки. Да не тревожься обо мне – я этого не стою.

Лучше чем когда-либо сознавая, что слова бесполезны, Майкл поцеловал ее в лоб и вышел.

Он спустился к реке, стоял, смотрел, как она течет, тихая, красивая, словно радуясь золотой осенней погоде, которая держалась так долго. На другом берегу паслись коровы Сомса. Теперь они пойдут с молотка; вероятно, все, что здесь принадлежало ему, пойдет с молотка. Аннет собиралась к матери в Париж, а Флер не хотела оставаться хозяйкой. Он оглянулся на дом, попорченный, растрепанный огнем и водой. И печаль наполнила его сердце, словно рядом с ним встал сухой, серый призрак умершего и глядел, как рассыпаются его владения, как уходит все, на что он не жалел ни трудов, ни времени. «Перемена, – подумал Майкл, – ничего нет, кроме перемены. Это единственная постоянная величина. Что же, кто не предпочтет реку болоту!» Он зашагал к цветам, бордюром посаженным вдоль стены огорода. Цвели мальвы и подсолнухи, и его потянуло к их теплу. Он увидел, что в маленькой беседке кто-то сидит. Миссис Вэл Дарти! Холли, милая женщина! И от великой растерянности, которую Майкл ощущал в присутствии Флер, вдруг возникла потребность задать вопрос, возникла сначала робко, стыдливо, потом смело, настойчиво. Он подошел к ней. Она держала книгу, но не читала.

– Как Флер? – спросила она.

Майкл покачал головой и сел.

– Я хочу задать вам один вопрос. Если не хотите – не отвечайте; но я чувствую, что должен спросить. Можете вы сказать: как обстоит у нее дело с вашим братом? Я знаю, что было в прошлом. Есть ли что-нибудь теперь? Я не ради себя спрашиваю, ради нее. Что бы вы ни сказали – она не пострадает.

Она смотрела прямо на него, и Майкл вглядывался в ее лицо; ему стало ясно: что бы она ни сказала, если она вообще что-нибудь скажет, будет правдой.

– Что бы между ними ни произошло, – сказала она наконец, – а что-то было, с тех пор как он вернулся, – теперь кончено навсегда. Это я знаю наверно. Это кончилось за день до пожара.

– Так, – тихо сказал Майкл. – Почему вы говорите, что это кончилось навсегда?

– Потому что я знаю брата. Он дал своей жене слово больше не видеться с Флер. Он, очевидно, запутался, я знаю, что был какой-то кризис; но раз Джон дал слово – ничто, ничто не заставит его изменить ему. Все, что было, кончено навсегда, и Флер это знает.

И опять Майкл сказал:

– Так. – А потом точно про себя: – Все, что было.

Она тихонько пожала ему руку.

– Ничего, – сказал он. – Сейчас придет «второе дыхание». И не бойтесь, я тоже не изменю своему слову. Я знаю, что всегда играл вторую скрипку. Флер не пострадает.

Она сильнее сжала его руку; и, подняв голову, он увидел у нее в глазах слезы.

– Большое вам спасибо, – сказал он, – теперь я понимаю. Когда не понимаешь, чувствуешь себя таким болваном. Спасибо.

Он мягко отнял руку и встал. Посмотрел на застывшие в ее глазах слезы, улыбнулся.

– Порой трудноато помнить, что все комедия; но к этому, знаете ли, приходишь.

– Желаю вам счастья, – сказала Холли.

И Майкл отозвался:

– Всем нам пожелайте счастья.

Поздно вечером, когда в доме закрыли ставни, он закурил трубку и опять вышел в сад. «Второе дыхание» пришло. Как знать, может быть, этому помогла смерть Сомса. Может быть, лежа в тенистом уголке под дикой яблоней, «Старый Форсайт» все еще охранял свою любимицу. К ней у Майкла было только сострадание. Птица подстрелена из обоих стволов и все-таки живет; так неужели человек, в котором есть хоть капля благородства, причинит ей еще боль? Ничего не оставалось, как поднять ее и по мере сил стараться починить ей крылья. На помощь Майклу поднялось что-то сильное, такое сильное, что он и не подозревал его в себе. Чувство спортсмена – рыцарство? Нет! Этому не было имени; это был инстинкт, говоривший, что самое важное – не ты сам, даже если ты разбит и унижен. Ему всегда претил исступленный эгоизм таких понятий, как *cime passionnel*, оскорбленный супруг, честь, отмщение, «вся эта чушь и дикость». Искать предлогов не быть порядочным человеком! Для этого предлога не найти. Иначе выходит, что жизнь ни на шаг не ушла от каменного века, от нехитрой трагедии первобытных охотников, когда не было еще в мире ни цивилизации, ни комедии.

Что бы ни произошло между Джоном и Флер, – а он чувствовал, что произошло все, – теперь это кончено, и она «сломалась». Нужно помочь ей и молчать. Если он теперь не сможет этого сделать, значит нечего было и жениться на ней, зная, как мало она его любила. И, глубоко затягиваясь трубкой, он пошел по темному саду к реке.

Вызвездило, ночь была холодная, за легким туманом черная вода реки казалась неподвижной. Изредка сквозь безмолвие доносился далекий гудок автомобиля, где-то пищал полевой зверек. Звезды, и запах кустов и земли, крик совы, летучие мыши и высокие очертания тополей чернее темноты – как подходило все это к его настроению!

Мир зиждется на иронии, сказал его отец. Да, великая ирония и смена форм, настроений, звуков, и ничего прочного, кроме разве звезд да инстинкта, подгоняющего все живое: «Живи!»

С реки долетели тихие звуки музыки. Где-то веселятся. Верно, танцуют, как нынче днем танцевали мошки на солнце! И власть этой ночи сдавила ему горло. О черт! Как красиво, изумительно! Дышат в этом мраке столько же миллионов существ, сколько звезд на небе, все живут, и все разные! Что за мир! Какая работа Вечного Начала! А когда умрешь, как «старик», ляжешь на покой под дикой яблоней – что же, это только минутный отдых Начала в твоём затихшем теле. Нет, даже не отдых – это опять движение в таинственном ритме, который зовется жизнью! Кто остановит это движение, кто захотел бы его остановить? И если один слабый стяжатель, как этот бедный старик, попробует и на мгновение это ему удастся, – только лишений раз мигнут звезды, когда его не станет. Иметь и сохранить – да разве это бывает!

И Майкл затаил дыхание. Звук песни донесся до него по воде, тягучий, далекий, тонкий, нежный. Словно лебедь пропел свою песню!